

Оноре де Бальзак

Воспоминания двух юных жен

Жорж Санд

Дорогая Жорж, мое посвящение[1] не приумножит блеска имени, которому предстоит чудесным образом осветить эту книгу, однако рукой моей водили отнюдь не смирение и не корысть. Этим посвящением я желал бы засвидетельствовать истинную дружбу, которая связует нас вопреки нашим долгим странствиям, нашим уединенным трудам и злоречию света. Чувство это без сомнения никогда не остынет. Радость, с какой я вывожу в начале своих многочисленных сочинений имена друзей[2], отчасти искупает те огорчения, которых стоили мне эти творения, ибо они даются мне нелегко да вдобавок навлекают на меня упреки в устрашающей плодовитости — словно мир, который я описываю, менее плодовит! Как будет прекрасно, Жорж, если однажды какой-нибудь знаток литературных Древностей обнаружит, что все эти имена принадлежали великим и славным людям, чьи благородные сердца горели святой и чистой дружбой! Разве не должен я гордиться этим несомненным счастьем больше, чем неверным успехом? Разве не должен счастлив быть человек, хорошо Вас знающий, если может назвать себя, как это делаю я, Вашим другом Оноре де Бальзаком.

Париж, июнь 1840 г.

Предисловие к первому изданию

Почти все предлагаемые читателю письма сочинены в несколько приемов. Лишь немногие — их легко узнать — вырвались из опечаленного или ликующего сердца одним духом и написаны в один присест, все же прочие писаны не вдруг. В них запечатлены наблюдения нескольких дней либо события целой недели. Поскольку, прежде чем попасть к читателю, книга должна пройти более или менее тщательную литературную обработку, мы принуждены были перемежать письма того и другого рода. Может статься, мы были не правы. Тот, кому дружеская рука самым обыкновенным и ничуть не романическим образом завещала это бесценное наследство и кто привел в порядок эту переписку, услышит хвалы своему труду из уст снисходительных друзей или хулу заклятых врагов. Если публике будет угодно, впоследствии мы обратимся к оригиналам писем и издадим их в первоначальном виде. Мы опубликуем и ответы Рене, из которых пока отобрали лишь часть наиболее интересную, дабы избежать длиннот. В XVIII столетии многие романы зиждились на письмах — этом вместительном задушевных мыслей, но вот уже сорок лет[3], как романы в письмах вышли из моды, поэтому сегодня публикация писем требует большой осторожности. Сердце многословно.

Я полагаю, никто не осудит нас за то, что из почтения к отпрыскам знатных родов двух стран мы изменили подлинные имена.

Переписка эта нуждается в снисхождении: она отлична от живых и увлекательных сочинений нашей эпохи, алчущей драм и охотно прощающей небрежности стиля тому, кто сумеет

разжечь любопытство публики. Натурально, книге нашей требуется покровительство тех редких сегодня избранных читателей, чье умонаправление в каком-то смысле противоположно умонаправлению нашего времени.

Если бы издатель желал выпустить в свет не хронику современной частной жизни, а роман, он — можете поверить! — действовал бы иначе. Впрочем, он не отрицает, что выбирал, правил и располагал письма по своему вкусу; однако труды его сводились к обработке чужих мыслей.

Жарди[4], май 1840 г.

Часть первая

I

К мадемуазель Рене де Мокомб Париж, сентябрь[5].

Дорогая козочка, я тоже вырвалась на волю! А если ты еще не успела написать мне в Блуа[6], я к тому же первой поспела на наше почтовое свидание. Оторви свои дивные черные глаза от первой фразы и побереги свое изумление для письма, где я поверю тебе мою первую любовь. Почему-то все толкуют о первой любви — выходит, бывает и вторая? Молчи, воскликнешь ты, расскажи лучше, как тебе удалось вырваться из монастыря, где ты осуждена была посвятить себя Богу? Дорогая моя, какие бы чудеса ни происходили с кармелитками, чудо моего избавления совершилось самым естественным образом. Голос уstraшенной совести в конце концов одержал верх над неумолимым расчетом, только и всего. Тетушка, которая не могла безучастно смотреть, как я чахну, настойчиво уговаривала матушку, по-прежнему считавшую послушничество единственным лекарством от моего недуга, и матушка в конце концов уступила. Черная меланхолия, в которую поверг меня твой отъезд, ускорила счастливую развязку. И вот, ангел мой, я в Париже, и произошло это благодаря тебе. Ах, Рене, если бы ты видела меня в тот день, когда ты уехала и я осталась одна, — ты могла бы гордиться, что сумела внушить столь юному сердцу чувства столь глубокие. Мы так часто вместе грезили наяву, так далеко уносились на крыльях мечты, так долго прожили бок о бок, что мне кажется, будто души наши слились воедино, как тела двух венгерских девочек[7], о которых нам рассказывал господин Пригож, между прочим, до чего же не подходит ему это имя! У него просто идеальная наружность для монастырского врача! Не захворала ли и ты одновременно с твоей душенькой? В мрачном унынии я могла только перебирать мысленно все связующие нас узы; я боялась, что разлука порвет их, жизнь мне опостылела и смерть казалась сладостной; я тихо угасала, словно одинокая горлица. Остаться одной в Блуа, в кармелитском монастыре, трепетать от страха, что придется принять постриг, подобно мадемуазель де Лавальер[8], но не испытыв, увы, того, что испытала она, — и все это без моей любимой Рене! Я захворала, и не на шутку. Когда мы были вместе, однообразное существование, где все: обязанности, молитвы, работы — так строго расписано по часам, что в любое время дня и ночи можно сказать наверняка, чем занимается в эту минуту кармелитка, живущая в самом отдаленном монастыре, — это ужасное существование, когда тебе все равно, что происходит вокруг, было исполнено разнообразия: ничто не сдерживало полета нашей мысли, фантазия вручила нам ключ от своего царства, мы служили друг другу

чудесным гиппогрифом[9], более бодрая тормозила более вялую, и души наши резвились вволю, завладевая миром, куда путь нам был заказан. Все, вплоть до Житий святых, помогало нам постигать самые сокровенные тайны! Но в день, когда нас разлучили, я стала настоящей кармелиткой — современной Данаидой, которая, в отличие от Данаид древности, вечно наполнявших бездонную бочку, обречена дни напролет тащить из неведомого колодца пустое ведро, не теряя надежды, что оно окажется полным. Тетушка не ведала о том, что творилось у нас в душе. Она, познавшая царство Божие на крохотном клочке монастырской земли, никак не могла понять моего отвращения к жизни. Чтобы в наши лета избрать монашескую стезю, потребно либо чрезвычайное простодушие, каковым мы, дорогая козочка, не обладаем, либо жертвенный пыл, который делает мою тетушку созданием высшим. Тетушка принесла себя в жертву обожаемому брату — но кто способен пожертвовать собой ради людей, которых никогда не видел, или ради идей?

Вот уже две недели у меня на языке вертится столько сумасбродных слов, в сердце похоронено столько мыслей, а в уме накопилось столько наблюдений и рассказов, которые можно поверить только тебе, что без крайнего средства — откровенных писем, заменивших наши милые беседы, я просто задохнулась бы. Как нужна нам жизнь сердца! Сегодня утром я начинаю вести дневник, надеюсь, ты тоже начала свой, и через несколько дней я окажусь рядом с тобой в твоей прекрасной долине Жеменос, которую знаю только по твоим рассказам, а ты переселишься в Париж, который видела только в мечтах.

Итак, дитя мое, в одно прекрасное утро — оно будет отмечено розовой закладкой в книге моей жизни — за мной приехали из Парижа барышня-компаньонка и Филипп, последний слуга моей бабушки. Когда тетушка прислала за мной и объявила эту новость, я от радости лишилась дара речи и совершенно потерялась. «Дитя мое, — сказала мне тетушка своим гортанным голосом, — ты, я вижу, покидаешь меня без сожаления, но мы расстаемся не навсегда[10]: на твоем челе я вижу печать Господню; ты гордячка, а гордость ведет либо на небеса, либо в ад. Впрочем, душа твоя благородна, и благородство удержит тебя от падения! Я знаю тебя лучше, чем знаешь себя ты сама: страсти, которые будут обуревать тебя, не чета страстям женщин заурядных!» Она ласково привлекла меня к себе и поцеловала в лоб, вложив в свой поцелуй огонь, который ее сжигает, огонь, от которого потемнела лазурь ее глаз, одрябли веки, поредели на висках золотистые волосы и пожелтело прекрасное лицо. У меня пробежал мороз по коже. Прежде чем ответить, я поцеловала ей руки. «Дорогая тетушка, — сказала я, — если даже ваша бесконечная доброта не помогла мне обрести в вашей обители телесное здоровье и душевный покой, то сколько же слез нужно мне пролить, чтобы вернуться сюда; вы не можете желать мне столько горя. Я вернусь, лишь если мой Людовик XIV предаст меня, но пусть только он попадет в мои сети — разлучить с ним меня сможет только смерть! Никакая Монтеспан[11] мне не страшна». — «Ступайте, безрассудная девчонка, — сказала тетушка с улыбкой, — не оставляйте эти суетные мысли здесь, забирайте их с собой, и знайте, что вы больше похожи на маркизу де Монтеспан, чем на мадемуазель де Лавальер». Я поцеловала ее. Бедняжка не могла удержаться и проводила меня до кареты, глядя то на фамильный герб, то на меня.

Ночь застала меня в Божанси; после необычного прощания с тетушкой душа моя словно оцепенела. Что ждет меня в столь желанном свете? Наконец карета остановилась у подъезда нашего дома; сердечные мои порывы пропали даром: никто меня не встретил. Матушка была в Булонском лесу, отец — в Совете; брат мой, герцог де Реторе, как мне сказали, появляется дома только затем, чтобы переодеться к обеду. Мадемуазель Гриффит (коготки у нее и правда, как у грифа) и Филипп проводили меня в мои покои.

Эти покои принадлежали прежде моей любимой бабушке, княгине де Вормон, оставившей мне состояние, размеров которого я не знаю. Ты поймешь, какая грусть охватила меня на пороге этого жилища, священного в моей памяти. Все здесь осталось точно таким же, как при ней! Мне предстояло спать на кровати, где она испустила дух. Присев на край козетки, я плакала, не замечая, что я не одна, я вспоминала, как часто забиралась к бабушке на колени,

чтобы лучше слышать ее, вспоминала ее лицо, утопающее в пожелтевших кружевах и осунувшееся от старости и предсмертных мук. Спальня эта, казалось мне, еще хранит ее тепло. Ужели мадемуазель Арманду Луизу Марию де Шолье ждет участь простой крестьянки, которая ложится в постель, еще не успевшую остыть после смерти матери? — ибо хотя княгиня умерла в 1817 году, мне казалось, будто это случилось только вчера. В спальне находились вещи, которым было здесь вовсе не место, — свидетельство того, как мало люди, занятые делами королевства, пекутся о своих собственных делах и как быстро все забыли эту благородную даму, одну из выдающихся женщин XVIII столетия. Филипп по-своему истолковал причину моих слез. Он сказал, что княгиня отказала всю мебель мне. Вообще все парадные покои по распоряжению моего отца остаются в том виде, в каком он нашел их после Революции. Я встала, Филипп распахнул передо мной дверь маленькой гостиной, выходящей в приемную, и я увидела знакомую картину запустения: над дверями, где некогда висели старинные полотна, пусто, мраморные статуи разбиты, зеркала раскрадены. Раньше я боялась подниматься по парадной лестнице и проходить под высокими сводами больших пустынных зал, поэтому взбегала по маленькой лесенке, которая вьется под сводом большой и ведет к потайной двери бабушкиной уборной.

Покои состоят из гостиной, спальни и этой прелестной алой с золотом комнатки, которую я только что упомянула: они занимают крыло, смотрящее на собор Инвалидов. От бульвара Инвалидов дом отделен только стеной, увитой плющом, да рядом великолепных деревьев, смыкающихся кронами с вязами, окаймляющими боковую аллею бульвара. Если бы не голубой с золотом купол и не серая громада собора, можно было бы подумать, что кругом лес. Судя по виду этих трех комнат и по их расположению, прежде здесь были парадные покои герцогинь де Шолье. Покои герцогов находились, должно быть, в противоположном крыле; два крыла благопристойно разделены просторными сумрачными и гулкими залами центральной части здания, такими же запустелыми, как в пору моего детства. Видя мое удивление, Филипп, приведший меня сюда, заговорил доверительным тоном. В этом дипломатическом доме, дорогая, слуги не отличаются словоохотливостью и хранят загадочный вид. Филипп поведал мне, что вот-вот выйдет закон^[12], по которому эмигрантам возместят стоимость их имущества. Отец мой откладывает ремонтные работы до этого времени. Королевский архитектор сказал, что работы обойдутся в триста тысяч ливров. Услышав эту цифру, я в слезах упала на софу. Как! Вместо того чтобы дать эти деньги мне в приданое, отец хотел на всю жизнь заточить меня в монастырь? Вот что суждено было мне узнать на пороге отчего дома. Ах, Рене, мне так хотелось положить голову к тебе на плечо, так хотелось перенестись во времена, когда бабушка одушевляла эти комнаты своим присутствием. Она, живущая только в моем сердце, и ты, живущая в Мокомбе в двухстах лье от меня, — вот единственные существа, которые меня любят или любили. Эта чудесная старая дама с такими молодыми глазами любила просыпаться от звука моего голоса. Как прекрасно мы понимали друг друга! Нахлынувшие воспоминания резко изменили мое настроение. Я увидела нечто священное в том, что еще секунду назад казалось мне кощунством. Легкий аромат старинной пудры для волос, витавший в комнате, показался мне сладостным, я восхитилась тем, что буду спать под пологом, из желтой в белой цветочек камки, на кровати, которая, верно, еще помнит взгляд бабушки и ее дыхание и над которой, может статься, парит ее дух. Я приказала Филиппу привести все в порядок и сделать мои покои пригодными для жилья. Я сама показала ему что куда поставить. Вступая во владение, я устроила смотр всей мебели и утвари и растолковала Филиппу, как обновить эти дорогие мне старинные вещи. Спальня утратила свою первозданную белизну, золото игривых арабесок также местами потускнело от времени, от чего, впрочем, стало еще лучше сочетаться с блеклыми красками старинного ковра — его вместе со своим портретом подарил бабушке Людовик XV. Стенные часы — подарок маршала Саксонского^[13]. Фарфоровые статуэтки на камине — память о маршале де Ришелье^[14]. С портрета в овальной раме двадцатипятилетняя бабушка смотрит на короля, чье изображение висит напротив. Портрета князя здесь нет. Мне нравится это откровенное, неприкрытое забвение, которое одним штрихом рисует чудесный нрав бабушки. Когда бабушка сильно захворала, духовник

уговаривал ее допустить к себе мужа, ожидавшего в гостиной. «Только вместе с доктором и лекарствами»[15], — отвечала она. Кровать с балдахинном и мягкими спинками; полог ниспадает широкими складками; мебель из позолоченного дерева, обитая желтой в белый цветочек камкой. Занавески на окнах из такой же камки с подбоем из белого шелка, похожего на муар. Не знаю, кто автор росписей над дверями; изображены на них восход солнца и лунная ночь. Весьма замечателен камин. По нему видно, что в прошлом столетии люди любили посидеть у огня. Камин был центром гостиной; мой камелек — просто прелесть: медный позолоченный очаг дивного литья, наличник тончайшей работы, совок и щипцы превосходной чеканки, мехи — все восхитительно! Экран работы Гобеленов вставлен в великолепную раму: по ножкам, по раме, по ручкам бегут очаровательные резвые фигурки; работа тонкая, словно на веере. Хотела бы я знать, кто подарил бабушке эту чудесную вещь, которую она так любила? Сколько раз я видела, как она, сидя в глубоком кресле и поставив ногу на нижнюю перекладину каминной решетки, то и дело брала со столика табакерку, а потом снова ставила ее между коробочкой с леденцами и шелковыми митенками! Была ли бабушка кокеткой? До последнего дня она заботилась о своей наружности так же тщательно, как во времена, когда был написан этот дивный портрет и когда к ней съезжался весь цвет двора. Глядя на кресло, я вспомнила, как она усаживалась в него, неподражаемым движением оправляя юбки. Эти дамы былых времен уносят с собой секреты своего очарования. Разве матушка моя может похвастаться гордой посадкой головы, манерой бросать слова и взгляды, особым языком — всем тем, что отличало княгиню? Лукавство сочеталось в ней с добродушием, настойчивость никогда не превращалась в навязчивость, речь ее была разом подробна и лаконична; хорошая рассказчица, она умела находить нужные и меткие слова. А главное, она обладала чрезвычайной свободой суждения, которая несомненно повлияла на склад моего ума. С семи до десяти лет я торчала у нее целыми днями: она так же радовалась, видя меня, как я — видя ее. Наша взаимная привязанность вызывала неудовольствие моей матушки, а ведь запретный плод особенно сладок. Как дивно произносила бабушка: «А, вот и вы, маленькая шалунья!» — когда я любопытной змейкой проскальзывала к ней в двери. Она чувствовала себя любимой, ее тешила моя простодушная преданность, озарявшая зиму ее старости лучом солнца. Не знаю, что происходило в ее покоях по вечерам, но к ней съезжалось много гостей; когда утром я входила на цыпочках, чтобы посмотреть, встала ли она, я видела, что мебель в гостиной передвинута, посередине стоят игорные столы, по полу рассыпан табак. Гостиная обставлена в том же стиле, что и спальня: мебель причудливых форм, на гнутых ножках и украшенная резьбой. Зеркала увиты сверху донизу пышными резными гирляндами цветов. На консолях стоят красивые китайские вазы-рожки. Обивка диванов и кресел пунцовая с белым. Бабушка всегда любила эти тона — ведь она была обворожительная жгучая брюнетка. В гостиной я увидела письменный стол — подарок генуэзца из рода Ломеллини; когда-то я любила разглядывать украшающие его накладки из чеканного серебра. Столешница поделена на четыре части, на каждой из них изображено одно из времен года; там сотни фигурок. Два часа провела я в полном одиночестве в святилище, где угасла одна из самых замечательных женщин эпохи Людовика XV, славная своим умом и красотой, и во мне чередой пробуждались воспоминания. Ты знаешь, что меня внезапно разлучили с княгиней в 1816 году. «Ступайте, проститесь с бабушкой!», — сказала мне матушка перед отъездом. Старая дама приняла новость без удивления и, казалось, нимало не огорчилась. Она встретила меня, как обычно. «Ты отправляешься в монастырь, моя прелесть, — сказала она, — ты познакомишься там со своей теткой, она достойная женщина. Я позабочусь, чтобы тебя не принесли в жертву, ты сохранишь свободу и сможешь выйти, за кого захочешь». Полгода спустя она умерла; завещание она доверила самому преданному из своих старых друзей князю де Талейрану[16], который, навещая мадемуазель де Шаржебеф, нашел средство передать мне через нее, что бабушка запретила мне приносить обет. Надеюсь, рано или поздно я увижусь с князем и несомненно узнаю больше. Таким образом, милая моя козочка, хотя меня и никто не встретил, я утешилась беседой с тенью дорогой бабушки и смогла выполнить один из наших уговоров, который, как ты помнишь, состоит в том, чтобы посвящать друг друга в мельчайшие подробности нашей жизни и жизни наших домашних. Так хочется знать, где и как живет

близкое существо! Рассказывай же и ты мне, ничего не пропуская, обо всем, что тебя окружает, даже о том, как лучи заходящего солнца золотят кроны высоких деревьев.

10 октября.

Приехала я в три часа пополудни. В половине шестого Роза доложила мне, что вернулась матушка; я спустилась, чтобы поздороваться с ней. Покои матушки расположены в первом этаже в том же крыле дома, что и мои. Я могу спускаться туда по потайной лестнице. Покои отца находятся в противоположном крыле; они гораздо просторнее наших, поскольку с нашей стороны много места отнимает парадная лестница. Наши старинные дома так велики, что родители мои, вопреки высокому положению, которое они вновь обрели с возвращением Бурбонов, по-прежнему живут в первом этаже и даже устраивают там приемы. Матушка, в вечернем платье, ждала меня в своей гостиной, где ничто не переменялось. Спускаясь по ступенькам, я гадала, как примет меня эта женщина, которая так мало думала обо мне, что за все восемь лет, как тебе известно, написала мне всего два раза[17]. Считая недостойным разыгрывать нежность, которую я не могу испытывать, я прикинулась глупенькой монашеской. Мне было очень не по себе, но замешательство мое тотчас рассеялось. Матушка была обворожительна; она встретила меня без притворной нежности, но и без холодности, она не отвернулась от меня, как от чужой, но и не прижала меня к груди, как возлюбленную дочь; она встретила меня так, будто мы расстались вчера, так, словно она моя верная, задушевная подруга; поцеловав меня в лоб, она заговорила со мной, как с ровней. «Дорогая моя девочка, — сказала она, — раз уж монастырское житье для вас хуже смерти, живите с нами. Вы разрушаете планы вашего отца и мои, но нынче уже не те времена, когда дети слепо повиновались родителям. Намерение господина де Шолье, равно как и мое, — сделать все возможное, чтобы вы ни в чем не нуждались и могли увидеть свет. В ваши лета я рассуждала бы так же, как вы, поэтому я на вас нимало не сержусь, вы не можете понять, чего мы от вас хотели. Я не буду к вам чересчур строга. Если вы сомневались в моем расположении, то скоро увидите, что напрасно. Я предоставляю вам полную свободу, но думаю, что на первых порах было бы благоразумно с вашей стороны прислушаться к советам матери, которая относится к вам, как сестра». Герцогиня говорила мягким голосом, расправляя мою пансионскую пелеринку. Она меня совершенно очаровала. В тридцать восемь лет[18] она прекрасна, как ангел; у нее темно-синие глаза, шелковистые ресницы, лоб без единой морщинки, цвет лица бело-розовый, словно она румянится, плечи и грудь восхитительные, талия гибкая и тонкая, как у тебя, руки редкой красоты и молочной белизны, ногти отполированы до блеска, мизинец слегка отставлен, большой палец словно выточен из слоновой кости. Наконец, ножка ее под стать руке — это ножка испанки, как у мадемуазель де Ванденес[19]. Если она так хороша в сорок лет, она будет красива и в шестьдесят. Я держалась, моя козочка, как примерная дочь. Я была с ней так же ласкова, как и она со мной, даже еще ласковее: красота ее покорила меня, я все ей простила, поняв, что такой женщине, как она, пристала только роль королевы. В простоте душевной я сказала ей об этом, как сказала бы тебе. Быть может, она не ожидала услышать слова любви из уст дочери? Мое неподдельное восхищение бесконечно растрогало ее: она переменялась, стала еще нежнее и перешла со мной на «ты». «Ты славная девочка, — сказала она, — и я надеюсь, что мы будем добрыми подругами». Это замечание показалось мне исполненным прелестной наивности. Но я ничем не выдала своих чувств: я сразу поняла, что должна позволить ей считать себя гораздо проникательнее и умнее меня. Итак, я притворилась простушкой, и это привело ее в восторг. Я несколько раз принималась целовать ей руки, говоря, как я рада такому обхождению, как мне легко с ней и даже призналась, что прежде ужасно ее боялась. Она улыбнулась, обняла меня за шею, привлекла к себе и нежно поцеловала в лоб. «Дитя мое, — сказала она, — сегодня вечером мы ждем гостей; я думаю, вы согласитесь, что вам стоит повременить и, пока портниха не оденет вас, не выходить к гостям, поэтому, повидавшись с отцом и с братом, вы подниметесь к себе». Я охотно согласилась. Дивный наряд матушки стал для меня открытием мира, рисовавшегося нам в мечтах, но я не почувствовала ни единого укола зависти. Вошел отец. «Сударь, вот ваша дочь», — сказала

герцогиня.

Отец против ожидания встретил меня очень приветливо; он так хорошо разыграл отцовскую нежность, что я даже поверила в его искренность. «Так вот она, эта строптивица!» — сказал он, беря меня за руки и целуя их, как сделал бы самый галантный кавалер. Он обнял меня за талию, привлек к себе, стал целовать в щеки и в лоб. «Надеюсь, ваш успех в свете вознаградит нас за огорчение, которое причинил нам ваш отказ принять обет. — Знаете ли вы, сударыня, что она будет красавицей и вы сможете ею гордиться?.. — А вот и ваш брат Реторе. — Альфонс, — обратился он к красивому молодому человеку, вошедшему в комнату, — вот ваша сестра-монастырка, которая не желает оставаться в монастыре». Брат мой неспешно подошел и пожал мне руку. «Поцелуйте же ее», — сказал ему герцог. Альфонс расцеловал меня в обе щеки. «Рад вас видеть, сестрица, — сказал он, — я на вашей стороне». Я поблагодарила его: впрочем, мне кажется, он мог бы заехать в Блуа, когда навещал нашего брата маркиза[20] — ведь гарнизон его стоит в Орлеане. Я поспешила удалиться, пока не приехали гости. У себя я кое-что переставила, разложила на пунцовом бархате стола письменные принадлежности и стала обдумывать свое новое положение.

Вот, дивная моя белая козочка, полный отчет о том, как восемнадцатилетняя девушка после девятилетнего отсутствия возвратилась в лоно одного из самых прославленных семейств королевства. Дорога утомила меня, и встреча с родными стоила немалых волнений, поэтому я поужинала и улеглась спать в восемь часов, как в монастыре. Для меня сохранили даже маленький прибор саксонского фарфора, на котором бабушка обедала и ужинала у себя, когда ей хотелось побыть одной.

II

От Луизы де Шолье к Рене де Мокомб 25 ноября.

Проснувшись наутро, я увидела, что старый Филипп привел в порядок мои комнаты и поставил в вазы цветы. Одним словом, я обосновалась на новом месте. Но никто не подумал о том, что воспитанница кармелиток привыкла рано вставать, и Роза с большим трудом раздобыла для меня завтрак. «Барышня легла спать, когда подали обед, и встала, когда его сиятельство вернулись домой», — сказала она. Я села писать. Около часа пополудни в дверь моей маленькой гостиной постучал отец; он спросил, могу ли я принять его; я отворила дверь, он вошел и застал меня за письмом к тебе. «Дорогая моя, вам надо заказать туалеты; в этом кошельке двенадцать тысяч франков. Это содержание, которое я определил вам на год. Посоветуйтесь с вашей матушкой относительно новой гувернантки, если вам не нравится мисс Гриффит; у госпожи де Шолье нет времени сопровождать вас по утрам. У вас будет своя карета и лакей». — «Оставьте мне Филиппа», — попросила я. «Извольте, — отвечал он. — Ни о чем не тревожьтесь: ваше состояние позволяет вам не быть в тягость ни вашей матушке, ни мне». — «Не будет ли нескромно спросить, как велико мое состояние?» — «Нимало, дитя мое, ваша бабушка оставила вам пятьсот тысяч франков — это ее собственные сбережения, ибо она ни за что не хотела лишиться семью ни единого клочка земли. Она поместила эту сумму в государственную ренту. Проценты с этой суммы составляют сегодня сорок тысяч франков в год. Я хотел, чтобы она отошла вашему второму брату, поэтому вы разрушаете мои планы, но, быть может, в скором времени вы меня выручите; я на вас надеюсь. Вы, кажется, разумнее, чем я ожидал. Мне нет нужды говорить вам, как подобает вести себя барышне из рода Шолье; гордость, запечатленная в ваших чертах, служит надежной порукой вашего благоразумия. Предосторожности, которые принимают по отношению к своим дочерям люди низкого звания, для нас оскорбительны. Злословие на ваш счет будет стоить жизни либо обидчику, либо, если суд небес окажется

неправеден, одному из ваших братьев. Мне нечего добавить. До свидания, девочка моя». Он поцеловал меня в лоб и удалился. Девять лет они были непреклонны, и я не могу понять, отчего они вдруг отступились от своих планов. Отец со мной откровенен, это мне по душе. Он совершенно ясно сказал: мое состояние должно перейти к моему брату, графу. Кто же пожалел меня: мать, отец или, может быть, брат?

После ухода отца я долго сидела на бабушкиной козетке, глядя на кошелек, который отец оставил на камине; мне было неприятно, что я так много думаю о деньгах, но в то же время я не могла отвести от этого кошелька глаз. Хотя, по правде говоря, думать тут было не о чем: терзаться угрызениями совести из-за этих денег было бы ниже моего достоинства. Филипп целый день бегал по разным лавкам и искал мастериц, которые могли бы меня преобразить. И вот явилась некая Викторина, знаменитая портниха, а с нею белошвейка и башмачник. Мне, как ребенку, не терпится увидеть, что будет, когда я сброшу наконец монастырское платье, которое висит на мне мешком, но все они трудятся ужасно медленно: корсетных дел мастеру нужна неделя, иначе, говорит он, я испорчу себе талию. Дело серьезное; у меня, значит, есть талия? Жансен, башмачник, обувающий актрис Оперы, уверяет, что у меня нога, как у матушки. На эти важные занятия ушло все утро. Явился даже перчаточник, который снял мерку с моей руки. Я отдала распоряжения белошвейке. Когда я обедала, а все остальные завтракали, матушка предложила мне вместе поехать в модную лавку; она сказала, что хочет воспитать мой вкус и научить меня заказывать шляпы. Я ошеломлена началом независимой жизни, как слепой, который внезапно прозрел. Теперь я знаю: разница между кармелиткой и светской барышней так велика, как нам и не снилось. За завтраком отец был рассеян, и мы не мешали ему предаваться своим мыслям: он посвящен во все тайны короля. Обо мне он совсем забыл, но я уже поняла: когда я ему понадобится, он все вспомнит. Отец мой, несмотря на свои пятьдесят лет, весьма привлекателен; он подтянут, хорошо сложен, у него белокурые волосы, благородная осанка и прекрасные манеры; лицо его — выразительное и непроницаемое разом — лицо дипломата, нос длинный и тонкий, глаза карие. Какая красивая пара! И как странно видеть, что два эти существа, равно знатные, богатые, одаренные, живут каждый своей жизнью, не связанные ничем, кроме имени, и тем не менее слывут в глазах света дружной четой. Вчера они принимали цвет двора и дипломатии. Скоро я поеду на бал к герцогине де Мофриньез и вступлю в свет, который так мечтала узнать. Каждое утро ко мне будет приходиться учитель танцев: через месяц я должна уметь танцевать, иначе бала мне не видать. Перед ужином матушка зашла ко мне поговорить о гувернантке. Я решила оставить при себе мисс Гриффит, которую рекомендовал матушке английский посланник. Эта мисс — дочь пастора; она получила прекрасное воспитание; мать ее была дворянка. Моей Гриффит тридцать шесть лет, она будет учить меня английскому. Она недурна собой и еще может нравиться, она шотландка, бедна и горда. Спать моя компаньонка будет в одной комнате с Розой, которая будет ей прислуживать. Я сразу увидела, что такая компаньонка — прекрасная компания: я без труда смогу ею командовать. За те шесть дней, что мы провели вместе, она хорошо поняла, что я единственная, кто может принять в ней участие; а я, несмотря на ее чопорность, хорошо поняла, что она будет ко мне не слишком строга. Мне кажется, она девушка добрая, но скрытная. Я так и не смогла выведать, о чем говорила с ней матушка.

Вот еще одна новость — по-моему, впрочем, малоинтересная! Сегодня утром отец отказался от предложенного ему министерского портфеля. Вот отчего он был вчера так задумчив. Он сказал, что предпочитает место посла доуке парламентских дебатов. Ему нравится Испания. Я узнала эти новости за завтраком — в тот единственный час, когда отец, мать и брат собираются вместе, так сказать, в семейном кругу. Слуги являются в столовую только по звонку. Все остальное время ни отца, ни брата дома нет. Матушка одевается, с двух до четырех часов она где-то пропадает, в четыре выезжает на прогулку и через час возвращается, с шести до семи она принимает визитеров, если не обедает в городе; вечер занят развлечениями: театром, балами, концертами, приемами. Словом, у нее нет ни минуты свободной. Вероятно, она все утро проводит за туалетом, ибо к завтраку, который начинается

в одиннадцать и длится до полудня, она является божественно прекрасной. Я начинаю догадываться, что она делает, по звукам, доносящимся снизу: сначала она принимает прохладную ванну и выпивает чашку холодного кофе со сливками, затем одевается; она никогда не встает раньше девяти, разве что в исключительных случаях; летом она по утрам совершает прогулки верхом. В два часа пополудни к ней приезжает молодой человек, которого мне пока не довелось увидеть. Вот наш семейный уклад. Встречаемся мы за завтраком и за обедом; впрочем, обедаем мы частенько вдвоем с матушкой. Я подозреваю, что еще чаще мне придется обедать у себя в обществе мисс Гриффит, как делала бабушка. Матушка нередко обедает в городе. Меня уже не удивляет, что домашние обращают на меня так мало внимания. Милая моя, в Париже любить людей, которые живут с тобой бок о бок, — героизм, ведь здесь человеку впору позабыть себя самого. Как быстро в этом городе вычеркивают из памяти отсутствующих! Впрочем, я ведь еще нигде не бываю и ничего не знаю; я жду, когда меня научат уму-разуму, когда мой наряд и мой облик будут удовлетворять требованиям света, жизнь которого меня поражает, хотя я слышу его шум лишь издали. Выхожу я пока только в сад. Скоро открывается сезон в Итальянской опере. Матушка абонирует там ложу. Мне безумно хочется послушать итальянскую музыку, а также французскую оперу. Я исподволь расстаюсь с монастырскими привычками и приобретаю светские. Пишу я тебе по вечерам, перед сном, а ложусь теперь позже, в десять, матушка же, если она не в театре, отправляется в это время куда-нибудь на бал. В Париже двенадцать театров. Я чрезвычайно необразованна и много читаю, но без всякого разбора. Одна книга отсылает меня к другой. Я нахожу на обложке томика, который читаю, названия незнакомых книг и берусь за них; совета мне спросить не у кого, поэтому иной раз мне попадаются сочинения весьма скучные. Все, что я прочла из современной литературы, крутится вокруг любви — предмета, который так занимал нас: ведь мы полностью зависим от мужчин и живем только ради них; но как далеко этим авторам до двух маленьких девочек, «белой козочки» Рене и «душеньки» Луизы! Ах, ангел мой, какие жалкие события, какие странные поступки и какое убогое представление о любви! Впрочем, две книги понравились мне чрезвычайно: это «Коринна» и «Адольф»[21]. По этой причине я спросила отца, могу ли я увидеть госпожу де Сталь. Мать, отец и Альфонс рассмеялись. Альфонс воскликнул: «Она что, с луны свалилась?» Отец заметил: «Нехорошо смеяться, она же только вчера из монастыря». — «Дитя мое, госпожа де Сталь умерла», — мягко сказала мне герцогиня. «Разве возможно обмануть женщину?» — спросила я у мисс Гриффит, дочитав «Адольфа». — «Все можно, если она влюблена», — отвечала мисс Гриффит. Ну скажи, Рене, разве найдется мужчина, который смог бы нас обмануть?.. В конце концов мисс Гриффит почувствовала, что я не так уж глупа, что я получила какое-то неведомое ей образование — то самое, которое мы с тобой дали друг другу в наших бесконечных беседах. Она поняла, что наивность моя распространяется только на внешнюю сторону вещей. Бедняжка невольно открыла мне свое сердце. В ее односложном ответе слышались отзвуки самых страшных несчастий, я содрогнулась. Гриффит твердит мне, чтобы я не доверяла блеску света и всего остерегалась, в особенности того, что мне больше всего понравится... Больше она ничего не знает и не может мне сказать. Ее увещевания чересчур однообразны. Она похожа на птицу, которая кричит всегда одно и то же.

III

От Луизы де Шолье к Рене де Мокомб Декабрь.

Дорогая моя, вот я и готова вступить в свет, но прежде мне пришлось изрядно помучиться. Сегодня утром после долгих приготовлений я наконец туго затянута в корсет, обута, причесана, наряжена, убрана. Я поступила, как дуэлянт перед поединком: поупражнялась при закрытых дверях. Я хотела увидеть себя во всеоружии, и удостоверилась, что вид у меня

победительный, торжествующий и совершенно неотразимый. Я оглядела себя со всех сторон и вынесла себе приговор. Я произвела смотр своим силам, следуя прекрасному завету древних: «Познай самого себя!» И это знакомство с самой собой доставило мне огромную радость. В свою игру в куклы я посвятила только Гриффит. Я была разом и куклой, и девчонкой, которая с ней забавляется. Ты, верно, полагаешь, что знаешь меня? Нимало!

Взгляни, Рене, на портрет твоей сестры, которая прежде была одета кармелиткой, а ныне обрела свое истинное лицо — лицо беззаботной светской барышни. Я одна из самых красивых девушек во всей Франции, — если не считать Прованса. Вот к какому приятному заключению я пришла. У меня есть недостатки, но будь я мужчиной, я бы полюбила и их. Эти недостатки — продолжение надежд, которые я подаю. Когда целых две недели восхищаешься безупречно округлыми руками матери и когда эта мать не кто-нибудь, а герцогиня де Шолье, то чувствуешь себя несчастной, видя, как худы твои собственные руки; но я утешилась тонким запястьем и изящным очерком впадин, однажды они заполнятся атласной плотью, которая придаст моим рукам округлость. У меня суховаты не только руки, но и плечи. По правде говоря, плеч у меня вовсе нет — одни только острые, торчащие лопатки. И вдобавок негибкая талия и костлявые бедра. Уф! Вот я и перечислила все изъяны до единого. Зато линии моего стана плавны и четки, выразительное лицо пышет здоровьем, под прозрачной кожей струится, неся с собою жизнь, голубая кровь. Зато самая белокурая дочь белокурой Евы рядом со мной просто негритянка! Зато у меня ножки газели, хрупкая фигурка, правильные черты и греческий профиль. Слишком яркий румянец? Пожалуй, но зато он еще много лет будет играть у меня на щеках; я чудесный недозрелый плод, и грация у меня тоже еще незрелая. Словом, лицо мое похоже на то, которое в старом тетушкином молитвеннике вырастает из лиловой лилии. Мои голубые глаза глядят не глупо, но гордо, перламутровые веки оттенены тоненькими жилками, а густые длинные ресницы напоминают шелковую бахрому. Лоб мой сияет белизной, густые волосы ниспадают пепельно-золотистыми локонами, более темными у середины, откуда вырывается несколько непокорных завитков, выдающих, что я не анемичная блондинка, которая, чуть что, лишается чувств, но блондинка полуденных широт, полная жизни, которая не ждет, пока на нее нападут, а наносит удар первой. Между прочим, парикмахер хотел расчесать мои волосы на прямой пробор и повесить мне на лоб жемчужину на золотой цепочке, утверждая, что я буду похожа на средневековую даму. «Примите к сведению, — ответила я, — что мне еще далеко до средних лет, и нет нужды носить украшения, которые молодят!» Нос у меня тонкий, ноздри глубоко вырезаны и разделены очаровательной розовой перегородочкой; он придает лицу повелительное и насмешливое выражение, а кончик его такой нервный, что никогда не потолстеет и не покраснеет. Дорогая моя козочка, если всего этого мало, чтобы взять девушку в жены без приданого, значит, я ничего не понимаю в женской красоте. Ушки у меня очень кокетливой формы, и мочки их белее жемчуга. Шея у меня длинная, с тем змеиным изгибом, что придает столько величия. В полумраке она кажется золотистой. Ах! рот у меня, может быть, великоват, но он так выразителен, губы такие яркие и улыбчивые! И главное, дорогая, все во мне гармонично: походка, голос! Я могла бы поспорить с бабушкой, чьи юбки плыли словно сами собой, не касаясь ног. Словом, я хороша и грациозна. Если я захочу, то могу хохотать до упаду, как мы частенько хохотали с тобой, и при этом не упаду ни в чьих глазах: ямочки, которые легкие пальчики Шутки сделают на моих белых щеках, каким-то чудом придадут мне лишь еще больше величия. Я могу потупить взор и придать своему белоснежному челу такое выражение, чтобы стало ясно: у меня ледяное сердце. Могу печально склонить голову на лебединой шее с таким неземным видом, чтоб затмить всех мадонн, нарисованных художниками. Обращаясь ко мне, мужчинам придется не говорить, а петь.

Итак, я вооружена с головы до пят и овладела всей гаммой кокетства от самых грозных нот до самых нежных. Огромное преимущество — не быть однообразной. Матушке недоступны ни дерзкие шутки, ни невинное простодушие, она всегда горделива и величественна, за исключением тех случаев, когда выходит из себя и превращается в разъяренную львицу; она

плохо умеет лечить раны, которые наносит, а я сумею и ранить и исцелять. Я совсем не похожа на матушку. Поэтому соперничество между нами невозможно, разве что мы станем спорить, у кого из нас более красивые руки или ноги. Я похожа на отца, он худой и стройный, у меня бабушкины манеры и ее приятный голос: звонкий, когда я его напрягаю, мелодичный грудной при негромкой задушевной беседе. Мне кажется, будто я только сегодня вышла из монастыря. Я еще не существую для света, он обо мне не ведает. Какой дивный миг! Я еще принадлежу себе, как едва распустившийся и никем пока не замеченный цветок. Так вот, ангел мой, когда я прохаживалась по своей гостиной, смотря в зеркало, и взгляд мой случайно упал на скромное платье пансионерки, меня вдруг что-то кольнуло в сердце; все смешалось в моей душе: сожаления о прошлом, тревога за будущее, боязнь предстать перед судом света, воспоминание о наших чахлах ромашках, с которых мы легкомысленно и беспечно обрывали лепестки, да вдобавок еще эти сумасбродные мысли, которым я стараюсь не давать воли, а они все равно одолевают меня.

Рене, дорогая моя, у меня есть приданое! Все аккуратно сложено, надушено и хранится в моей прелестной уборной, в ящиках комода из кедрового дерева. Там ленты, туфельки, перчатки — всего вдоволь. Отец очень мил — он подарил мне вещицы, необходимые молодой девушке: несессер, туалетные принадлежности, курильницу, веер, зонтик, молитвенник, золотую цепочку, кашемировую шаль; он обещал обучить меня верховой езде. И вот еще что: я наконец научилась танцевать! Завтра — да, завтра вечером я вступаю в свет. Я надета бальное платье из белого муслина. На голове у меня на греческий манер будет венок из белых роз, Я явлюсь мадонной: хочу показаться простушкой и завоевать расположение женщин. Матушке и не снилось, что я способна изобрести все то, о чем я пишу тебе; она считает меня весьма недалекой. Прочти она мое письмо, она не поверила бы своим глазам. Брат меня глубоко презирает и жалуется полным безразличием. Он хорош собой, но капризен и угрюм. Я догадалась, отчего он грустит; ни герцогу, ни герцогине это невдомек. Хотя брат тоже герцог и вдобавок молод, он завидует отцу: у него нет ни государственных постов, ни придворной должности, он не может сказать: я еду в палату. Во всем доме одна я могу позволить себе размышлять по шестнадцать часов в сутки: отец занят политикой и своими развлечениями, матушке тоже не до раздумий, на себя им не хватает времени, они вечно на людях, они не успевают жить. Мне страсть как хочется узнать, чем свет так необоримо привлекателен — ведь родные мои проводят в обществе всякий день с девяти вечера до двух-трех ночи, не жалея ни сил, ни средств. Стремясь сюда, я и не представляла себе таких контрастов, такого упоения, но воистину я забываю, что речь идет о Париже. Здесь, оказывается, можно жить бок о бок, в одной семье, и не знать друг друга. Без пяти минут монахиня приезжает и за две недели успевает заметить то, чего не видит у себя под носом государственный муж. А может быть, он все знает и полагает своим долгом смотреть на все сквозь пальцы. Я непременно дознаюсь, в чем тут дело.

IV

От Луизы де Шолье к Рене де Мокомб 15 декабря.

Вчера в два часа пополудни я поехала кататься на Елисейские поля и в Булонский лес. Был один из тех осенних дней, какими мы так восхищались на берегах Луары. Наконец-то я увидела Париж! Площадь Людовика XV[22] в самом деле красива, но этой красоте не хватает естественности. Я была нарядно одета, задумчива, но в любой миг готова рассмеяться, из-под прелестной шляпки глядело спокойное лицо, руки были скрещены на груди. Я не снискала ни единой улыбки, ни один юноша, даже самый ничтожный, не застыл на месте, увидев меня, никто не обернулся мне вслед, хотя карета ехала медленно, как того и требовала моя поза. Впрочем, нет, один милый герцог, проезжавший мимо, резко повернул

лошадь. Человек этот, спасший в глазах публики мое тщеславие, был мой отец; он сказал, что гордость его польщена. Я встретила матушку, которая в знак приветствия еле заметно шевельнула пальчиками, послав мне подобие воздушного поцелуя. Моя Гриффит, оставив все свои опасения, бесстыдно глазела по сторонам. По моему мнению, молодой особе не пристало разглядывать кого попало. Я была в ярости. Какой-то господин весьма приязненно оглядел мою карету, не обратив на меня ни малейшего внимания. Вероятно, это был каретник. Я переоценила свои силы: красота, этот Божий дар, не такая уж редкость в Париже. Самым большим успехом пользовались жеманницы. Видя их зардевшиеся лица, мужчины говорили себе: «Вот она!» Величайшее восхищение вызывала моя матушка. У этой загадки есть разгадка, и я ее непременно отыщу. Мужчины, дорогая моя, показались мне в большинстве своем уродами. Красивые мужчины похожи на нас, но сильно нам уступают. Не знаю, какой злой гений изобрел их наряд; он поразительно неуклюж в сравнении с платьем предыдущих эпох; в нем нет ни блеска, ни красок, ни поэзии; он ничего не говорит ни сердцу, ни уму, ни глазу и, должно быть, очень неудобен: он тесный и кургузый. Больше всего поразили меня шляпы: это обрубок трубы[23], торчащий на макушке, но, говорят, легче совершить революцию, чем придать шляпам более изящную форму. Когда дело доходит до того, чтобы надеть шляпу с более округлой тульей, вся храбрость французов куда-то улетучивается, и, не в силах проявить мужество один раз, они всю жизнь выставляют себя на посмешище. А еще говорят, что французы непостоянны! Впрочем, мужчины мерзки все до единого, что бы они ни носили на голове. Я видела только усталые и мрачные лица, начисто лишённые спокойствия и безмятежности; черты их резки, а морщины говорят о несбывшихся надеждах и неудовлетворенном тщеславии. Красивое лицо — редкость. «И это парижане!» — сказала я мисс Гриффит. «Они весьма любезны и остроумны», — отвечала она. Я промолчала. Эта тридцатишестилетняя девушка в глубине души чересчур снисходительна.

Вечером я поехала на бал; там я держалась подле матушки — она вела меня под руку. Самопожертвование ее было сторицей вознаграждено. Все комплименты получала она, а я служила лишь предлогом для самой неприкрытой лести. Ее заботами я танцевала с глупцами, которые твердили о духоте, словно сама я дрожала от холода, и о великолепии бала, словно сама я слепа. Все, словно сговорившись, изумлялись странному, неслыханному, необычайному, немислимому, редкостному обстоятельству, заключающемуся в том, что они впервые видят меня на балу. Туалет мой, восхищавший меня дома, когда я красовалась перед зеркалом в своей белой с золотом гостиной, был почти незаметен среди чудесных нарядов большинства дам. Каждая из них была окружена толпой поклонников и краем глаза наблюдала за соперницами; многие, как и моя матушка, были совершенно неотразимы. Юная девушка на балу в счет не идет, она всего лишь инструмент для танцев. Мужчины в бальной зале за редким исключением не лучше, чем на Елисейских полях. Сплошь помятые физиономии с невыразительными, вернее, имеющими одинаковое выражение чертами. Гордых, волевых лиц, которые мы видим на портретах наших предков, сочетавших физическую силу с силой духа, нет и в помине. Правда, среди гостей нашелся один прославленный литератор, который выделялся своей красотой, но он не произвел на меня должного впечатления. Сочинений его я не читала, к тому же он простолюдин. Каким бы талантом и добродетелями ни обладал буржуа или человек, пожалованный дворянством, он не достоин моего внимания. Впрочем, этот гений так занят собой и так безразличен к окружающим, что я подумала: вероятно, для великих мыслителей окружающие люди — все равно что неодушевленные предметы. Когда гении влюбляются, они должны переставать писать, иначе это не Любовь. Для них всегда остается нечто более важное, чем возлюбленная. Мне кажется, я все это разглядела в повадке бальной знаменитости: говорят, он профессор, оратор, сочинитель, говорят, честолюбие заставляет его угождать сильным мира сего. Я сразу решила: обижаться на свет за то, что я не имею в нем успеха, ниже моего достоинства, и с легким сердцем предалась танцам. Впрочем, я полюбила танцевать. Я наслушалась скучных толков о неизвестных мне людях, но, быть может, чтобы понять эти разговоры, нужно знать многое, чего я не знаю, ибо я видела, как дамы и господа произносятся и слушают иные фразы с особенным удовольствием. Свет полон загадок, которые не так-то

легко разгадать. Кругом сплошные интриги. Глаз у меня острый, слух тонкий; что же касается понятливости, то кто может судить о ней лучше, чем вы, мадемуазель де Мокомб!

Вернулась я усталая и счастливая этой усталостью. По простоте душевной я имела неосторожность описать мои чувства матушке; она сказала, чтобы я не говорила таких вещей никому, кроме нее. «Дорогая девочка, — добавила она, — хорошее воспитание заключается не только в знании того, о чем следует говорить, но и того, о чем лучше умолчать».

Благодаря этому совету я поняла, какие впечатления нужно таить от всех, быть может, даже от матерей. В одно мгновение я постигла, как далеко может простираться женская скрытность. Уверяю тебя, дорогая козочка, что мы с нашей невинной откровенностью выглядели бы здесь двумя болтливыми кумушками. Как много может выразить приложенный к губам палец, одно слово, один взгляд! Я сразу оробела. Неужели нельзя ни с кем поделиться даже таким естественным ощущением, как удовольствие от танца! Что же в таком случае делать со своими чувствами? — думала я, ложась спать; у меня было тяжело на душе. Я до сих пор не оправилась от столкновения моей открытой, жизнерадостной натуры с суровыми законами света. Вот уже клочья моей шерстки белеют на ветках придорожных кустов. До свидания, мой ангел!

V

От Рене де Мокомб к Луизе де Шолье Октябрь[24].

Как взволновало меня твое письмо, в особенности же несходство наших судеб! Ты будешь блистать в высшем свете, моя незаметная жизнь пройдет в мирной глуши. Я столько рассказывала тебе о замке Мокомб, что ничего не могу добавить; комнату мою я нашла точно такой же, какой оставила, однако теперь я могу оценить открывающийся из окна великолепный вид на долину Жеменос — ребенком я не могла понять всей его прелести. Через две недели после моего приезда я вместе с отцом, матушкой и братьями поехала на обед к одному из соседей, старому барону де л'Эстораду, зажиточному помещику, разбогатевшему, как это бывает в провинции, благодаря скупости. Старый барон не смог уберечь единственного сына от неумолимого Буонапарте; он спас его от рекрутского набора, но в 1813 году юноша принужден был покинуть отчий дом. Он стал гвардейцем почетного караула, и со времени Лейпцигского сражения[25] родители не получали от него вестей. Господин де Монриво[26], к которому господин де л'Эсторад ездил в 1814 году, сказал, что русские у него на глазах захватили юношу в плен. Попытки разыскать его в России были безуспешны; горе свело госпожу де л'Эсторад в могилу. Барона, человека очень набожного, поддерживала та прекрасная христианская добродетель, которая спасала нас с тобой в Блуа — надежда! Он видел сына во сне, копил для него деньги и выгодно помещал долю наследства, оставшегося сыну от покойной госпожи де л'Эсторад. Никто не смел смеяться над стариком. Теперь я понимаю, что нежданное возвращение молодого человека послужило причиной моего собственного возвращения домой. Кто бы мог подумать, что пока мы уносились мыслями в неведомые дали, мой жених медленно брел через Россию, Польшу и Германию? Судьба смилостивилась над ним только в Берлине, где французский посланник помог ему вернуться на родину. Европе нет дела ни до господина де л'Эсторада-отца, мелкого провансальского дворянина, у которого не больше десяти тысяч ливров годового дохода, ни до его несчастного сына, чья судьба удивительно отозвалась в его имени[27].

Состояние незадачливого гвардейца — двенадцать тысяч ливров ренты (наследство госпожи де л'Эсторад) вкуче со сбережениями старого барона — по провансальским понятиям весьма значительно, что-то около двухсот пятидесяти тысяч ливров, кроме того, у него есть земли.

Накануне возвращения сына старый барон купил прекрасное, хотя и расстроенное, имение, где собирается посадить десять тысяч тутовых деревьев, саженцы которых он, готовясь к покупке, вырастил у себя в питомнике. Вновь обретя сына, барон загорелся желанием женить его, и непременно на девушке благородного происхождения. Мои родители охотно согласились выдать меня за молодого де л'Эсторада, как только узнали, что старик согласен взять Рене де Мокомб без приданого и указать в брачном контракте Рене ту сумму, какая пришлась бы на ее долю после смерти родителей. Младший мой брат Жан де Мокомб, едва достигнув совершеннолетия, подписал бумагу, удостоверяющую, что он получил от родителей свою долю, равную трети всего наследства. Вот как у нас в Провансе дворяне обходят подлый Гражданский кодекс господина Буонапарте[28], по милости которого добрая половина девушек из дворянских семей будет вынуждена принять постриг. Французские дворяне, судя по моим весьма скудным сведениям, придерживаются по этому важному вопросу самых различных мнений.

На обеде у де л'Эсторатов состоялось знакомство твоей козочки с несчастным пленником. Расскажу все по порядку. Челядь графа де Мокомба облачилась в старые ливреи с позументом и шляпы с галунами, кучер надел высокие сапоги с раструбами, мы сели впятером в старую коляску и около двух часов пополудни торжественно подкатили к поместью барона де л'Эсторада. Обед был назначен на три часа. Старик барон живет не в замке, а в бастиде[29] — простом деревенском доме, стоящем у подножия холма, на краю нашей прекрасной долины, гордостью которой, несомненно, является старый замок Мокомб. Бастида как бастида: четыре стены, сложенные из каменных глыб и скрепленные желтоватым цементом, под красной черепичной крышей. Под тяжестью каменной черепицы прогибается кровля. Окна расположены без всякой симметрии, огромные ставни выкрашены желтой краской. Дом стоит в саду, похожем на все провансальские сады, — он обнесен невысокой стеной, сложенной из крупных круглых камней; талант каменщика проявляется в умении класть их рядами то наклонно, то стоймя; стена обмазана глиной, которая местами осыпалась. На замок бастида похожа благодаря решетке при въезде. Из-за этой решетки было пролито немало слез: она такая тощая, что напомнила мне сестру Анжелику. В дом ведет каменное крыльцо, над дверью красуется навес, который не вызвал бы зависти даже у крестьянина с Луары, владельца прелестного белого домика под голубой кровлей, сверкающей на солнце. В саду ужасно пыльно, листья на деревьях пожухли. Сразу видно, что барон дни и ночи напролет только и думает о том, чтобы накопить побольше денег. Ест он то же, что и слуги, которых у него двое: молодой парень-провансалец да старушка — горничная покойной баронессы. В комнатах мало мебели. Впрочем, де л'Эсторады не пожалели сил, готовясь к нашему приезду. Они опустошили все закрома, призвали на помощь всех крестьян до единого, и результатом этих подвигов явился обед, поданный на старом серебре, погнутом и почерневшем. Пленник, дорогая душенька, как и решетка, весьма тощ! Он бледен, много выстрадал, молчалив. В тридцать семь лет он выглядит пятидесятилетним. Волосы его, некогда густые и черные как смоль, поседели и напоминают крыло жаворонка. Прекрасные голубые глаза запали; он глуховат, что придает ему сходство с рыцарем Печального Образа; тем не менее я милостиво согласилась стать госпожой де л'Эсторад и владелицей состояния в двести пятьдесят тысяч ливров, но с непременным условием, что я смогу преобразовать по своему вкусу бастиду и разбить вокруг нее парк. Я по всей форме потребовала, чтобы отец мой отвел сюда из Мокомба немного воды. Через месяц я стану госпожой де л'Эсторад, ибо жениху я понравилась. После сибирских снегов, дорогая моя, он явно находит прелесть в черных глазах, под взглядом которых, как ты говоришь, зреют фрукты. Луи де л'Эсторад, кажется, бесконечно счастлив, что женится на красавице Рене де Мокомб — таково славное прозвание твоей подруги. Пока ты предвкушаешь радости самой блестящей жизни — жизни барышни из рода де Шолье в Париже, где ты будешь царицей, твоя бедная козочка Рене, дочь пустыни, перестала витать в облаках и спустилась на землю, где ее ждет участь заурядная, как у полевого цветка. Да, я дала себе слово утешить этого молодого человека, лишившегося молодости, который из материнских объятий попал в пекло войны, из родной бастиды — в ледяные просторы Сибири. Однообразие моих дней будут скрашивать тихие

радости сельской жизни. Я посажу вокруг своего дома прекрасные деревья и превращу наше поместье в оазис, который сольется с долиной Жеменос. Лужайки в моем парке круглый год будут зеленые, как везде в Провансе; парк раскинется до самого холма, на вершине которого я прикажу построить какую-нибудь красивую беседку, откуда, быть может, смогу разглядеть сверкание Средиземного моря. Апельсиновые, лимонные деревья — прекраснейшие жемчужины растительного мира — украсят этот уголок, где я буду полновластной хозяйкой. Нас будет окружать вечная поэзия — поэзия природы. Я буду жить, не страшась невзгод, ибо навсегда останусь верна своему долгу. Будущий свекор и шевалье де л'Эсторад разделяют мои христианские чувства. Ах, душенька, жизнь расстилается передо мной, как широкая дорога, ровная и гладкая, осененная вековыми деревьями. В одном столетии не бывает двух Буонапарте; поэтому если у меня будут дети, я смогу воспитать их, вывести в люди и жить их заботами и радостями. Если судьба от тебя не отвернется, ты станешь женой кого-нибудь из власть имущих, и у детей твоей Рене появится могущественная покровительница. Что же до меня, то я говорю «прощайте» всем романам и приключениям, героинями которых мы себя воображали. Я знаю всю свою жизнь наперед: самыми большими событиями в ней станут прорезывание зубов у молодых господ де л'Эсторад, их завтраки, обеды и ужины, а также урон, который они будут наносить моим цветникам и моей особе; вышивание детских чепчиков да любовь и восхищение несчастного страдальца — вот и все радости жизни на краю долины Жеменос. Быть может, в один прекрасный день деревенская жительница решит перебраться на зиму в Марсель — но и тут ее будут ожидать всего лишь узкие подмостки провинциального театра, закулисная жизнь которого лишена опасностей. Мне ничто не будет угрожать — даже те восхищенные взгляды, что преисполняют нас гордости. Главной нашей заботой станут шелковичные черви — ведь они питаются листьями шелковицы, которыми мы собираемся торговать. Нам суждено испытать превратности провансальского житья, неурядицы безбурного существования; ведь господин де л'Эсторад твердо решил передать бразды правления жене, а поскольку я не буду настаивать, чтобы он выполнял свое благоразумное решение, он вряд ли от него отступит. Романтической жизнью будешь жить за меня ты, дорогая Луиза. Поэтому подробно рассказывай мне обо всех твоих приключениях, описывай балы, праздники, не забывай писать, какие ты носишь платья, какие цветы ты прикалываешь к своим прекрасным белокурым волосам, передавай слова мужчин, изображай их манеры. Ты будешь все делать за нас двоих: слушать, танцевать, чувствовать, как чья-то рука тихонько пожимает твои пальцы. Хотелось бы мне веселиться в Париже, пока ты будешь вести хозяйство в Крампаде — так именуется наше поместье. А мой бедняга жених полагает, что берет в жены только одну женщину! Заметит ли он, что их две? Ну вот, я уже начинаю болтать глупости. А раз сама я могу теперь делать их только твоими руками, то останавливаюсь. Итак, целую тебя в обе щеки, — губы мои еще не узнали поцелуя мужчины; жених пока отважился только взять меня за руку. О! мы так почтительны и благопристойны, что это даже подозрительно. Но вот, я опять за старое. До свидания, дорогая.

P.S. Я сломала печать на твоём третьем письме. Милая моя, у меня около тысячи ливров: купи мне на них какие-нибудь красивые вещицы, которых не найти в Марселе, не говоря уже о нашей глуши. Разъезжая по модным лавкам, вспомни о крампадской затворнице. Прими в соображение, что ни у моих родителей, ни у будущего свекра нет в Париже друзей со вкусом, которых можно было бы попросить сделать для нас покупки. На твоё письмо я отвечу попозже.

VI

От дона Фелипе Энареса к дону Фернандо Париж, сентябрь[30].

По дате на этом письме, дорогой брат, ты поймешь, что глава семьи находится в полной безопасности. После расправы с нашими предками в Львином дворе мы помимо воли сделали испанцами и христианами, но сохранили арабскую осторожность, и спасением своим я, быть может, обязан крови абенсерагов[31], которая течет в моих жилах. Страх сделал Фердинанда таким хорошим актером, что Вальдес[32] поверил его обещаниям. Если бы не я, не сносить бы бедняге адмиралу головы. Либералам никогда не понять, что такое король. Но мне-то нрав этого Бурбона давно известен: чем настойчивее Его Величество сулил нам свое покровительство, тем меньше я верил его посулам. Истинному испанцу нет нужды повторять свои обещания. Тот, кто слишком много говорит, хочет обмануть. Вальдес перешел на английское судно. Что же до меня, то когда герцог Ангулемский занял Кадис и судьба Испании решилась, я поспешил написать управляющему моим сардинским поместьем и приказал ему позаботиться о моей безопасности. Проворные ловцы кораллов ждали меня с лодкой в условленном месте. Когда Фердинанд дал французам совет схватить меня, я был уже в своем родовом поместье Макюмер, в окружении бандитов, которые не признают никаких законов и не боятся ничьей мести. Потомок гренадских мавров вновь очутился в африканской пустыне, в поместье, доставшемся ему от предков-сарацинов, и даже получил в свое распоряжение арабского скакуна. Глаза бандитов засверкали от дикой радости и гордости, когда они узнали, что защищают от мести испанского короля своего господина герцога Сориа, первого из рода Энаресов, кто посетил Сардинию[33] с тех пор, как она перестала принадлежать маврам, — а ведь еще вчера они трепетали передо мной! Двадцать два стрелка вызвались взять на мушку Фердинанда де Бурбона, отпрыска рода, который еще не существовал в те времена[34], когда абенсараги завоевали берега Луары. Я надеялся, что смогу жить на доходы с этих громадных владений, которым мы, к сожалению, уделяли так мало внимания, но, прибыв сюда, увидел, что заблуждался, и убедился в правдивости отчетов Кевердо. Бедняга мог предоставить в мое распоряжение двадцать две человеческие жизни и ни одного реала, двадцать тысяч арпанов степей и ни одного дома, девственные леса и ни одного стула. Нужны миллион пиастров да полвека хозяйского присмотра, чтобы эти великолепные земли начали приносить доход; я этим займусь. Во время бегства побежденные размышляют и о себе и об утраченной родине. При взгляде на ее прекрасные останки, обглоданные монахами, глаза мои наполнились слезами: та же печальная участь ожидает Испанию. В Марселе я узнал о казни Риего[35]. Я с болью подумал о том, что меня также ждет мученический конец, но мои страдания будут долгими и никому не ведомыми. Разве это жизнь — влачить свои дни, не имея возможности посвятить себя ни родине, ни женщине! Любить, побеждать — два этих выражения одной идеи были вырезаны на наших клинках, золотыми буквами начертаны на сводах наших дворцов, их пели фонтаны, бившие в наших мраморных бассейнах. Но девиз этот только растревляет мне душу: клинок сломан, дворец обращен в пепел, чистые родники поглощены бесплодными песками.

Одним словом, вот мое завещание.

Дон Фернандо, теперь вы поймете, отчего я обуздывал ваш пыл и приказывал хранить верность *rey neto*[36]. Как твой брат и друг, умоляю тебя подчиниться, как глава семьи, приказываю. Пойдите к королю и попросите его передать вам мое звание гранда и мои имения, мою должность и титул; если он начнет колебаться, скажите ему, что вас любит Мария Эредиа[37], а Мария может выйти только за герцога Сориа. Тут вы увидите, как он вздрогнет от радости: огромное состояние рода Эредиа помешало бы ему разорить меня вконец, теперь же он решит, что судьба моя полностью в его руках, и тотчас отдаст вам все мое добро. Женитесь на Марии: я заметил, что вы с ней любите друг друга, хотя боретесь со своим чувством. Старого графа я подготовил к этой замене. И Мария и я подчинились обычаю и родительской воле. Вы прекрасны, как дитя любви, я безобразен, как испанский гранд; вы любимы, я — предмет тайного отвращения; вы быстро победите то слабое сопротивление, которое эта благородная испанка, быть может, окажет вам из сочувствия к моему несчастью. Ваш предшественник в звании герцога Сориа не хочет стоять вам ни сожаления, ни денег. Драгоценности Марии возместят вам утрату брильянтов моей матери, а

мне достанет этих брильянтов, чтобы жить ни от кого не завися, поэтому передайте мне их с моей кормилицей, старой Урракой — из всех моих людей я оставляю при себе только ее, она одна умеет как следует варить шоколад.

Участие в нашей недолгой революции приучило меня довольствоваться лишь самым необходимым, и мне хватало жалованья, которое я получал. Доходы за два последних года находятся у вашего управляющего. Эти деньги мои, но женитьба герцога Сориа требует больших расходов, поэтому поделим эту сумму пополам. Вы не откажетесь принять свадебный подарок от брата-бандита. К тому же вы обязаны выполнить мою волю. Имение Макюмер неподвластно испанскому королю, оно остается моим и позволит мне, если понадобится, обрести родину и имя.

Слава Богу, с делами покончено. Дом Сориа спасен!

Итак, я всего лишь барон Макюмер, а французские пушки возвещают прибытие в Париж герцога Ангулемского[38]. Вы понимаете, сударь, почему на этом я прерываю свое письмо...

Октябрь.

Когда я приехал сюда, у меня в кармане не было и десятка золотых монет. Было бы слишком мелко со стороны государственного мужа проявлять среди несчастий, которые он не смог предотвратить, эгоистическую предусмотрительность. Победленным маврам — конь и пустыня, обманутым в своих надеждах христианам — монастырь и несколько монет. Однако моя нынешняя покорность судьбе — не что иное, как усталость. Я далек от мысли вступить в монастырь и потому ищу способы заработать себе на пропитание. Озальга дал мне на всякий случай рекомендательные письма, в том числе письмо к одному книгопродавцу, который оказывает нашим соотечественникам в Париже те же услуги, что Галиньяни[39] англичанам. Этот человек нашел мне восемь учеников, которые платят мне по три франка за урок. Я занимаюсь с ними через день, таким образом, в день я даю четыре урока и получаю двенадцать франков — этого мне более чем достаточно. Когда приедет Уррака, я осчастливорю какого-нибудь изгнанника-испанца, уступив ему своих учеников. Поселился я на улице Ильрен-Бертен у одной бедной вдовы. Комнатка выходит на юг, под окном садик. Кругом тишина, зелень — и за все это я плачу всего один пиастр в день; я живу здесь, как Дионисий[40] в Коринфе, и не устаю удивляться покойным и чистым радостям такого существования. От восхода солнца до десяти утра я курю и пью шоколад, сидя у окна и глядя на два испанских растения: пышный куст жасмина, а среди его ветвей — дрок; золото на белом фоне — картина, которая неизменно приводит в трепет потомка мавров. В десять часов я ухожу на уроки. В четыре возвращаюсь, обедаю, потом курю и читаю до ночи. Я могу долго вести такую жизнь, где чередуются труд и размышления, одиночество и сношения с людьми. Будь счастлив, Фернандо, говорю тебе совершенно искренне: я простился с прошлым навсегда; в отличие от Карла V, я не сожалею о своем отречении[41], в отличие от Наполеона, не мечтаю взять реванш. Пять дней и пять ночей прошли с тех пор, как я написал завещание, а мысль моя прожила за это время пять веков. Звание гранда, титул, богатство — всего этого словно и не существовало. Теперь, когда разделявшая нас стена почтительности рухнула, я могу, дорогое дитя, открыть тебе свое сердце. Сердце это, закованное в непробиваемую броню суровости, исполнено нежности и преданности, пропадающих втуне; но ни одна женщина не разгадала этого, даже та, которую с колыбели прочили мне в жены. Вот отчего я с такой горячностью ударился в политику. У меня не было любовницы — я посвятил себя Испании. Но и Испания от меня ускользнула! Теперь, когда я никто, я могу спокойно созерцать мое растоптанное «я» и спрашивать себя: зачем в нем пробудилась жизнь и когда она его покинет? зачем племя рыцарей наградило своего последнего отпрыска рыцарскими добродетелями, африканскими страстями, пламенной любовью к поэзии, если семена эти обречены покоиться в грубой оболочке, если им не суждено пустить росток и родить лучезарный цветок, источающий восточные ароматы? Какое преступление свершил я еще до рождения, что никому не внушаю любви? Ужели с самого рождения уподобился я

обломку разбитого судна и обречен окончить свои дни на бесплодной песчаной отмели? Душа моя, как выжженная пустыня, где гибнет все живое. Горделивый отпрыск утратившего былую славу племени, полный бесполезной силы и нерастроченной любви, молодой старик, здесь не хуже, чем в любом другом месте, буду я влачить жалкое существование, как последней милости ожидая смерти. Увы! под этим туманным небом ни одна искра не возродит огня в той горстке пепла, которой стала моя душа. Поэтому умирая, я скажу, как Иисус Христос: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил!» Ужасные слова, всю глубину которых никто не мог постигнуть.

Сам посуди, Фернандо, какое счастье для меня воскреснуть в тебе и Марии! Отныне я буду смотреть на вас с гордостью творца. Любите друг друга нежно и верно, не огорчайте меня: ссора ваша опечалила бы меня больше, чем вас самих. Наша матушка предчувствовала, что когда-нибудь обстоятельства переменятся и ее надежды сбудутся. Быть может, желание матери — это договор, заключенный между нею и Господом. Впрочем, не была ли она одним из тех таинственных существ, которые сообщаются с небом и прозревают будущее? Сколько раз читал я на ее морщинистом челе желание, чтобы почет и богатство Фелипе принадлежали Фернандо! Я говорил ей об этом; в ответ она плакала, и слезы, катившиеся из ее глаз, раскрывали мне раны сердца, которое должно было одинаково любить нас обоих, но помимо ее воли принадлежало одному тебе. Поэтому тень ее возрадуется и благословит вас, когда вы склоните головы пред алтарем, одарите ли вы тогда вашего Фелипе нежным взглядом, донья Клара? Вы видите: он уступает вашему любимцу даже девушку, которую вы с болью душевной прочили ему в жены. Мой поступок по нраву женщинам, покойникам, королю, он угоден Богу, так что не препятствуй мне, Фернандо: повинуйся и молчи.

P.S. Скажи Урраке, чтобы она называла меня не иначе как господином Энаресом. Ни слова не говори обо мне Марии. Никто на свете, кроме тебя, не должен знать секретов последнего мавра, обращенного в христианство, в чьих жилах течет кровь великого племени, родившегося в пустыне и угасающего вдали от людей. Прощай.

VII

От Луизы де Шолье к Рене де Мокомб Январь 1824 г.

Как, уже свадьба! Да разве так выходят замуж? Через месяц ты отдашь свою руку человеку, которого вовсе не знаешь. Быть может, человек этот глух — глухота ведь бывает самого разного рода, быть может, он не совсем в своем уме, скучен, невыносим. Ужели ты не понимаешь, Рене, что хотят с тобой сделать? Ты нужна им для продолжения рода — славного рода де л'Эсторад, только и всего. Ты станешь провинциалкой. Разве в этом клялись мы друг другу? На твоём месте я предпочла бы кататься на ялике вокруг Иерских островов до тех пор, пока какой-нибудь алжирский корсар не похитил бы меня и не продал султану; я стала бы султаншей, сын мой — наследником султанского престола, я прибрала бы к рукам весь сераль и держала его в узде до конца дней своих. Едва выйдя из одного монастыря, ты уже готова затвориться в другом?! Я знаю, ты трусиха, ты во всем будешь слушаться мужа, как покорная овечка. Послушайся моего совета, приезжай в Париж, мы сведем с ума всех здешних мужчин и станем царицами. Твой муж, дорогая козочка, может через три года стать депутатом. Я теперь знаю, что такое депутат, я объясню тебе; ты научишься пользоваться своим положением, ты сможешь жить в Париже и стать, как говорит матушка, светской дамой. Нет! Я ни за что не дам тебе заживо похоронить себя в глуши.

Понедельник.

Дорогая моя, вот уже две недели, как я веду светскую жизнь; один вечер в Итальянской опере, другой — во Французской, а после театра обязательно бал. Ах! свет — это сказка! Итальянская музыка приводит меня в восхищение, и пока душа моя вкушает божественное наслаждение, на меня смотрят в лорнет, мною любят, — но один мой взгляд заставляет самого дерзкого из молодых людей потупить глаза. Там встречаются очаровательные юноши — и что же? мне не нравится ни один; ни один из них не вызвал у меня того волнения, какое я испытываю, слушая Гарсиа в «Отелло»[42], особенно в великолепном дуэте с Пеллегрини. Боже мой, как должен быть ревнив этот Россини, чтобы так прекрасно выразить ревность! Какой вопль души: *Il mio cor si divide!*[43]. Для тебя все это китайская грамота, ты не слыхала Гарсиа, но ты знаешь, как я ревнива! Как жалок этот Шекспир! Отелло увенчан славой, он одерживает победы, командует войсками, он у всех на виду, он разъезжает по свету, оставляя Дездемону одну, предпочитая ей дурацкие государственные дела, — а она спокойно сносит все это?! Такая овечка заслуживает смерти. Пусть тот, кого я соблаговолю полюбить, посмеет только заняться чем-нибудь, кроме любви ко мне! Я считаю, что дамы былых времен были совершенно правы, подвергая рыцарей долгим испытаниям. По-моему, молодой болван, недовольный тем, что владычица его сердца послала его за своей перчаткой в клетку со львами, очень дерзок и вдобавок очень глуп: в награду он, без сомнения, получил бы прекрасный цветок любви; он имел на это право и посмел утратить его, наглец! Но я болтаю, словно у меня нет важных новостей! Мы, вероятно, вскоре отправимся в Мадрид, чтобы представлять там интересы короля: я говорю «мы», поскольку собираюсь ехать с отцом. Матушка хочет остаться здесь, и отец берет меня с собой, чтобы иметь в доме женщину.

Дорогая моя, ты, верно, не находишь в этом ничего удивительного, меж тем здесь кроется нечто чудовищное: за две недели я раскрыла семейные тайны. Матушка готова поехать с отцом в Мадрид, если он согласится взять в качестве секретаря посольства господина де Каналиса[44], но секретарей назначает сам король, и отец не желает ни перечить королю, который не терпит возражений, ни сердить матушку; этот мудрый политик нашел выход из затруднительного положения: он оставляет герцогиню в Париже. Господин де Каналис, великий поэт нашего времени, — тот самый молодой человек, который ежедневно навещает мою матушку от трех до пяти часов пополудни и, вероятно, изучает вместе с ней дипломатию. Должно быть, дипломатия — штука интересная и занятая, ибо он прилежен, как биржевой игрок. Господин герцог де Реторе, мой старший брат, важный, холодный и своенравный, выглядел бы полным ничтожеством в Мадриде рядом с отцом, и потому он тоже остается дома. Кроме того, мисс Гриффит поведала мне, что Альфонс влюблен в танцовщицу из Оперы. Как можно любить ножки и пируэты? Мы заметили, что он бывает в театре всякий раз, когда танцует Туллия; он аплодирует ей и сразу уходит. Я думаю, что две девушки в одном доме опаснее чумы. Что касается моего второго брата, то он в своем полку, и я его пока не видела. Итак, мне уготована роль Антигоны[45] при посланце Его Величества. Быть может, в Испании я выйду замуж; наверно, отец надеется, что там меня возьмут без приданого, как твой старичок-гвардеец берет тебя. Отец предложил мне ехать с ним и прислал ко мне своего учителя испанского. «Вы хотите выдать меня в Испании замуж?» — спросила я. В ответ он лукаво взглянул на меня. С некоторых пор наш посол повадился дразнить меня за завтраком; он изучает меня, а я скрытничая и морочу ему голову. Ведь он, чего доброго, считает меня дурочкой. Недавно он стал расспрашивать, что я думаю о некоем молодом человеке или о неких барышнях, с которыми я встречалась в разных домах. В ответ я пустилась в глупейшие рассуждения о цвете их волос, росте, наружности. Отец был разочарован моей бестолковостью и мысленно бранил себя за расспросы. «Право, батюшка, — добавила я, — я говорю не то, что думаю на самом деле: матушка недавно напугала меня — она сказала, что, описывая свои впечатления, я нарушаю приличия». — «В кругу семьи вы можете смело говорить все, что думаете», — отвечала матушка. «Если так, — продолжала я, — то пока мне представляется, что все молодые люди интересны, но ничем не интересны, они больше заняты собой, чем нами; но по правде сказать, они не умеют скрывать свои чувства: не успеют они окончить разговор с девушкой, как с их лица сползает любезная улыбка; верно, они воображают, что мы слепы. Человек, который с нами разговаривает, — любовник,

человек, который с нами уже не разговаривает, — муж. Что касается барышень, то они так жеманны, что об их нраве можно судить единственно по танцу: только их стан и движения никогда не лгут. В особенности же меня ужаснула грубость великосветских людей. Когда дело доходит до ужина, начинает твориться то, что я могу сравнить, как это ни дерзко, лишь с бунтом черни. Учтивость плохо скрывает всеобщий эгоизм. Я не так представляла себе свет. Женщины значат в нем так мало — быть может, это отголосок теорий Бонапарта[46]». — «Арманда делает поразительные успехи», — сказала матушка. — «А вы полагали, матушка, что я вечно буду спрашивать, жива ли госпожа де Сталь?» Отец улыбнулся и встал из-за стола.

Суббота.

Милая моя Рене, это еще не все. Вот что я хотела тебе сказать: должно быть, люди очень старательно прячут ту любовь, которая рисовалась нашему воображению, ибо я нигде не видела ни малейшего ее следа. В гостиных я несколько раз замечала быстрые взгляды, которыми мужчины обменивались с дамами, но как все это скучно! Любовь, о которой мы мечтали, этот чудесный мир, полный сладостных грез и упоительных пробуждений, острых наслаждений и мучительных терзаний, эти улыбки, которые освещают все вокруг, эти речи, которые ласкают слух, это счастье, которое любящие щедро дарят друг другу, эта горечь разлук и радость встреч... нигде ничего похожего! Где, в чьих душах распускаются все эти дивные цветы? Кто лжет: мы или свет? Я успела повидать сотни юношей и зрелых мужчин, и ни один не вызвал во мне ни малейшего волнения; даже если бы все они упали к моим ногам, если бы они дрались за меня на дуэлях, я взирала бы на все это совершенно равнодушно. Любовь, дорогая моя, — такое редкое явление, что можно прожить всю жизнь, так и не встретив человека, которого природа наделила способностью дать нам счастье. Эта мысль приводит меня в содрогание, ибо как быть, если человек этот встретится слишком поздно? С некоторых пор судьба наша начинает страшить меня, я понимаю, отчего, вопреки румянцу, вызванному призрачными радостями бала, у стольких женщин печальные глаза. Они вышли замуж за первого встречного — как и ты. В мозгу моем бушует ураган мыслей. Быть любимой каждый день иначе, чем вчера, но всегда с одинаковой силой, после десяти лет счастливой семейной жизни быть любимой так же, как и в первый день, — такая любовь рождается не вдруг; нужно долго оставаться неприступной, дразнить любопытство и удовлетворять его, пробудить великое чувство и ответить на него. Подчиняются ли творения сердца таким же законам, как творения видимой природы? Долговечна ли радость? Каково соотношение слез и счастья в любви? Чем больше размышляю я обо всем этом, тем понятнее делается мне унылый, ровный, однообразный уклад монастырской жизни и тем более несбыточными кажутся сокровища, восторги, слезы, наслаждения, праздники, радости, утехи верной, разделенной, законной любви. Мне кажется, в этом городе нет места нежной страсти, целомудренным прогулкам под сенью деревьев, вдоль реки, мерцающей в ярком лунном свете, гордости, не уступающей мольбам. Я богата, молода и хороша собой, мне недостает только любви; любовь может стать моей жизнью, моим единственным занятием, но я уже три месяца мечусь, сгорая от нетерпения и любопытства, и ничего не встречаю, кроме лихорадочно блестящих, жадных, настороженных взглядов. Ничей голос не взволновал меня, ничей взор не озарил для меня окружающий мир. Единственная моя отрада — музыка, она одна заменяет мне тебя. Бывает, ночью я часами сижу у окна, глядя в сад и призывая неведомую силу, чтобы она смилостивилась надо мной и в моей жизни что-то произошло. Не раз я садилась в карету, выходила на Елисейских полях, надеясь, что мужчина, которому суждено разбудить мою оцепенелую душу, услышит мой зов и пойдет за мной следом, не сводя с меня глаз; но в такие дни мне встречались только бродячие акробаты, торговцы пряниками, фокусники, спешащие по делам прохожие да занятые друг другом влюбленные: мне хотелось остановить их и спросить: «Скажите мне, вы, счастливы, что такое любовь?» Но я таила эти безумные мысли, снова садилась в карету и давала зарок никогда не выходить замуж. Любовь несомненно есть чудо, но что же нужно сделать, чтобы оно свершилось! Я не всегда пребываю в полном согласии даже с самой собой, как же поладить с другим человеком? Один

Бог может разрешить эту задачу. Я подумываю о возвращении в монастырь. Если я останусь в свете, я натворю такого, что все сочтут глупостями, ибо я не могу примириться с тем, что вижу. Все задевает чувствительные струны моей души, все оскорбляет мои нравственные правила и сокровенные убеждения. Ах! матушка моя счастливейшая из женщин, ее великий маленький Каналис обожает ее. Мой ангел, мне страсть как хочется узнать, что происходит между матушкой и этим молодым человеком. Гриффит говорит, что ей тоже ведомы подобные желания, ей тоже хотелось наброситься на счастливых женщин, осыпать их бранью, растерзать. Однако добродетель, по ее мнению, состоит в том, чтобы похоронить все эти бредни на дне души. Что же такое дно души? Склад всего, что в нас есть дурного. Мне так досадно, что у меня нет обожателя. Я барышня на выданье, но у меня есть братья, семья, щепетильные родственники. Неужели причина сдержанности мужчин в этом? В таком случае они большие трусы. Химена и Сид приводят меня в восхищение. Какая дивная пьеса «Сид»[47]! Ну что ж, до свидания.

VIII

От Луизы де Шолье к Рене де Мокомб Январь.

Нам дает уроки бедный изгнанник, принужденный скрываться из-за участия в революции, которую подавил герцог Ангулемский; в честь этого в Париже недавно состоялись торжества. Хотя человек этот либерал и, скорее всего, буржуа, он пробудил во мне сочувствие: я думаю, у себя на родине он был осужден на смерть. Я пытаюсь выведать его тайну, но он молчалив, как кастилец, горд, как Гонсальво из Кордовы[48], и притом обладает ангельским терпением и кротостью; его гордость не выплескивается наружу, как у мисс Гриффит, она таится в глубине души; он добросовестно исполняет свои обязанности, чем принуждает всех отдавать ему должное и отдаляет себя от нас стеной почтения, которое нам выказывает. Отец говорит, что господин Энарес похож на аристократа, и заочно именуется в шутку дон Энарес. Когда несколько дней тому я позволила себе назвать его так во время урока, этот человек вскинул на меня глаза, которые обыкновенно смотрят вниз, и метнул две молнии, которые поразили меня; дорогая, у него несомненно прекраснейшие глаза на свете. Я спросила, не рассердила ли я его чем-нибудь, на что он ответил мне на прекрасном и возвышенном испанском наречии: «Мадемуазель, я прихожу сюда только за тем, чтобы учить вас испанскому языку». Я обиделась, покраснела и уже собиралась сказать в ответ какую-нибудь дерзость, но вспомнила, что говорила нам наша милая матушка во Христе и ответила: «У вас как будто есть нарекания, я буду признательна, если вы их выскажете». Он вздрогнул, кровь бросилась ему в лицо, и он произнес с легким волнением в голосе: «Религия лучше, чем я, могла научить вас уважать чужие несчастья. Будь я испанским грандом, утратившим положение и состояние после победы Фердинанда VII, ваша шутка была бы просто жестокой, но я всего лишь бедный учитель, а в этом случае ваша шутка зла и бесчеловечна. Разве достойно это девушки благородного происхождения?» Я взяла его за руку и сказала: «Я виновата перед вами и тоже взываю к вашим религиозным чувствам — простите меня». Он опустил голову и раскрыл моего «Дон Кихота». Это маленькое происшествие взволновало меня больше, чем все комплименты, взгляды и слова, которые я услышала вечером на балу, где имела огромный успех. Во время урока я присмотрелась к этому человеку, который не замечает устремленных на него взглядов; он никогда не поднимает на меня глаз. Я увидела, что учитель, которому мы давали лет сорок, молод: ему, должно быть, лет двадцать шесть — двадцать восемь, не больше. Моя гувернантка, с которой я его однажды оставила, восхищается его прекрасными черными волосами и белыми, как жемчуг, зубами. Что касается его глаз, то в них бархат и огонь разом. Вот, впрочем, и все, ибо он мал ростом и некрасив. Говорят, что испанцы не очень чистоплотны, но он чрезвычайно опрятен, руки его белее лица; он слегка сутулится; у него огромная голова странной формы; лицо его,

уродливое, хотя и весьма умное, особенно портят частые оспины; лоб у него очень крутой, брови слишком густые и сросшиеся на переносице, что придает ему сердитый, неприветливый вид. Вид у него угрюмый и болезненный, какой бывает у людей, обреченных врачами умереть во младенчестве и выживших единственно благодаря неустанным заботам, — такой, как у сестры Марты. Словом, как говорит отец, он похож на кардинала Хименеса[49], но помельче. Отец недолюбливает Энареса, ибо испытывает в его присутствии чувство неловкости. Манеры нашего учителя исполнены прирожденного достоинства, и это, похоже, беспокоит милейшего герцога; он терпеть не может людей, в чем-либо его превосходящих. Как только отец сможет говорить по-испански, мы отправимся в Мадрид. Через два дня после полученного мною выговора я в знак признательности сказала Энаресу: «Я не сомневаюсь, что вы покинули Испанию по политическим соображениям; если моего отца туда в самом деле пошлют, мы сможем вам чем-нибудь помочь, а если вы осуждены на смерть, попытаемся испросить для вас помилование». — «Никто не может мне помочь», — отвечал он. «Потому что вы не желаете ничего заступничества или потому что оно бесполезно?» — «По обеим этим причинам», — ответил он с поклоном, давая понять, что разговор окончен. Кровь моего отца закипела в моих жилах. Такая надменность привела меня в негодование, и я оставила господина Энареса в покое. Однако, дорогая, есть нечто возвышенное в том, чтобы ничего не принимать от чужих людей. Он не принял бы нашей дружбы, решила я, спрягая глагол, и, недолго думая, сказала ему это по-испански. Энарес очень почтительно ответил мне, что для дружбы необходимо равенство, которого между нами нет и быть не может. «Вы понимаете равенство как взаимность чувств или как одинаковое положение в обществе?» — спросила я, пытаясь вывести его из себя; его степенность меня бесит. Он вновь вскинул свои грозные глаза, и я потупилась. Дорогая, этот человек — неразрешимая загадка. Казалось, он спрашивает, не являются ли мои слова признанием в любви: в его взгляде смешались счастье, гордость, мучительная неуверенность. У меня сжалось сердце. Я поняла, что испанец может принять всерьез кокетливую болтовню, которой француз не придаст бы никакого значения, и притихла; пожалуй, мне стало немного стыдно. После урока он раскланялся, бросив на меня взгляд, полный смиренной мольбы и как бы говорящий: «Не играйте несчастным человеком». Этот внезапный переход от чопорности и сдержанности к смирению произвел на меня огромное впечатление. Страшно подумать и высказать вслух, но мне кажется, этот человек способен на беззаветное чувство.

IX

От госпожи де л'Эсторад к мадемуазель де Шолье Декабрь.

Все кончено, дитя мое, тебе пишет госпожа де л'Эсторад; впрочем, наши с тобой отношения останутся прежними, просто на свете стало одной девушкой меньше. Не тревожься, я много размышляла и отдала свою руку не безрассудно. Теперь жизнь моя известна наперед. Уверенность, что я пойду проторенным путем, мила моему уму и отвечает моим склонностям. Великое нравственное установление всегда будет оберегать меня от того, что мы зовем случайностями жизни. У нас есть земли, которые надо обрабатывать, дом, который надо украшать и делать уютным; у меня есть хозяйство, которое надо вести, человек, которого надо вернуть к жизни. Я стану матерью, буду воспитывать детей. Что поделаешь! Будни не бывают великими и необычайными. Конечно, безмерным желанием, возвышающим ум и сердце, нет места в этом укладе, во всяком случае, на первый взгляд. Но кто мешает мне, как прежде, спустить на воду лодку и отправиться в странствие по безбрежному морю мечты? Да и скромное существование, на которое я себя обрекаю, не вовсе лишено страстей. Вернуть веру в счастье бедняге, ставшему жертвой разбушевавшихся стихий, — прекрасная цель; она будет скрашивать однообразие моей жизни. Я не нахожу, чтобы обо мне стоило особенно скорбеть. Зато я нахожу, что могу сделать немало добрых дел. Между нами говоря, я не

люблю Луи де л'Эсторада той любовью, которая заставляет сердце биться сильнее при шуме знакомых шагов, которая приводит нас в волнение при звуках чарующего голоса и при встрече с пламенным взглядом любимого, но Луи мне и не противен. А как же, спросишь ты меня, твое стремление к возвышенному, как же благородные помыслы, живущие в нашей душе и связующие нас прочными узами? Я долго не находила ответа на этот вопрос, а потом решила: разве не прекрасно скрывать их и втайне от всех употреблять на благо семьи, превратить их в источник счастья для людей, которые нам вверены и которым мы принадлежим? Пора расцвета этих способностей у женщин длится недолго, она скоро минет — и пусть в моей жизни не будет величия, зато она будет тихой, мирной, не знающей превратностей. Мы, женщины, обладаем большим преимуществом, мы можем выбирать между любовью и материнством. И я сделала свой выбор: моими богами будут мои дети, а моим Эльдorado — этот уголок земли. Пока мне нечего тебе больше сказать. Благодарю тебя за все, что ты мне прислала. Не обходи своим вниманием список моих заказов, который я прилагаю к этому письму. Я хочу окружить себя предметами роскошными и изящными и брать от провинции только приятное. Живя уединенно, женщина никогда не сделается провинциалкой, она останется самой собой. Надеюсь, ты исправно будешь сообщать мне о том, что нынче в моде. Мой свекор вне себя от радости, ни в чем мне не отказывает и готов перевернуть все в доме вверх дном. Мы выписываем мастеров из Парижа, чтобы устроить все по-новому.

Х

От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад Январь.

Ах, Рене! Как ты огорчила меня! Неужели это дивное тело, это прекрасное гордое лицо, эти исполненные природного изящества манеры, эта чуткая душа, эти глаза — живой источник любви, утоляющий духовную жажду, это тонко чувствующее сердце, этот глубокий ум, эти чудесные плоды образования, полученного в наших беседах, эта сокровищница, где страсть и желание могли почерпнуть несметные богатства, эти полные поэзии прелести, способные сделать мужчину рабом одного-единственного грациозного движения и заставить его променять годы на часы, — все это увянет в скучных буднях обыкновенного, заурядного супружества, сгинет в пустоте жизни, которая тебе скоро опостылеет! Я заранее ненавижу детей, которые у тебя родятся: они будут дурны. Вся твоя жизнь predetermined — тебе не на что уповать, нечего опасаться, не о чем скорбеть. А если в один прекрасный день ты встретишь существо, что пробудит тебя от спячки?.. У меня мороз пробегает по коже при этой мысли. Впрочем, у тебя есть подруга. Конечно, ты станешь духом этой долины, приобщишься ее красотам, сроднишься с ее природой, проникнешься величием окружающего пейзажа, неспешностью роста трав, быстротой полета мысли, но, глядя на яркие цветы, ты опомнишься, ты будешь гулять в обществе мужа и детей; он, молчаливый и довольный, будет шагать впереди, а они — орать, визжать и резвиться сзади, а потом ты усядешься за письмо ко мне, и я наперед знаю, что ты напишешь. Твоя туманная долина с ее голыми и лесистыми холмами, твои замечательные, залитые солнцем провансальские луга с их прозрачными ручейками — все это бесконечное разнообразие Божьего мира будет постоянно напоминать тебе о бесконечном однообразии твоего сердца. Но я всегда буду с тобой, моя Рене, во мне ты найдешь подругу, чье сердце никогда не затронут никакие сословные предрассудки; сердце это всегда будет принадлежать тебе.

Понедельник.

Дорогая, мой испанец восхитительно грустен: в нем есть спокойствие, суровость, достоинство, глубина; все это меня чрезвычайно занимает. В неизменной торжественности

этого человека и молчании, которое он хранит, есть нечто вызывающее. Он нем и величав, как низвергнутый король. Мы — я и Гриффит — разгадываем его, как загадку. Как странно! Учитель испанского языка добился того, чего не мог добиться от меня ни один мужчина, — а ведь я произвела смотр всем богатым наследникам, всем дипломатам, от секретарей посольства до посланников, всем военным от генералов до лейтенантов, пэрам Франции, их сыновьям и племянникам, придворным и горожанам. Неприступность этого человека меня бесит. Непомерная гордыня — вот та стена, которой он отгораживается от нас; он старательно окутывает себя таинственностью. Из нас двоих он кокетничает, а я отваживаюсь на дерзости. Эта странная игра забавляет меня тем больше, что все это не может иметь последствий. Что для меня мужчина, испанец, учитель? Я не испытываю никакого уважения ни к кому из мужчин, будь то сам король. Я считаю, что мы достойнее любого мужчины, даже самого что ни на есть великого. О! как бы я повелевала Наполеоном! Полюби он меня, уж я бы дала ему почувствовать, что он в моей власти!

Вчера я отпустила колкость, которая, должно быть, задела мэтра Энареса за живое; он ничего не ответил, окончил урок, взял свою шляпу и на прощание так на меня взглянул, что больше он, я думаю, не придет. И прекрасно: было бы очень глупо разыграть заново «Новую Элоизу»[50] Жан-Жака Руссо, которую я только что прочла и которая заставила меня возненавидеть любовь. Терпеть не могу чувство, сводящееся к рассуждениям и пышным фразам. Кларисса не лучше — она чересчур самодовольна, когда сочиняет очередное «письмецо»[51] на десяток страниц; впрочем, роман Ричардсона, по словам моего отца, превосходно рисует нрав англичанок. Что же до романа Руссо, то это, по-моему, просто-напросто философическая проповедь в письмах.

Я полагаю, что любовь — поэма, у каждого своя. Все, что пишут о ней в романах, и верно, и неверно разом. Поскольку ты, моя прелесть, можешь мне теперь поведать лишь о любви супружеской, то я полагаю, что мне следует, разумеется в наших общих интересах, — еще в девичестве испытать сильную страсть: только тогда мы сможем по-настоящему узнать жизнь. Рассказывай же мне как можно подробнее все, что будет с тобой происходить, особенно в первые дни жизни со зверем по имени муж. Обещаю тебе поступать так же, если меня кто-нибудь полюбит. Прощай, пропащая моя подруга.

XI

От госпожи де л'Эсторад к мадемуазель де Шолье Крампада.

Милая душенька, ты и твой испанец приводят меня в ужас. Пишу тебе это письмо второпях, чтобы просить тебя немедленно отказать ему от места. Судя по тому, что ты мне о нем писала, он относится к самому опасному типу людей, которые способны на все, ибо им нечего терять. Человек этот не должен стать твоим возлюбленным и не может стать твоим мужем. Я напишу тебе подробнее обо всем, что происходит между мною и мужем, но позже, когда ты развеешь тревогу, которую поселило в моей душе твое последнее письмо.

XII

От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад Февраль.

Прелестная моя козочка, сегодня в девять утра мне доложили о приходе отца. К этому

времени я уже встала и оделась; когда я вошла в гостиную, он восседал перед камином и выглядел задумчивее обычного; он указал мне на кресло напротив, я поняла и с важным видом уселась, так удачно передразнив его, что он улыбнулся, но очень грустной улыбкой. «У вас такой же острый ум, как у вашей бабушки», — сказал он. «Полно, батюшка, вы же не при дворе, не лукавьте, — ответила я, — у вас есть ко мне дело!» Он встал в сильном волнении и добрых полчаса говорил со мной. Нашу беседу, дорогая, стоило записать, Как только он ушел, я села за стол и постаралась воспроизвести его слова. Отец впервые был откровенен со мной до конца. Для начала он польстил мне, это получилось у него недурно; я должна быть ему признательна: он понял и оценил меня.

«Арманда, — сказал он, — вы обманули мои ожидания и тем самым приятно меня удивили. Когда вы приехали из монастыря, я принял вас за девицу заурядную, суетную, невежественную и недалекую, падкую на безделушки и украшения». — «Благодарю вас, батюшка, от имени молодежи». — «Где она, нынешняя молодежь! — ответил он и непроизвольно взмахнул рукой, как на трибуне. — У вас удивительный, всесторонне развитый ум, — продолжал он, — вы трезво оцениваете вещи, вы необычайно проницательны и очень хитры: все думают, что вы ничего не замечаете, а в действительности, пока другие обдумывают явление, вы уже постигаете его причину. Вы министр в юбке; в этом доме вы одна можете понять меня, и тот, кто хочет от вас какой-либо жертвы, должен просить помощи только у вас самой. Поэтому я откровенно изложу вам намерения, которые я хотел и по-прежнему хочу осуществить. Чтобы вы согласились с ними, я должен доказать вам, что мною движут чувства возвышенные. Для этого мне придется углубиться в важные государственные соображения, которые показались бы скучными любой девушке, кроме вас. У вас будет время обдумать мои слова: если потребуется, я дам вам полгода на размышления. Вы вольны поступить так, как сочтете нужным, и если вы откажете мне в жертве, которой я от вас прошу, я смирюсь с вашим отказом и не буду вас больше тревожить».

Такое вступление, моя козочка, настроило меня на серьезный лад, и я сказала: «Говорите, батюшка». И вот какую речь произнес государственный муж: «Дитя мое, положение Франции непрочное; об этом знает только король да несколько высоких умов, но король — это голова без рук, а высокие умы, знающие об опасности, не имеют никакой власти над людьми, в чьем содействии нуждаются. Люди эти, которых изрыгнуло народное голосование, не хотят быть ничьими орудиями. Несмотря на все свои таланты, они, вместо того чтобы помочь нам укрепить общественные устои, продолжают их разрушать. Одним словом, идет борьба двух партий: партии Мария и партии Суллы[52]; я на стороне Суллы против Мария. Таково положение дел в общих чертах. Если же говорить подробнее, Революция продолжается[53], она срослась с законом, она проникла в почву, она продолжает жить в умах — она тем страшнее, что большинство советников, окружающих трон, считают ее побежденной, не замечая ни ее воителей, ни ее мощи. У короля великий ум, он видит всех насквозь, но с каждым днем он все больше подпадает под власть сторонников своего брата, которые чересчур торопятся. Король не проживет и двух лет; он хочет умереть спокойно. Знаешь ли ты, дитя мое, каковы самые пагубные последствия Революции? Тебе ни за что не отгадать, в чем они состоят. Отрубив голову Людовику XVI, Революция обезглавила всех отцов семейств. Семьи уже нет, остались только отдельные личности. Возжелав стать нацией, французы перестали быть империей. Провозгласив равные права детей на отцовское наследство, они убили дух семейственности и заменили его духом корысти. Тем самым они обескровили сильных и разожгли слепую ярость масс, вызвали упадок искусств, ускорили торжество личной выгоды и ослабили военную мощь страны. Перед нами два пути: в основе государства может лежать либо семейственность, либо своекорыстие. Говоря коротко, нам следует выбрать одно из двух: аристократию или демократию, повиновение или споры, католичество или безверие. Я принадлежу к горстке людей, стремящихся противостоять тому, что называют народом, — разумеется, в его же интересах. Мы защищаем вовсе не феодальные права, как уверяют простаков, и не дворянство, мы печемся о судьбе

государства, о жизни Франции. Если страна не зиждется на отеческой власти, положение ее непрочное. Отечественная власть — первая ступенька лестницы ответственности и субординации, которая поднимается до самого короля. Король — это мы все! Умереть за Короля — значит умереть за самого себя, за свою семью, которая жива, пока жива королевская власть. Каждое животное обладает определенным инстинктом; инстинкт человека — чувство семейственности. Страна сильна, когда состоит из богатых семейств, все члены которых готовы защищать общее достояние: деньги и славу, привилегии и наслаждения; она слаба, когда состоит из разобщенных личностей, которым все едино — подчиняться семи правителям или одному, русскому или корсиканцу, лишь бы сохранить свой клочок земли; эти несчастные эгоисты не сознают, что рано или поздно лишатся и его. В случае неудачи положение наше будет ужасно. Обществом будут управлять только уголовные да налоговые законы — кошелек или жизнь. Благороднейшая страна на свете перестанет руководствоваться чувствами. Тело ее покроется незаживающими ранами. Во-первых, все начнут завидовать друг другу; высшие классы будут уничтожены, чернь примет равенство желаний за равенство сил; истинные, признанные, прославленные таланты исчезнут, захлестнутые волнами буржуазии. Можно выбрать одного человека из тысячи, но кого предпочесть среди трех миллионов одинаковых честолюбцев, надевших одинаковую личину, личину посредственности? Эта торжествующая толпа и не заметит, что ей противостоит другая страшная толпа, толпа крестьян-собственников — двадцать миллионов арпанов земли, которые живут, ходят, рассуждают, ничему не внемлют, хотят прибрать к рукам все больше и больше, всему противятся, обладают грубой силой...»

«Но, — перебила я, — чем я-то могу помочь государству? У меня нет никакого желания сделаться новой Жанной д'Арк и во спасение Семьи сгореть на медленном огне монастырского костра». — «Вы маленькая язва, — сказал отец. — Когда я говорю с вами о деле, вы отвечаете шутками; когда я шучу, вы говорите со мной как дипломат». — «Любовь питается контрастами», — ответствовала я. Он хохотал до слез. «Обдумайте то, что я вам сказал; вы оцените, сколько я выказал доверия и великодушия, говоря с вами подобным образом, и, быть может, вы согласитесь с моими планами. Я понимаю, что вас лично мои намерения могут обидеть, оскорбить, поэтому я взываю не столько к вашему сердцу и воображению, сколько к разуму, ибо у вас больше разума и здравого смысла, чем у кого бы то ни было...» — «Вы льстите себе, — сказала я ему с улыбкой, — ведь я ваша дочь и во всем похожа на вас!» — «Словом, — продолжал он, — я не привык быть непоследовательным. Цель оправдывает средства; мы должны подавать пример всем остальным. Итак, у вас не должно быть состояния, пока не обеспечен ваш младший брат; я хочу употребить весь ваш капитал на то, чтобы учредить для него майорат[54]». «Но, — спросила я, — если я отдам вам мое состояние, вы не запретите мне жить, как я захочу, и быть счастливой?» — «Нимало, если только ваш образ жизни не повредит чести, положению и, добавлю, славе нашей семьи». — «Ну вот! — вскричала я. — Недолго же вы признавали превосходство моего ума!» — «Во Франции, — сказал он с горечью, — не сыщется мужчины, который пожелал бы жениться на знатной девушке без приданого и мог бы ее обеспечить. Если же таковой и нашелся бы, то только среди выскочек-буржуа, а в этом отношении я придерживаюсь старинных взглядов». — «Я тоже, — сказала я. — Но стоит ли отчаиваться? Ведь на мою долю остаются престарелые пэры Франции!» — «Вы делаете большие успехи, Луиза!» — воскликнул он, с улыбкой поцеловав мне руку, и удалился.

В то же утро я получила от тебя письмо и задумалась о пропасти, на краю которой я, по твоему мнению, стою. Мне почудилось, что какой-то внутренний голос кричит: «Ты упадешь в нее!» Я решила оградить себя от опасности. Энарес теперь осмеливается поднимать на меня глаза, и взгляд его меня тревожит, он вызывает у меня ощущение, которое можно сравнить только с глубоким ужасом. На человека этого не следует смотреть, как не следует смотреть на жабу, — он безобразен и вместе с тем притягивает взгляд. Вот уже два дня, как я раздумываю, не сказать ли отцу прямо, что я больше не хочу учиться испанскому и прошу отказать этому Энаресу, но, приняв твердое решение, я все же чувствую потребность вновь

испытать священный ужас, который вызывает во мне этот человек, и говорю себе: сегодня последний раз, а там уж я поговорю с отцом. Дорогая, у него такой мягкий и проникновенный голос — звуки его ласкают слух, как пение Фодор[55]. Манеры просты и безыскусны. А какие прекрасные зубы! Он, кажется, заметил, что небезразличен мне, и недавно после урока сделал движение — правда, весьма почтительное, — чтобы взять мою руку и поцеловать, но тут же отступил, словно убоявшись своей дерзости и вспомнив о пропасти, которая нас разделяет. Хотя все это произошло почти незаметно, я догадалась о его чувствах и улыбнулась, ибо нет ничего трогательнее порыва человека низкого звания, внезапно осознающего свое положение. Как отважен должен быть буржуа, посмевавший полюбить девушку-дворянку! Моя улыбка придала ему храбрости, бедняга стал искать шляпу, но никак не мог ее найти и, как видно, рад был бы искать ее как можно дольше, но я торжественно протянула ему ее. В глазах Энареса стояли слезы. Сколько мы пережили и перечувствовали в этот краткий миг! Мы так хорошо поняли друг друга, что я протянула ему руку для поцелуя. Быть может, тем самым я хотела сказать, что любовь может перешагнуть пропасть, которая нас разделяет. Не знаю даже, что на меня нашло. Гриффит стояла к нам спиной, я гордо протянула ему свою белую лапку, он прижал к ней пылающие губы, и две крупные слезы увлажнили мои пальцы. Ангел мой, я без сил упала в кресло и долго сидела, погруженная в свои мысли. Я была счастлива, отчего и почему — не знаю. То, что я пережила, было исполнено такой высокой поэзии! Мое падение, которого я теперь стыжусь, казалось мне величием; он заморозил меня — вот мое оправдание.

Пятница.

Право, этот человек прекрасен. Как складно он говорит, какой у него светлый ум. Дорогая моя, он не только учит меня испанскому, он объясняет мне строение всех языков земли и самой человеческой мысли убедительно и логично, как Боссюэ[56]. По-французски он говорит, как француз. Когда я выразила удивление по этому поводу, он ответил, что в ранней юности жил при дворе испанского короля в Балансе. Что произошло в этой душе? Он совершенно переменялся: сегодня он был одет просто, но точь-в-точь как знатный дворянин, вышедший на утреннюю прогулку. Во время урока он предстал во всем блеске своего ума, призвал на помощь все свое красноречие. Как усталый человек, вновь набравшийся сил, он открыл мне все потаенные уголки своей души. Он рассказал мне историю слуги, который отдал жизнь за один взгляд испанской королевы[57]. «Что ему еще оставалось?» — сказала я. Радость, которую я прочла в его глазах, привела меня в трепет.

Вечером я поехала на бал к герцогине де Ленонкур, там был и князь де Талейран. Я попросила господина де Ванденеса, любезнейшего молодого человека, спросить его, был ли среди испанцев, прибывших в 1809 году вместе с королем Фердинандом в его замок, некий Энарес. «Энарес — мавританское имя рода Сория; род этот, как говорят сами Сория, восходит к абенсерагам, принявшим христианство. Старый герцог и два его сына сопровождали короля в изгнании. Старший из молодых людей, нынешний герцог Сория, был недавно лишен королем Фердинандом, своим заклятым врагом, имений, званий и титулов. Герцог совершил непоправимую ошибку, вступив вместе с Вальдесом в конституционное правительство. По счастью, он бежал из Кадиса прежде, чем туда вступил герцог Ангулемский, — в противном случае даже заступничество Его Высочества не спасло бы его от гнева короля».

Этот ответ, который виконт де Ванденес передал мне слово в слово, заставил меня глубоко задуматься. Не могу описать, в какой тревоге ждала я следующего урока. И вот наступил долгожданный день. В начале урока я добрых четверть часа разглядывала Энареса, гадая, герцог он или буржуа, но ничего не могла понять. Казалось, он читает мои мысли и нарочно сбивает меня с толку. Наконец, не в силах сдержать себя, я прервала перевод, решительно отложила книгу в сторону и сказала по-испански: «Вы обманываете нас, сударь. Вы не бедный буржуа-либерал, вы герцог Сория!» — «Увы, мадемуазель, — ответил он, грустно разведя руками, — я не герцог Сория». Я поняла, сколько отчаяния в этом «увы». Ах, дорогая

моя, ручаюсь, никакой другой мужчина не сумеет вложить столько страсти и значительности в одно-единственное слово. Он опустил глаза, не смея взглянуть на меня. «Князь де Талейран, — сказала я, — у которого вы провели годы изгнания, говорит, что Энарес может быть только впавшим в немилость герцогом Сориа, либо слугой». Он вскинул на меня глаза — два пылающих черных угля, горевшие страстью и обидой. Разговор этот, казалось, был для него настоящей пыткой. «Мой отец, — сказал он, — в самом деле служил испанскому королю». Гриффит сроду не слыхала таких уроков. После каждого вопроса и каждого ответа наступало томительное молчание. «Скажите же наконец, — потребовала я, — дворянин вы или буржуа?» — «Вы знаете, мадемуазель, что в Испании все, даже нищие, благородного происхождения». Такая скрытность вывела меня из терпения. В ожидании этого урока я придумала одну милую шалость — я нарисовала в письме свой идеал мужчины и собиралась предложить свое сочинение для перевода. Доселе я переводила только с испанского языка на французский, но не с французского на испанский; я попеняла ему на это и попросила Гриффит принести письмо, которое я на днях получила от одной подруги. По тому впечатлению, какое произведет на него моя программа, решила я, я увижу, какая кровь течет в его жилах. Я взяла у Гриффит листок со словами: «Посмотрим, хорошо ли я его переписала?» — ибо все было написано моей рукой. Я протянула ему письмо или, если угодно, приманку и неотрывно смотрела на него, пока он читал:

«Моим избранником, дорогая моя, станет только тот мужчина, который будет суров и горд с мужчинами, но мягок с женщинами. Его орлиный взор заставит тотчас замолчать любого насмешника. Он будет смотреть с улыбкой жалости на всякого, кто смеет глумиться над святыней, особенно же над вещами, в которых заключается поэзия сердца и без которых жизнь была бы так печальна. Я глубоко презираю людей, желающих лишить нас источника религиозных идей, столь утешительных для сердца. Поэтому вера моего избранника должна быть по-детски простодушной, но проникнутой непоколебимым убеждением умного человека, который глубоко постиг основания своих религиозных представлений.

Ум его, самостоятельный и своеобразный, будет чужд позерства и кичливости; он никогда не скажет ни одного лишнего, ни одного неуместного слова; собеседники его никогда не будут знать скуки, как не будет знать ее и он сам, ибо в глубинах его души будут таиться несметные сокровища. Все его помыслы будут благородными, возвышенными, рыцарскими, лишенными эгоизма. Ни в одном из его поступков не будет никакого расчета, никакой корысти. Недостатки его явятся следствием обширности его познаний, ставящих его выше окружающих. Я хочу, чтобы он во всем шел впереди своей эпохи. Исполненный предупредительности, в которой так нуждаются существа слабые, он будет добр ко всем женщинам, но ни одна из них не сможет покорить его: он будет ценить любовь слишком высоко, чтобы превращать ее в забаву. Поэтому может случиться так, что, будучи достоин самой страстной любви, он проживет жизнь в одиночестве. Но если однажды он встретит свой идеал, женщину, о которой грезил наяву, если он найдет существо, которое поймет его, завладеет его душой и осветит его жизнь лучом счастья, существо, которое будет сиять ему, словно звезда, сквозь тучи, застилающие небо над нашим хмурым, холодным, ледяным миром, существо, которое придаст совершенно новое очарование его жизни и заставит звучать те струны его души, что дотоле молчали, то, нечего и говорить, он сумеет узнать и оценить свое счастье. И этой женщине он подарит блаженство. Никогда, ни словом, ни взглядом, не оскорбит он любящее сердце, которое предается ему со слепой доверчивостью ребенка, спящего на руках у матери, ибо если избранница его когда-нибудь очнется от этого сладостного сна, сердце ее будет навеки разбито; пустившись в это плавание, она поставит на карту все свое будущее.

Лицом, манерами, походкой, всем своим поведением и в большом и в малом этот человек будет подобен тем высшим существам, которые никогда не теряют простоты и непринужденности. Пусть сам он будет некрасив, но у него должны быть красивые руки; тех, кто ему безразличен, он будет встречать иронической и презрительной усмешкой, и лишь тех, кого он любит, будет озарять небесный сияющий взгляд, согретый теплом его души».

«Мадемуазель, — сказал он мне по-испански с глубоким волнением в голосе, — позвольте мне сохранить это на память о вас. Сегодня я имел честь давать вам урок в последний раз, а в этом письме содержится урок, который я хочу запомнить навсегда. Я бежал из Испании без гроша в кармане, но сегодня получил от родных сумму, которой мне достанет на жизнь. Я почту за честь порекомендовать вам вместо себя какого-нибудь бедного испанца». Он словно говорил: «Довольно мною играть». Он поднялся с невероятным достоинством и вышел; я была поражена такой деликатностью, не свойственной людям его сословия. Спустившись вниз, он попросил позволения поговорить с моим отцом. За обедом отец с улыбкой сказал мне: «Луиза, вы брали уроки у бывшего министра испанского короля, приговоренного к смерти». — «У герцога Сориа?» — спросила я. — «У герцога?! Нет, он больше не герцог, теперь он всего лишь барон де Макюмер, владелец поместья на Сардинии, — ответил отец. — По-моему, он большой оригинал». — «Не порочьте этим словом, всегда звучащим в ваших устах с долей насмешки и презрения, человека, который ничем не хуже вас и у которого, я уверена, возвышенная душа», — сказала я. — «Баронесса де Макюмер?» — воскликнул отец, глядя на меня с лукавством. Я опустила глаза, не удостоив его ответом. «Однако, — заметила моя матушка, — Энарес, должно быть, встретился у подъезда с испанским послом?» — «Да, — ответил отец, — посол спросил меня, не участвую ли я в заговоре против его повелителя, но весьма почтительно поклонился бывшему испанскому гранду».

Все это, дорогая моя госпожа де л'Эсторад, случилось две недели тому назад, и с тех пор я ни разу не видела человека, который влюблен в меня, а ведь он воистину влюблен. Что он сейчас делает? Я хотела бы стать мухой, мышью, воробышком. Я хотела бы проскользнуть к нему в дом и взглянуть на него, но так, чтобы он меня не видел. Этому человеку я могу сказать: «Умрите за меня!» И он пойдет на смерть — во всяком случае, так мне кажется. Наконец-то в Париже появился человек, о котором я думаю, человек, чей взгляд озаряет мою душу. О! я ни за что не покорюсь этому врагу! Как?! появился мужчина, без которого я не могу жить, который мне необходим! Ты вышла замуж, а я влюблена! Не прошло и четырех месяцев, как две голубки, парившие в облаках, упали с небес на грешную землю.

Воскресенье.

Вчера, в Итальянской опере, я почувствовала на себе чей-то взгляд: словно околдованная, я взглянула в партер и там, в темном углу, увидела глаза, сверкавшие, как два карбункула. Энарес не сводил с меня глаз. Этот ужасный человек отыскал единственное место, откуда мог меня увидеть. Не знаю, чего он стоит в политике, но в любви он гений.

Вот, милая Рене, к чему мы тут пришли[58], — как сказал великий Корнель.

XIII

От госпожи де л'Эсторад к мадемуазель де Шолье Крампада, февраль.

Милая моя Луиза, я долго ждала, прежде чем написать тебе, но теперь ради твоего счастья я должна поделиться с тобой тем, что знаю, вернее, тем, что узнала. Разница между девичеством и супружеством так велика, что девушке ничуть не легче понять, что представляет собой замужняя женщина, чем замужней женщине снова стать девицей. Я вышла за Луи де л'Эсторада, чтобы не возвращаться в монастырь. Это и так ясно. Уразумев, что, если я откажу Луи, мне придется вернуться в Блуа, я, как многие девушки, смирилась. Смирившись, я стала обдумывать свое положение, чтобы извлечь из него как можно больше пользы.

Поначалу суровость обета преисполнила меня ужасом. Однако супружество предполагает

жизнь, а любовь — одни лишь наслаждения, которые скоро проходят, меж тем как супружество остается: в браке рождаются привязанности, гораздо более крепкие, нежели те, что связуют влюбленных. Поэтому, быть может, для счастливого супружества достаточно той нежной дружбы, что позволяет прощать многие недостатки. Ничто не мешает мне испытывать к Луи де л'Эстораду дружеские чувства. С тех пор как я твердо решила не искать в супружестве тех радостей любви, о которых мы так часто и с таким опасным воодушевлением мечтали, в душе моей воцарился сладостный покой. Раз мне не суждено узнать любовь, почему бы не попытаться обрести счастье? — сказала я себе. Тем более что я любима и позволяю себя любить. В браке я всегда буду не рабой, а госпожой. Что же тут дурного для женщины, которая не хочет ни от кого зависеть?

Когда решалось самое важное меж нами, Луи обнаружил превосходный характер и добрую душу; итак, мы уговорились, что я стану его женой на словах, но не на деле. Душенька моя, мне так хотелось вечно жить в предчувствии любви, сторонясь наслаждения и лелея невинность души. Поступать не по обязанности, не по закону, но единственно по велению сердца и сохранять независимость... как это сладостно, как достойно! Покуда мы не заключили втайне от всех этот уговор, противный законам и самому таинству брака, я медлила со свадьбой. Поначалу я была готова на все, лишь бы не возвращаться в монастырь, но человеку свойственно не успокаиваться на достигнутом, а мы с тобой, ангел мой, из тех, кто не успокоится никогда. Я украдкой наблюдала за Луи и спрашивала себя: как повлияло на него несчастье — озлобило или, наоборот, сделало добрее? В конце концов я пришла к выводу, что любовь его ко мне доходит до страсти. Сделавшись его божеством, убедившись, что от первого же холодного взгляда он бледнеет и трепещет, я поняла, что могу добиться от него всего, чего захочу. Первым делом я устроила так, что мы стали совершать дальние прогулки одни, без родителей, и исподволь заставила его открыть мне свое сердце. Я разговорила его, расспросила о его мыслях, планах, о том, как он представляет себе наше будущее. Вопросы мои выдавали столько предварительных размышлений и так верно нащупывали самые больные места предстоящей нам отвратительной совместной жизни, что Луи, как он мне позже признался, испугался столь умудренной невинности. Я терпеливо выслушивала его ответы; он путался в них, как человек, парализованный страхом; в конце концов я поняла, что случай послал мне противника вдвойне слабого, ибо противник этот разглядел то, что ты так громко именуешь величием моей души. Горе и нищета подкосили его, и он считал себя конченным человеком; его терзали сомнения. Во-первых, ему тридцать семь, а мне семнадцать; он не мог без скорби думать об этой разнице в годах. Во-вторых, разделяя наше с тобой мнение, что я очень хороша собой, Луи с грустью сознавал, как сильно состарили его перенесенные страдания. Наконец, он считал, что я, как женщина, гораздо выше его, как мужчины. По этим трем причинам он утратил веру в себя; он страшился, что не сможет дать мне счастье, и понимал, что я соглашаюсь на брак с ним за неимением лучшего. «Если бы не мысль о монастыре, вы не вышли бы за меня», — робко сказал он мне однажды вечером. «Вы правы», — отвечала я очень серьезно. И тут, дорогая моя, я впервые испытала тот трепет, который вызывают в нашей душе мужчины. Когда две крупные слезы скатились по его щекам, у меня сжалось сердце. «Луи, — сказала я сочувственно, — в вашей власти превратить этот брак по расчету в брак по любви. Чтобы выполнить то, чего я от вас потребую, вам понадобится самоотвержение, превосходящее безропотную покорность влюбленного, которую вы мне так искренно обещали. Сможете ли вы возвыситься до дружбы, как понимаю ее я? Всякому суждено иметь всего одного настоящего друга, и я хочу стать для вас этим единственным другом. Узы дружбы связуют две родственные души, сплоченные, но свободные. Будьте же мне другом и сподвижником. Предоставьте мне полную независимость. Я не запрещаю вам пытаться пробудить в моей душе такую же сильную любовь к вам, какую, по вашим словам, вы питаете ко мне; но я не хочу становиться вашей женой по обязанности. Внушите мне желание отречься от моей свободы — и я тотчас поступлюсь ею. Таким образом, я не запрещаю вам вносить в нашу дружбу страстность, смущать ее голосом любви; что до меня, то я постараюсь, чтобы союз наш был безоблачным. Главное, позаботьтесь, чтобы о странном положении, в каком мы

окажемся, никто не знал. Я не хочу прослыть капризницей и недотрогой, ибо я отнюдь не такова; я считаю вас человеком порядочным и потому предлагаю вам сохранять видимость супружеской четы». Мое предложение, дорогая, привело его в восторг; никогда еще я не видела такого счастливого человека: глаза у него горели; пламя радости осушило слезы. «Учтите, — сказала я в заключение, — что в моей просьбе нет ничего странного. Я ставлю это условие лишь затем, что всей душой желаю заслужить ваше уважение. Будете ли вы счастливы, если я стану вашей единственно потому, что так велят закон и религия? Если, не испытывая никаких чувств и лишь безропотно подчиняясь вам, как советует моя почтенная матушка, я произведу на свет ребенка, буду ли я любить его так же сильно, как любила бы дитя взаимной страсти? Пусть супругам и не обязательно нравиться друг другу так, как нравятся любовники, согласитесь, сударь, что необходимо не вызывать друг у друга отвращения. Примите в соображение, что страсти переменчивы, а в деревне, где нам предстоит жить, это особенно опасно. Разве мудрые люди не могут уберечь себя загодя от несчастий, которые влечет за собой непостоянство?» Он был до крайности поражен моей рассудительностью и рассудочностью, но торжественно обещал выполнить мою просьбу; в награду я нежно пожала ему руку.

В конце недели нас обвенчали. Уверенная в своей свободе, я с легким сердцем предстала перед алтарем и от души повеселилась на свадьбе; я получила право быть самой собой и, возможно, показалась кому-нибудь «бесстыдницей», как говорили у нас в Блуа. Меня приняли за умудренную женщину, а я была просто-напросто молоденькой девушкой, которую восхищает необычное и многообещающее положение, созданное ее собственными руками. Дорогая, передо мной словно по мановению волшебной палочки предстали все ожидающие меня трудности, и я искренно пожелала сделать этого человека счастливым. В такой глуши, как у нас, супружество очень скоро становится невыносимым, если женщине не удастся взять бразды правления в свои руки. Она должна соединять в себе прелести любовницы с добродетелями супруги. Разве тень неуверенности не продлевает иллюзию блаженства и не тешит самолюбие, которое так сильно и так властно тревожит души всех людей? Супружеская любовь, как я ее понимаю, делает женщину источником надежды, наделяет ее верховной властью, неисчерпаемой силой и сердечной теплотой, от которой расцветает все вокруг. Чем независимее женщина, тем легче ей сохранить любовь и счастье в семье. Но я с самого начала потребовала, чтобы уговор наш оставался в глубочайшей тайне. Мужчина под каблуком у жены — предмет вполне заслуженных насмешек. Влияние женщины должно быть незаметным; в этом, как и во всем, тайна женщине на руку. Моя цель — поднять дух этого несчастного человека, вернуть блеск его природным достоинствам, но преобразование Луи должно казаться его собственной заслугой. Задача достаточно трудная, чтобы решение ее покрыло меня славой. Я почти горжусь тем, что у меня есть тайная цель жизни, план, выполнению которого я отдам все силы и о котором не будет знать никто, кроме тебя и Господа.

Сейчас я почти счастлива и, быть может, была бы счастлива вполне, если бы могла поделиться своим счастьем с любимым, но как все это объяснить ему? Мое счастье обидело бы его, и я принуждена таиться. Моя дорогая, как все много выстрадавшие мужчины, он по-женски чувствителен. Три месяца мы оставались в том же положении, что и до свадьбы. Я, как ты понимаешь, столкнулась за это время с массой мелочей, от которых любовь зависит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на мою холодность, Луи осмелел и стал откровеннее: лицо его изменило выражение и помолодело. Изящество, с каким я обставила дом, повлияло и на него. Сама того не замечая, я привыкла к нему, он стал моим вторым «я». Приглядевшись, я увидела, что у него одухотворенное лицо. Зверь по имени муж, как ты его называешь, исчез. В один прекрасный вечер передо мной предстал влюбленный, речи его трогали мое сердце, я с неизъяснимым блаженством опиралась на его руку. И тут, не стану лгать тебе, как не стала бы лгать Господу, которого невозможно обмануть, во мне проснулось любопытство, а замечательная твердость, с какой Луи держал свое слово, пожалуй, лишь подогрела его. Стыдясь самой себя, я пыталась сопротивляться.

Увы! тот, кто сопротивляется только из приличия, всегда договорится с самим собой. Никто, кроме нас, не знал и не узнает о том счастье, что мы подарили друг другу. Когда ты выйдешь замуж, ты поймешь мою сдержанность. Скажу только, что мы ни в чем не уступили самым нежным любовникам и отдали дань неожиданности, венчающей этот миг: неизведанное блаженство, которого алчет воображение, порыв, который многое извиняет, согласие, вырванное силой, сладострастные грезы, искони живущие в душе и покоряющие ее задолго до того, как им приходит черед воплотиться в жизнь, — мы познали все соблазны в их самом восхитительном обличье.

Признаюсь тебе, однако, что, как я ни счастлива, я по-прежнему отстаиваю свою независимость. Я не хочу вдаваться в подробности, и даже это полупризнание услышишь в целом свете ты одна. Даже принадлежа горячо любимому мужу, мы, я уверена, много теряем, если не скрываем наших чувств и нашего отношения к браку. Моя единственная отрада — отрада поистине божественная — состоит в том, что я возвратила жизнь этому бедняге, прежде чем подарить ее нашим детям. К Луи вернулись молодость, силы, веселость. Он стал другим человеком. Я сделалась его доброй феей, благодаря мне он и думать забыл о перенесенных несчастьях. Мои чары совершенно преобразили его, он стал прелестен. Уверенный в моей благосклонности, он проявляет весь свой ум, и я открываю в нем все новые и новые достоинства. Быть вечным источником счастья мужчины, который сознает это и питает к тебе не только любовь, но и признательность, — ах, дорогая, уверенность в этом вливает в душу больше силы, чем самая беззаветная любовь. Эта великая и неудержимая сила, неизменная и разнообразная, рождает в конце концов семью — прекрасное творение женщины, семью, вся благодатная красота которой открывается мне только сейчас. Старик барон перестал скупиться и охотно дарит мне все, чего я ни попрошу. Слуги сияют; блаженство Луи словно озарило своим светом весь наш дом, где я царю силой любви. Старик согласен со всеми моими нововведениями, он не захотел нарушать созданное мною великолепие и, чтобы доставить мне удовольствие, облачился в модное платье, а с платьем к нему пришли и современные манеры. Мы держим английских лошадей, купили двухместную карету, коляску и тильбюри. Слуги наши одеты просто, но изящно. Поэтому мы слышим мотами. Все мои мысли (я не шучу!) заняты тем, как вести хозяйство экономно, как сделать нашу жизнь как можно более приятной, потратив на это как можно меньше денег. Я уже доказала Луи, что, дабы приобрести репутацию человека, пекущегося о родном крае, необходимо прокладывать дороги. Я заставляю его пополнять образование. Надеюсь, что благодаря поддержке моих родных и родственников его матери он скоро войдет в генеральный совет департамента. Я прямо сказала ему, что честолюбива: пусть отец его по-прежнему управляет имением и умножает наше состояние, а Луи посвятит себя политической деятельности; я хочу, чтоб наши дети были счастливы и занимали высокие государственные посты; дабы не утратить моего уважения и привязанности, Луи должен на ближайших выборах баллотироваться в депутаты; мои родные поддержат его кандидатуру, его выберут, и мы получим приятную возможность проводить зиму в Париже. Ах, ангел мой, по пылу, с каким он принялся выполнять мои требования, я увидела, как он меня любит. А вчера из Марсея, куда он отлучился по делам на полдня, я получила от него письмо:

«Когда ты позволила мне любить тебя, моя милая Рене, я поверил в счастье, а сегодня оно кажется мне безмерным. Прошлое превратилось в смутное воспоминание, оттеняющее мое нынешнее блаженство. Когда ты рядом, любовь переполняет меня, и я не в силах выразить свои чувства; я могу только любоваться тобой, обожать тебя. Дар слова я обретаю лишь вдали от тебя. Ты прекрасна, и красота твоя так величава, так царственна, что очень долго останется неподвластна времени; я знаю, что супружескую любовь питает не столько красота, сколько чувства, а твои чувства благородны, но позволь сказать тебе, что твоя неизменная красота преисполняет мое сердце радостью, которая растет с каждым брошенным на тебя взглядом. В правильных, полных достоинства чертах твоего смуглого лица, отражающих возвышенную душу, столько чистоты! Сияние твоих черных глаз и крутой открытый лоб говорят о том, как совершенны твои добродетели, как надежна твоя дружба, как

стойко твое сердце, которое не сокрушат никакие испытания. Отличительная черта твоего характера — великодушие; разумеется, ты знаешь это и без меня, но я пишу тебе об этом, чтобы объяснить, как ценю я сокровище, которым обладаю. И через много лет, как и сегодня, самый крошечный знак твоего внимания будет для меня счастьем, ибо я сознаю все значение нашей клятвы, дарующей обоим полную свободу. Мы всегда будем нежны друг с другом только по доброй воле. Как ни тесны связующие нас узы, мы всегда останемся свободны. Я стремлюсь завоевать тебя и буду тем более горд победой, что знаю, как высоко ценишь ты свою независимость. С каждым твоим словом, вздохом, поступком, мыслью я буду все больше и больше восхищаться прелестью твоего тела и твоей души. В тебе есть нечто божественное, мудрое, чарующее, что питает разум, честь, наслаждение и надежду — поэтому я люблю тебя больше жизни. О радость моя, да не покинет меня ангел любви, да будет грядущее полным той неги, что преобразила все вокруг! Стань же скорее матерью, дай мне увидеть, как ты радуешься своей животворной силе, дай мне слышать, как своим пленительным голосом ты благословляешь любовь, которая воскресила мою душу, вернула мне способность действовать и мыслить, стала моей гордостью, — любовь, которая словно омыла меня чудесной живой водой! Да, я сделаю все, что ты захочешь, я буду печься о благе родного края и осеню тебя той славой, которой стану добиваться только ради тебя».

Дорогая Луиза, вот плоды моих трудов. Так он стал писать совсем недавно, через год дело пойдет еще лучше. Это первые порывы восторга. В будущем я надеюсь поселить в его душе ровное и прочное ощущение довольства, какое рождается в счастливом союзе двух верящих друг другу и хорошо знающих друг друга супругов, научившихся придавать жизни бесконечное разнообразие и находить прелесть в самых обыденных событиях.

Думаю, счастливым женам известен этот секрет, теперь им владею и я. Мой самодовольный муж, как видишь, считает себя любимым так, словно мы с ним и не женаты. Что до меня, то пока я испытываю к нему лишь ту неизбежную привязанность, которая дает нам силу примириться с обстоятельствами. Однако Луи мил, у него очень ровный характер, он с легкостью совершает поступки, которыми большинство мужчин хвастались бы без умолку. Одним словом, если я и не люблю его, то весьма расположена окружить его заботой.

Итак, отныне мои черные волосы, мои черные глаза, опущенные ресницами, которые, по твоим словам, открываются и закрываются, как жалюзи, мой царственный облик и моя особа облечены верховной властью. Подождем лет десять, моя дорогая, и посмотрим, не будем ли мы обе жить радостно и счастливо в твоём Париже, откуда я буду время от времени увозить тебя в мой чудесный Прованс. О Луиза! Подумай о нашем общем будущем! Не совершай безумств, которыми ты грозишься. Я вышла за старообразного юношу, а ты подыщи себе какого-нибудь моложавого старца из палаты пэров. Это будет правильнее всего.

XIV

От герцога Сориа к барону де Макюмеру Мадрид.

Дорогой брат, не для того вы меня сделали герцогом Сориа, чтобы я поступал не так, как подобает герцогу Сориа. Я не могу быть счастлив, зная, что вы скитаетесь на чужбине, не имея возможности скрасить свою жизнь теми благами, которые можно купить за деньги. Мы с Марией не поженимся до тех пор, пока вы не примете сумму, которую вам передаст Уррака. Эти два миллиона — ваши собственные сбережения и сбережения Марии. Преклонив колена перед алтарем, мы оба молили Господа — и как пылко! — дать тебе счастье. О брат мой! Желания наши непременно исполнятся. Небо пошлет тебе любовь, которой ты алчешь и которая утешит тебя в изгнании. Мария со слезами прочла твое письмо; она восхищена

тобой. Что до меня, я принял твою жертву не ради себя, а ради нашего рода. Король оправдал твои ожидания. Ах, ты с таким презрением бросил ему в лицо все, что имел, с каким швыряют мясо тиграм, и, чтобы отомстить за тебя, я рад был бы открыть ему, насколько превосходишь ты его своим величием. Себе, дорогой и любимый брат, я взял только одно — Марию, мое счастье. Поэтому я вечно пребуду перед тобою тем, чем пребудет творение перед Творцом. В моей жизни и в жизни Марии наступит день, такой же радостный, как день нашей свадьбы, — день, когда мы узнаем, что нашлась женщина, оценившая твое сердце, полюбившая тебя той любовью, какой ты заслуживаешь и о какой мечтаешь. Не забывай, что если ты жив нами, то мы живы тобой. Пиши нам в Рим, на адрес нунция, это совершенно безопасно. Французский посол в Риме наверняка согласится передавать их в государственную канцелярию монсеньеру Бембони, которого наш легат обещал предупредить. Это единственный надежный путь. Прощай, дорогой изгнанник, разоренный долгами. Ты не можешь разделить наше счастье, но ты вправе гордиться им. Да услышит Господь наши молитвы о тебе. Фернандо.

XV

От Луизы де Шолье к госпоже де л'Эсторад Март.

Ах, мой ангел, оказывается, замужество делает нас рассудительными?.. Должно быть, твое милое личико пожелтело, пока ты излагала все эти ужасные соображения о жизни человеческой и о наших обязанностях. И ты надеешься своими дальновидными планами склонить меня к замужеству? Увы! Вот куда завели тебя наши чересчур ученые мечтания! Мы вышли из монастыря во всем блеске невинности и во всеоружии разума, но эти стрелы чистейшего умозрения обратились против тебя! Не знаю я, что ты сущий ангел, я сказала бы, что в твоих расчетах видна развращенность. Итак, милая моя, в интересах своей деревенской жизни ты отмеряешь наслаждения порциями, ты толкуешь о любви, как о рубке леса! О, по мне лучше погибнуть в вихре страстей, чем жить под гнетом сухой арифметики. Мы с тобой были барышнями весьма образованными, потому что много размышляли о немногих вещах, но, дитя мое, философия без любви или в союзе с притворной любовью — ужаснейшее лицемерие. По-моему, даже совершенный глупец рано или поздно заметил бы, что в твоих розах прячется мудрая сова, а это малоприятное открытие может остудить самую пылкую страсть. Ты сама творишь свою судьбу, вместо того чтобы быть ее игрушкой. Странная у нас с тобой участь: твой удел — много философии и мало любви, мой — много любви и мало философии. Жан-Жакова Юлия, которую я почитала профессором, в сравнении с тобой — робкая ученица. О, воплощенная добродетель, все ли ты предусмотрела? Увы! я смеюсь над тобой, а быть может, права именно ты. Ты в один день принесла в жертву свою молодость и стала до времени скупой. Твой Луи, конечно же, будет счастлив. Если он тебя любит, а я в этом не сомневаюсь, он никогда не поймет, что ради семьи ты идешь на то, на что куртизанки идут ради денег, а они ведь наверняка приносят мужчинам счастье — если судить по безумным тратам, которые те так охотно совершают. Конечно, твой проникательный супруг будет от тебя без ума, но надолго ли он сохранит благодарность женщине, соорудившей себе из притворства некий нравственный корсет, который так же необходим ее душе, как корсет на китовом усе — телу? Для меня, дорогая, любовь — первооснова всех добродетелей, принесенных на алтарь божества! Как всякая первооснова, любовь не знает расчетов, она — бесконечность нашей души. Разве не захотела ты оправдать в собственных глазах ужасное положение девушки, выданной за человека, которого она может лишь уважать? Долг — вот твой закон и твоя мера, но разве поступать по обязанности — не значит исповедовать мораль общества, отринувшего Бога? Разве не должна всякая женщина подчиняться в первую очередь законам любви и чувства? Ты стала мужчиной, а твой Луи, того и гляди, превратится в женщину! Ах, дорогая, я все время размышляю над тем, что ты мне написала. Теперь я

ясно вижу, что никогда монастырю не заменить девушкам мать. Умоляю тебя, мой благородный черноглазый ангел, моя чистая и гордая, строгая и рассудительная подруга, подумай о том, как больно задело меня твое письмо! Я утешилась лишь при мысли, что сейчас, когда я горюю, любовь наверняка уже разрушила все построения разума. А я, хотя и не стану рассуждать да раздумывать, поступлю, быть может, еще хуже; страсть — стихия, имеющая свою логику, не менее жесткую, чем твоя.

Понедельник.

Вчера был восхитительно ясный вечер. Перед сном я подошла к окну полюбоваться звездами. Они были похожи на серебряные гвоздики на синем куполе неба. В ночной тишине я услышала чье-то дыхание и в зыбком свете звезд разглядела своего испанца, который, словно белка, притаился в ветвях одного из деревьев на боковой аллее бульвара и, без сомнения, не сводил глаз с моих окон. В первую секунду у меня подкосились ноги, и я отпрянула от окна; я вся дрожала от страха и восторга. Я была и подавлена, и счастлива. Ни один из этих остроумных французов, добывающихся моей руки, не догадался прятаться по ночам в ветвях вяза, рискуя угодить в руки полиции. Должно быть, мой испанец тут не в первый раз. Прежде он давал мне уроки, теперь мой черед преподать ему урок. Если бы он знал все, что я передумала по поводу его очевидного уродства! Ведь и я, Рене, порой пускаюсь в философствования. Положительно, в любви к красивому мужчине есть что-то гадкое. Разве она не состоит на три четверти из чувственности, меж тем как должна быть божественной? Оправившись от испуга, я вытянула шею, чтобы снова увидеть его, и очень вовремя! Он приставил к губам тростниковую трубочку, подул в нее — и ко мне в спальню влетело письмо, искусно обернутое вокруг свинцового грузила. Боже мой! Не подумает ли он, что я нарочно растворила окно? — сказала я себе; однако закрыть его теперь означало бы признаться в соучастии. Я поступила умнее — подошла к окну, словно не слышала звука упавшего письма и не видела его, и громко произнесла: «Гриффит, посмотрите, какие звезды!» Старая дева спала как убитая. Мавр, услышав мои слова, тенью скользнул вниз. Должно быть, он, как и я, умирал от страха; я не услышала шума шагов — наверное, он стоял под вязом. Спустя добрых четверть часа, в течение которых я, упиваясь синею неба, испила до дна чашу любопытства, я затворила окно и, забравшись в постель, развернула тончайшую бумагу так бережно, как неаполитанские библиофилы — древнюю рукопись. Бумага жгла мне пальцы. Какую ужасную власть имеет надо мной этот человек! — подумала я и поднесла письмо к свече, чтобы сжечь его, не читая... Одна мысль задержала мою руку. Что же такое пишет он в своем письме, если передает мне его тайно? И все же, дорогая моя, я сожгла письмо: любая девушка на моем месте прочла бы его единым духом, но мне, Арманде Луизе Марии де Шолье, это не пристало. Назавтра в Итальянской опере он был на своем обычном месте, но, как ни искушен в политике этот бывший глава конституционного правительства, он вряд ли смог заметить на моем лице хотя бы малейшее волнение: я вела себя так, словно ничего не видела и не получала никакого письма. Я была довольна собой, а он весьма печален. Бедняга, у них в Испании любовь сплошь и рядом входит в дом через окно! В антракте он прогуливался по коридорам. Первый секретарь испанского посольства указал мне на него и поведал о его благородном поступке. Он, герцог Сориа, должен был взять в жены одну из самых богатых невест Испании, юную принцессу Марию Эредиа, чье состояние облегчило бы ему тяготы изгнания; но, хотя отцы предназначали молодых людей друг другу с колыбели, Мария полюбила младшего брата моего героя, и Фелипе отказался от нее, позволив королю Испании разорить себя. «Столь великодушный человек не мог поступить иначе», — сказала я молодому дипломату. «Так вы с ним знакомы?» — простодушно воскликнул он. Моя матушка усмехнулась. «Что с ним будет? Ведь он приговорен к смерти?» — спросила я. «В Испании его ждет смерть, но он имеет право жить на Сардинии». «А, так, значит, в Испании есть не только ветряные мельницы, но и могилы», — сказала я, постаравшись обратить все в шутку. «В Испании есть все, даже испанцы старого закала», — ответила моя матушка. «Сардинский король поначалу упрямылся, но все же выдал барону Макюмеру паспорт, — продолжал дипломат, — как бы там ни было, теперь он

сардинский подданный, на Сардинии у него великолепные угодья, он имеет право разрешать крупные и мелкие дела, уголовные и гражданские, и даже выносить смертные приговоры. В Сассари у него настоящий дворец. Если бы Фердинанд VII умер, Макюмер смог бы, вероятно, пойти по дипломатической части и стать сардинским послом. Хотя он и молод, но...» — «Ах, так он молод!» — «Да, мадемуазель, но это не мешает ему быть одним из самых достойных людей в Испании!» Слушая секретаря, я лорнировала зал, стараясь не выдать, как занимает меня его рассказ; но, между нами говоря, я была в отчаянии оттого, что сожгла письмо. Какими словами говорит о любви такой человек? Ведь чувство, которое он питает ко мне, — это любовь. Знать, что тебя любят, обожают, что в этой зале, где собрался весь цвет парижского общества, есть человек, безгранично преданный тебе, и никто об этом не подозревает! О, Рене! только теперь я нашла вкус в парижской жизни с ее балами и празднествами. Все предстало передо мной в подлинном свете. Когда любишь, нуждаешься в людях — хотя бы для того, чтобы принести их в жертву любимому. Я почувствовала себя другим, счастливым существом. Самолюбие, тщеславие, гордость — все во мне ликовало. Один Бог знает, какие взгляды бросала я в публику. «Что это с вами, голубушка?» — шепнула мне с улыбкой герцогиня. Да, моя хитрая матушка посрамила меня, разгадав мой тайный восторг. Одна фраза умной женщины дала мне больше, чем весь мой опыт светской жизни, а ведь я изучаю свет уже целый год. Увы! через месяц в Итальянской опере кончится сезон. Как жить без этой пленительной музыки, если сердце переполнено любовью?

Дорогая моя, вернувшись домой, я с решительностью истинной Шолье распахнула окно, чтобы полюбоваться ливнем. О, если бы мужчины знали, какое неотразимое действие производят на нас героические поступки, они совершали бы подвиг за подвигом; самые трусливые преисполнились бы отваги. От всего, что я узнала о моем испанце, я была как в лихорадке. Я не сомневалась, что он на своем посту и бросит мне новое послание. Так и оказалось. На сей раз я не сожгла, а прочла его. Итак, вот первое любовное письмо, которое получила я: каждому свое, госпожа разумница.

«Луиза, я люблю вас не за вашу божественную красоту, я люблю вас не за ваш обширный ум, не за благородство ваших чувств, не за бесконечную прелесть, которую вы сообщаете всему, что вас окружает, не за вашу надменность, не за царственное презрение к людям не вашего круга, которое, впрочем, не лишает вас доброты, ибо вы милосердны, как ангел; я люблю вас, Луиза, за то, что ваше гордое величие не помешало вам снизойти до несчастного изгнанника, за то, что одним движением, одним взглядом вы даровали утешение человеку, который настолько ниже вас, что вправе надеяться только на вашу жалость и великодушие. Вы — единственная женщина в мире, которая смягчила ради меня свою суровость, и поскольку ваш благодетельный взгляд обратился на меня, когда я был жалкой песчинкой, меж тем как, будучи одним из могущественнейших людей в своем отечестве, я ни разу не встретил ничьего ласкового взора, я хочу, Луиза, чтобы вы знали: вы дороги мне, я люблю вас бескорыстно, беззаветно, так, как вы и не мечтали. Знайте же, божество, вознесенное мною превыше всех светил небесных, что есть на свете потомок сарацинов, чья жизнь принадлежит вам, что вы можете распоряжаться им, как своим рабом, что он почтет за честь исполнить любое ваше приказание. Я готов служить вам вечно единственно ради удовольствия служить вам, ради одного-единственного вашего взгляда, ради руки, которую вы однажды протянули учителю-испанцу. Теперь, Луиза, у вас есть слуга, — слуга и не более того. Нет, я не смею надеяться, что вы меня когда-нибудь полюбите; но, быть может, вы не отвергнете моей преданности. С того самого утра, когда вы улыбнулись мне, в великодушии своем угадав страдания моего сердца, одинокого и обманутого, я боготворю вас: отныне вы владычица моей жизни, царица моих мыслей, божество моего сердца, вы для меня свет, прекраснейший цветок, целебный воздух, ток моей крови, сияние моих грез. Одна мысль омрачала мое блаженство: вы не знаете о моей безграничной преданности, не знаете, что у вас есть верный раб, слепо вам повинующийся и готовый беспрекословно исполнять вашу волю, казначей — ибо все, что у меня есть, принадлежит вам, наперсник, которому вы можете доверить любой секрет, старая нянька, которой вы можете дать любое поручение, отец, у

которого вы всегда можете искать защиты, друг, брат — ведь вам всего этого не хватает, я знаю. Я разгадал тайну вашего одиночества! Я осмелился писать вам лишь потому, что жаждал открыть вам ваше могущество. Примите все это, Луиза, и вы возродите меня к жизни, ибо единственное, чему я могу посвятить жизнь, это служение вам. Согласие ваше ничем вас не обременит: мне не нужно ничего, кроме радости знать, что дни мои принадлежат вам. Не говорите, что вы меня никогда не полюбите: я сам знаю, что так суждено; я буду любить вас издали, безнадежно, втайне от всех. Я хотел бы знать, согласны ли вы считать меня вашим слугой, и долго ломал голову, придумывая, как бы вы могли сообщить мне свое решение, не уронив своего достоинства; ведь я уже давно всецело принадлежу вам, хотя вы об этом и не подозреваете. Так вот, если вы согласны, будьте вечером в Итальянской опере с белой и красной камелиями — этот букет подобен крови человека, посвятившего себя служению пленительной невинности. Согласитесь — и в любую минуту, завтра и десять лет спустя, малейшее ваше желание будет тотчас с восторгом исполнено вашим слугой Фелипе Энаресом».

P.S. Дорогая моя, согласись, что знатные сеньоры умеют любить! Какая мощь африканского льва! какой внутренний жар! какая вера! какая искренность! какое величие души в смирении! Я почувствовала свою ничтожность и ошеломленно спрашивала себя: как быть?.. Великому человеку свойственно опрокидывать обыкновенные расчеты. Он прекрасен и трогателен, простосердечен и возвышен. Одно его письмо стоит сотни писем Ловласа[59] или Сен-Пре. О! вот истинная любовь без всяких «если»: либо она есть, либо ее нет, и когда она есть, она проявляется во всей своей безмерности. Вот и настал конец моему кокетству. Отвергнуть или принять! Или — или, и нет никакой возможности уклониться от ответа. Приговор обжалованию не подлежит. Это уже не Париж, это Испания или Восток: абенсераг падает на колени перед католичкой Евой[60] и отдает ей свой ятаган, коня и жизнь. Неужели я отвергну этого потомка мавров? Почаще перечитывай это испано-сарацинское письмо, моя Рене, и ты увидишь, как любовь одерживает верх над всеми хитросплетениями твоей философии. Послушай, Рене, твое письмо огорчило меня, оно насквозь проникнуто буржуазным духом. К чему лукавить? Разве не навеки стала я хозяйкой этого льва, который вместо рычания испускает смиренные благоговейные вздохи? О! как он, должно быть, рычал в своем логове на улице Ильрен-Бертен! Я знаю, где он живет, у меня есть его карточка: Ф., барон де Макюмер. Он лишил меня возможности ответить иначе, мне остается только бросить ему в лицо две камелии. Какой адской мудростью обладает чистая, настоящая, простодушная любовь! Все самое важное для женщины она свела к одному несложному движению руки. О Азия! я прочла «Тысячу и одну ночь», эта идея в ее духе: два цветка — и все сказано. Мы заменяем четырнадцать томов «Клариссы Гарлоу» одним букетом. Я вьюсь вокруг этого письма как мотылек вокруг свечи. Брать или не брать с собой камелии? Да или нет, убить или подарить жизнь? В конце концов какой-то голос крикнул мне: «Испытай его!» И я его испытаю!

XVI

От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад Март.

Я вся в белом, с белыми камелиями в волосах и одной белой камелией в руке; у матушки в руках букет красных камелий, если захочу, я возьму у нее один цветок. Пусть-ка он заплатит за свою красную камелию несколькими минутами сомнений; решение я приму на месте. Я очень хороша! Гриффит попросила дозволения полюбоваться мною. Торжественность этого вечера и драма моего тайного согласия покрыли мое лицо румянцем: теперь у меня на каждой щеке по две камелии: красная на фоне белой.

Час ночи.

Все любовались мною, но только он один умел боготворить меня. Увидев у меня в руках одну белую камелию, он опустил голову, а когда я взяла у матушки красную, сделался блее белой. Приехать в театр с двумя цветками я могла и случайно, но, взяв другой цветок у него на глазах, я дала ответ. Я призналась в любви! Давали «Ромео и Джульетту»[61]; ты никогда не слышала дуэта двух влюбленных из этой оперы — тебе не понять счастья двух новообращенных, которые слушают это неземное выражение нежности. Ложась в постель, я слышала гулкие шаги в боковой аллее. О! теперь, мой ангел, сердце мое в огне, голова пылает. Что он делает? О чем он думает? Есть ли у него хоть одна мысль, не связанная со мной? Правда ли, что он мой верный раб? Как это проверить? Не считает ли он, что в моем согласии есть что-то предосудительное, что я нуждаюсь в благодарности или награде? Уподобившись героиням «Кира»[62] и «Астреи»[63], я мысленно вникаю во все тонкости чувства и устраиваю разбирательства, достойные судов любви[64]. Известно ли ему, что в любви ничтожнейшие поступки женщин суть плод долгих раздумий, внутренней борьбы, проигранных сражений? О чем он думает в этот миг? Как приказать ему писать мне по вечерам обо всем, что происходит с ним в течение дня? Он мой раб, мне нужно чем-то занять его — что ж! я завалю его работой.

Воскресенье. Утро.

Я всю ночь не спала, заснула только под утро. Сейчас полдень. Я продиктовала Гриффит следующее письмо:

«Господину барону де Макюмеру.

Господин барон, я пишу вам по поручению мадемуазель де Шолье. Она желает получить находящуюся у вас копию письма своей подруги, снятую ею собственноручно. Примите уверения в совершенном почтении и проч. Гриффит».

Дорогая моя, Гриффит отправилась на улицу Ильрен-Бертен и передала эту записку моему рабу; он вложил мою программу, мокрую от слез, в конверт и вернул мне. Он подчинился. Ах, дорогая, видно, он очень дорожил этим листком! Другой отказался бы вернуть его, написав письмо, полное лести, но сарацин исполнил обещание — он подчинился. Я тронута до слез.

XVII

От мадемуазель де Шолье к госпоже де л'Эсторад 2 апреля.

Вчера был чудесный день; я оделась как девушка, которая знает, что любима и хочет нравиться. По моей просьбе отец подарил мне самую красивую упряжку во всем Париже: пару серых в яблоках лошадей и наимоднейшую коляску. Я обновила свой экипаж. Под зонтиком, подбитым белым шелком, я была хороша, как цветок. На Елисейских полях я увидела моего абенсерага — он ехал мне навстречу верхом на коне изумительной красоты; мужчины, которые нынче в большинстве своем превратились в барышников, останавливались посмотреть на него, полюбоваться им. Энарес поклонился мне, я дружески и ободряюще кивнула ему, он придержал коня, и я успела сказать: «Не посетуйте, господин барон, что я потребовала обратно мое письмо, вам оно ни к чему... Вы уже превзошли эту программу, — добавила я тихо. — Все смотрят на вашего коня». — «Управляющий моим сардинским имением прислал мне его из гордости — этот арабский скакун родился в моем захолустье».

Сегодня утром, дорогая моя, Энарес выехал на каурой английской лошади, тоже очень красивой, но не привлекающей такого внимания: легкой насмешки, прозвучавшей в моих словах, оказалось достаточно. Он поклонился мне, и я едва заметно кивнула в ответ. Герцог Ангулемский пожелал купить лошадь Макюмера. Мой раб понял, что, привлекая к себе внимание ротозеев, выходит из желанной мне безвестности. Мужчина должен выделяться собственными достоинствами, а не достоинствами своей лошади или чем-нибудь подобным. Иметь чересчур красивую лошадь, по-моему, так же смешно, как носить булавку для галстука с крупным брильянтом. Я была в восторге от его промашки, хотя им, возможно, двигало самолюбие, простительное бедному изгнаннику. Это ребячество мне по душе. О рассудительная моя старушка! Радует ли тебя моя любовь так же сильно, как сильно печалит меня твоя мрачная философия? Дорогой Филипп II в юбке[65], нравится ли тебе кататься в моей коляске? Видишь ли ты бархатные глаза этого великого человека, моего раба, гордого своим рабским положением, раба, который всегда носит теперь в бутоньерке красную камелию, меж тем как я не выпускаю из рук белую, видишь ли ты, как он бросает на меня быстрый взгляд, смиренный и проникновенный? Какими зоркими делает нас любовь! Я стала понимать Париж! Теперь мне кажется, что все здесь одухотворено. Да, любовь здесь красивее, величественнее, привлекательнее, чем в любом другом месте. Я доподлинно узнала, что никогда не смогла бы взволновать и заставить страдать глупца, никогда не смогла бы иметь над ним никакой власти. Только высшие натуры понимают нас, и только на них мы можем иметь влияние. О, бедная моя подруга, прости, я забыла о нашем деле л'Эстораде; но разве ты не поклялась сделать из него гения? О! я понимаю: ты пестуешь его, чтобы когда-нибудь он смог тебя понять. До свидания, я немножко не в себе и потому кончаю писать.

XVIII

От госпожи де л'Эсторад к Луизе де Шолье Апрель.

Милая моя, ангел мой, вернее сказать, демон, ты ненароком опечалила и, не будь мы одной душой, я бы сказала: ранила меня; но не случается ли людям ранить самих себя? Как хорошо видно, что ты еще ни разу не задумывалась о том, что значит слово «неразрывные» применительно к узам, связующим женщину с мужчиной. Я не хочу спорить ни с философами, ни с законодателями, пусть они спорят между собой, но, дорогая, сделав брак нерушимым и придав ему форму незыблемую и одинаковую для всех, они добились того, что каждый союз совершенно не похож на другие, как не похож один человек на другого; каждая супружеская чета живет по своим внутренним законам: законы деревенского брака, где два существа проводят бок о бок всю жизнь, отличны от законов брака городского, где жизнь скрашивается кое-какими развлечениями, что же касается Парижа, где жизнь бьет ключом, то здесь супругам живется не так, как в провинциальном городе, где жизнь не такая бурная. Условия супружества зависят от места, но еще больше они зависят от характеров. Жене гения остается лишь слепо повиноваться мужу, меж тем как жене глупца, чувствующей себя умнее мужа, приходится брать бразды правления в свои руки, иначе могут произойти величайшие несчастья. Быть может, в конце концов, именно размышления и разум приводят к тому, что зовется испорченностью. Разве не зовем мы так расчетливость в сфере чувств? Если страсть рассудочна, значит, она испорченна; прекрасна страсть только тогда, когда она нечаянна и возвышенные ее порывы чужды всякого эгоизма. Но, дорогая моя, рано или поздно и ты скажешь себе: да, притворство так же необходимо женщине, как корсет, если считать притворством молчание женщины, имеющей смелость молчать, или расчет, от которого зависит будущее. Всякая замужняя женщина на собственном горьком опыте познает законы общества, которые во многом расходятся с законами природы. Рано выйдя замуж, можно успеть народить дюжину детей, но это означало бы совершить дюжину преступлений,

увеличить еще на дюжину число несчастных на земле. Разве вправе мы ввергнуть прелестных крошек в нищету и отчаяние? Меж тем двое детей в семье — это два счастья, два благих деяния, два создания, рожденные в согласии с современными правами и установлениями. Законы природы и законы общества — враги, а мы — арена, на которой они сражаются. Ужели ты назовешь испорченностью мудрость супруги, которая печется о том, чтобы не разорить семью? А где один расчет, там и тысяча — для сердца разница невелика. Когда-нибудь и Вы, очаровательная баронесса де Макюмер, став счастливой и гордой женой человека, который Вас обожает, отдадите дань этому жестокому расчету; впрочем, этот великодушный человек скорее всего пощадит Вас и возьмет его на себя. Как видишь, дорогая моя сумасбродка, мы изучили свод законов в его отношении к супружеской любви. Пойми, что мы в ответе только перед собой и перед Богом за то, какие средства употребляем, чтобы упрочить счастье в нашем доме; пойми, что расчет, сулящий покой и блаженство, лучше, чем безрассудная любовь, несущая с собой печаль, ссоры и разлад. Я на своем горьком опыте узнала, что такое роль супруги и матери семейства. Да, милый мой ангел, чтобы достойно исполнять наш долг, мы вынуждены идти на возвышенный обман. Ты обвиняешь меня в притворстве за то, что я открываю себя Луи не вдруг, а постепенно, но разве не оттого во многих семьях царит разлад, что супруги знают друг друга слишком хорошо? Я хочу ради его же собственного блага приискать своему мужу множество занятий, которые отвлекали бы его от меня, а разве такова страсть по расчету? Привязанность безгранична, любовь же имеет свой конец, поэтому мудро распределить ее на всю жизнь — цель каждой уважающей себя женщины. Можешь думать обо мне плохо, но я настаиваю на своих принципах и считаю их очень благородными и великодушными. Добродетель, душенька, есть принцип, который в разной обстановке проявляется по-разному: в Провансе добродетель не та, что в Константинополе, в Лондоне — не та, что в Париже, и тем не менее все это — добродетель. Нити, образующие ткань всякой человеческой жизни, переплетаются самым причудливым образом, но, глядя с некоторой высоты, невозможно отличить один узор от другого. Пожелай я сделать Луи несчастным и порвать с ним, мне следовало во всем идти у него на поводу — только и всего. Мне не выпало счастье, как тебе, встретить мужчину высокоодаренного, но, быть может, мне удастся сделать моего мужа таковым. Назначаю тебе лет через пять свидание в Париже. Вот увидишь, ты не поверишь своим глазам и скажешь мне, что я ошиблась и господин де л'Эсторад от рождения замечательный человек. Что же касается пылких чувств и волнений, которые я испытываю только благодаря тебе, что касается ночных встреч на балконе при свете звезд, что касается обожания и обожествления нас, женщин, то я поняла, что все это — не для меня. Ты блистаешь в жизни, и свет твой льется далеко окрест, мой же свет ограничен пределами Крампады. И ты упрекаешь меня за предосторожности, которые нужны, чтобы превратить хрупкое, тайное, скудное счастье в блаженство прочное, изобильное и неизъяснимое! Я надеялась, что обрела в положении жены прелесть любовницы, а ты заставила меня едва ли не устыдиться самой себя. Кто из нас прав и кто неправ? Быть может, обе мы и правы и неправы, быть может, общество заставляет нас слишком дорого платить за наши кружева, титулы и детей! У меня тоже есть красные камелии — они у меня на губах, в улыбках, обращенных к этим двум существам — отцу и сыну, — которым я предана, для которых я раба и владычица разом. Но, дорогая, твои последние письма показали мне все, что я потеряла! Благодаря тебе я увидела, скольким жертвует замужняя женщина. Не буду говорить тебе, сколько слез я пролила, узнав из твоих писем о тех дивных диких степях, где ты резвишься, — однако сожаление еще не раскаяние, хотя и несколько сродни ему. Ты сказала мне: замужество делает нас рассудительными. Увы, это неверно: я сполна ощутила это, когда со слезами на глазах следила за тем, как ты кружишься в любовном вихре. Но тут отец принес мне книгу одного из самых глубоких наших писателей, одного из наследников Боссюэ, одного из тех жестоких политиков, чьи слова так повлияли на нынешние нравы. Пока ты читала «Коринну», я читала Бональда[66] — вот и весь секрет моей рассудительности, я поняла, что священная основа всего — крепкая семья. Если верить Бональду, отец твой прав. До свидания, дорогая моя фантазия, подруга моя, моя страсть!

От Луизы де Шолье к госпоже де л'Эсторад

Ты просто прелесть, моя Рене, и теперь я согласна с тобой, что обманывать — честно; ну как, ты довольна? К тому же мужчины, которые нас любят, в нашей власти, и мы вправе оставить их дураками или произвести в гении, но, между нами говоря, чаще мы оставляем их дураками. Ты намереваешься сделать своего избранника гением и сохранить тайну этого превращения в своей душе — и то и другое превосходно! Ах! ты настоящая мученица, и если бы рая не существовало, для тебя это было бы крайне досадно. Ты хочешь разжечь в нем честолюбие, не утратив его любви! Но, дитя мое, ведь вполне достаточно сохранить его любовь. В какой мере расчет есть добродетель, а добродетель есть расчет, а? Впрочем, не будем спорить, Бональд нас рассудит. Мы добродетельны и хотим остаться таковыми, но сейчас, я полагаю, несмотря на все твои очаровательные плутни, ты ведешь себя лучше меня. Да, я ужасная лицемерка: я люблю Фелипе и имею низость скрывать от него свое чувство. Как бы мне хотелось, чтобы он спрыгнул со своего дерева на стену, окружающую наш сад, а со стены перебрался на мой балкон! — меж тем, если бы он так поступил, я облила бы его презрением. Видишь, какие я тебе делаю страшные признания. Что же останавливает меня? Что за таинственная сила мешает мне сказать дорогому мне человеку, какое счастье для меня его чистая, беззаветная, великая, тайная, безмерная любовь? Госпожа де Мирбель[67] пишет мой портрет — это будет мой ему подарок. Меня с каждым днем все больше поражает, какую значительность придает любовь жизни. Как важен становится каждый час, поступок, каждая мелочь! И как восхитительно перепутываются в настоящем прошлое и будущее! Живешь в трех временах одновременно. Интересно, буду ли я чувствовать все это, познав счастье? О, ответь мне, скажи, что такое счастье — успокаивает оно или возбуждает? Я в смертельной тревоге, я не знаю, как быть; какая-то сила влечет меня к нему наперекор разуму и приличиям. Словом, я понимаю твое любопытство относительно Луи — ты довольна? Счастье, которое испытывает Фелипе от своего добровольного рабства, его любовь на расстоянии и его покорность бесят меня так же, как раздражало меня его глубокое почтение, когда он был всего лишь моим учителем. При встрече с ним мне хочется крикнуть: «Глупец, если ты сгораешь от любви, любуйся мной, как картиной, что случилось бы, если бы ты узнал меня по-настоящему?»

Ах, Рене, ты ведь сжигаешь мои письма, не правда ли? А я обещаю сжечь твои. Если бы чужие глаза прочли наши мысли, которые переливаются из сердца в сердце, я приказала бы Фелипе выцарапать эти глаза, а для пущей надежности прикончить их обладателя.

Понедельник.

О, Рене, как узнать сердце мужчины? Отец собирается представить мне твоего любимого господина Бональда, и, коль скоро он так учен, я спрошу об этом у него. Хорошо Господу; он может читать в сердцах людей. По-прежнему ли Фелипе считает меня ангелом — вот в чем вопрос.

Если когда-нибудь по его жестам, взгляду, тону я пойму, что он уже не испытывает ко мне того почтения, которое выказывал, когда был моим учителем, у меня достанет сил забыть о нем! Откуда вдруг эти громкие слова, эта решительность — спросишь ты. Дело вот в чем. Мой отец, который держит себя со мной как верный рыцарь, заказал, как я тебе уже говорила, госпоже де Мирбель мой миниатюрный портрет. Мне удалось заполучить с него копию, довольно точную; я отдала ее отцу, а оригинал послала вчера Фелипе, сопроводив свой подарок короткой запиской:

«Дон Фелипе, на вашу безграничную преданность я отвечаю слепым доверием: время покажет, не переоценила ли я мужское благородство».

Награда велика, она похожа на обещание, и — как это ни ужасно — на призыв, но — и это еще ужаснее — я сделала это нарочно, я хотела, чтобы в словах моих прозвучали и обещание, и призыв, лишь бы они не казались прямым предложением. Если в ответе он напишет «моя Луиза», или просто «Луиза» — он погиб.

Вторник.

Нет! он не погиб. Этот конституционный министр знает толк в любви. Вот его письмо[68]:

«Все мгновения, которые я проводил вдали от вас, я был занят вами, не замечал ничего вокруг и все мысли мои были прикованы к вашему образу, который никогда не вырисовывался достаточно четко в сумраке вашего дворца — этого прибежища снов, где свет излучаете вы одна. Отныне я могу любоваться этой восхитительной миниатюрой на слоновой кости, ставшей моим талисманом, — ибо когда я смотрю на ваш портрет, он для меня оживает. Я медлил послать вам письмо оттого, что не мог даже на мгновение расстаться с вашим изображением, которому я высказал все, о чем должен молчать. Да, вчера, запершись наедине с вами, я впервые в жизни испытал полное, совершенное, безграничное счастье. Если бы вы знали, как высоко я вознес вас, — так же высоко, как деву Марию и Господа, — вы поняли бы, в каком смятении я провел ночь, но, говоря вам о своих чувствах, я боялся оскорбить вас и наперед просил у вас прощения, ибо для меня нет ничего страшнее, чем увидеть, что ваш взгляд утратил ангельскую доброту, которая дает мне силы жить. О владычица моей жизни и моей души, если бы вы снизошли до меня и подарили мне тысячную долю той любви, которую я питаю к вам!

«Если бы», без конца повторяющееся в моей мольбе, надрывало мне душу. Я метался между верой и неверием, между жизнью и смертью, между тьмой и светом. Преступник меньше трепещет, ожидая приговора, чем трепетал я, признаваясь вам в моей дерзости. Улыбка, которая играет на ваших губах, смиряла бури, вызванные страхом рассердить вас. С тех пор как я живу на свете, никто не улыбался мне, даже моя мать. Прекрасная девушка, которую прочили мне в жены, отвергла меня и полюбила моего брата. Мои политические предприятия окончились крахом. В глазах короля я всегда читал одну лишь жажду мести; вражда, разъединившая нас с юных лет, так велика, что он счел величайшим оскорблением поступок кортесов, отдавших власть в мои руки. Какую бы силу вы ни вливали в мою душу, сомнение все же могло в нее закрасться. К тому же я не переоцениваю себя: я знаю, что наружность моя непривлекательна, и понимаю, как трудно разглядеть мое сердце за такой оболочкой. Когда я встретил вас, я уже знал, что для меня разделенное чувство — только мечта. Поэтому, полюбив вас, я понял, что искупить свою дерзость могу лишь безграничной преданностью. Но пока я созерцал ваш портрет, вглядываясь в вашу улыбку, полную божественных обещаний, надежда, которую прежде я не позволял себе питать, забрезжила в моей душе. Однако я страшусь, что радость моя может оскорбить вас, и мрак сомнений постоянно затмевает свет надежды. Нет, вы еще не можете любить меня, я чувствую это, но, быть может, когда вы испытаете силу, постоянство и глубину моей неисчерпаемой любви, в сердце вашем найдется для нее уголок. Если желание мое для вас оскорбительно, скажите мне об этом без гнева, и я вернусь к прежней роли, но если бы вы попытались полюбить меня, не сообщайте об этом без тщательных предосторожностей тому, для кого самое великое счастье в жизни — служение вам».

Дорогая моя, я читала эти строки, и мне казалось, будто я вижу перед собой его лицо, бледное, как в тот вечер, когда я взяла в руки камелию в знак того, что я принимаю его преданность. Я почувствовала, что его смиренные речи — не просто цветы красноречия, и ощутила в душе сильное волнение... это было дыхание счастья.

Погода отвратительная, я не могла поехать в Булонский лес, не вызвав подозрений, ибо даже матушка, которая часто выезжает в дождь, осталась дома.

Среда, вечер.

Сегодня в Опере я видела его. Дорогая, он стал другим человеком: сардинский посол привел его в нашу ложу и представил нам. Когда он прочел в моих глазах, что его дерзость нимало меня не рассердила, он совсем потерялся, не знал, куда девать руки, и назвал маркизу д'Эспар[69] «мадемуазель». Глаза его горели ярче люстр. В конце концов он ушел, словно боясь допустить серьезную оплошность. «Барон де Макюмер влюблен», — сказала госпожа де Мофриньез[70] матушке. «Это тем более странно, что он бывший министр», — заметила матушка. У меня достало сил посмотреть на госпожу д'Эспар, госпожу де Мофриньез и матушку с любопытством человека, который слышит разговор иноземцев и силится угадать, о чем идет речь, но душа моя была полна до краев дивной радостью. Восторг — вот что я чувствовала, и никаким другим словом этого не передать. Фелипе так любит меня, что я нахожу его достойным любви. Я воистину источник его жизни и держу в руках нить, которая направляет его мысли. Наконец, если быть до конца откровенной, мне очень хочется, чтобы он преодолел все преграды и пришел ко мне просить моей руки у меня самой, мне хочется узнать, смогу ли я одним взглядом смирить его неистовую страсть.

Ах, дорогая, я оторвалась от письма и вся дрожу. С улицы донесся легкий шум. Я поднялась и увидела в окно, как он взбирается на стену ограды, рискуя упасть и разбиться. Я подошла к окну и сделала ему один-единственный знак — он спрыгнул со стены высотой десять футов и отбежал подальше, чтобы я могла видеть, что он цел и невредим. Эта предупредительность в момент, когда он был, наверно, еще оглушен падением, так растрогала меня, что я, сама не знаю отчего, заплакала. Бедный урод! зачем он приходил? что хотел мне сказать?

Я не смею доверить свои чувства бумаге и ложусь спать счастливая, перебирая в мыслях все, что сказали бы мы с тобой друг другу, если бы ты была рядом. Прощай, милая моя молчунья. У меня нет времени бранить тебя за то, что ты мне не пишешь, но я уже больше месяца не получала от тебя вестей. Быть может, ты теперь счастлива? Не утратила ли ты часом свободу воли, которой так гордилась и которая чуть было не покинула меня сегодня вечером?

ХХ

От Рене де л'Эсторад к Луизе де Шолье Май

Если мир живет любовью, то почему же суровые философы изгоняют ее из брака? Почему Общество считает необходимым приносить Женщину в жертву Семье, неизбежно порождая тем самым в лоне супружества глухую борьбу, которую само Общество почитает такой опасной, что наделяет мужчин законной властью над нами, ибо подозревает, что при желании мы можем восстать и добиться своего либо силой любви, либо мощью затаенной ненависти. Я вижу в современном браке две противоборствующие силы, которые законодателю следовало бы примирить; когда же они примирятся? — вот о чем спрашивала я себя, читая твои письма. О, дорогая, каждое из них до основания разрушает здание, построенное великим писателем из Авейрона[71], — здание, где я нашла было тихий и покойный приют. Законы писаны стариками, и женщины это видят; старики весьма разумно порешили, что супружеская любовь, лишённая страсти, ничуть нас не унижает и что женщина должна отдаваться без любви тому мужчине, который назвал ее своей на законном основании. Думая только о семье, законодатели взяли за образец природу, пекущуюся единственно о сохранении вида. Раньше я была человеком, а теперь я вещь! Много раз я глотала слезы в

одиночестве, вдали от всех, мечтая увидеть в ответ улыбку утешения. Почему у нас с тобой такая разная судьба? Тебе выпала на долю любовь, в которой нет ничего недозволенного и которая возвышает твою душу. Тебе добродетелью станет наслаждение. Страдать ты будешь только по собственной вине. Если ты выйдешь замуж за Фелипе, долг станет для тебя самым отрадным, самым могучим чувством. Будущее многое разъяснит нам, и я жду его с тревогой и любопытством.

Ты любишь, тебя обожают. О, дорогая, предайся всецело этой прекрасной поэме, о которой мы столько грезили. Женская красота в тебе так тонка и одухотворенна. Бог создал тебя, чтобы ты пленяла и нравилась; положишься на него. Да, мой ангел, храни свою любовь в большой тайне и подвергай Фелипе хитроумным испытаниям, которые мы изобретали, чтобы узнать, достоин ли нас воображаемый возлюбленный. Прежде всего постарайся понять, любишь ли ты его, и уж потом — любит ли он тебя, ибо нет ничего обманчивее иллюзий, которые рождают в нашей душе любопытство, желание, веру в счастье. Дорогая, из нас двоих ты одна осталась свободной — умоляю тебя, не вступай в опасную сделку, именуемую замужеством, не получив задатка: возврата не будет. Порой одно движение, одно слово, один взгляд в разговоре наедине, когда души сбрасывают покровы светского лицемерия, освещает бездну. У тебя достанет благородства и уверенности в себе, чтобы смело пойти по тропам, где другие заплутались бы. Ты представить себе не можешь, с какой тревогой я слежу за тобой. Хотя ты далеко, я вижу тебя, разделяю твои чувства. Поэтому пиши мне чаще, описывай все в подробностях! Благодаря твоим письмам в мое тихое, спокойное существование, унылое, как дорога в пасмурный день, врываются пылкие страсти. Моя жизнь, дорогая, — нескончаемая борьба с собой, но не будем пока о ней говорить; оставим эту тему до другого раза. Я то даю себе волю, то с мрачным упорством сдерживаю себя, я перехожу от тоски к надежде. Быть может, я ждала от жизни большего счастья, чем мы заслуживаем. В молодости нам свойственно желать, чтобы идеал совпадал с действительностью! Мои размышления — а размышляю я теперь в одиночестве, сидя у подножия скалы в моем парке, — привели меня к заключению, что любовь в браке — случайность, и основать на ней всеобщий закон невозможно. Мой авейронский философ прав, рассматривая семью как единственную основу общества и подчиняя ей женщину, как это было испокон веков. Разрешением этой великой, едва ли не трагической для нас, женщин, задачи становится наш первый ребенок. Поэтому я хотела бы стать матерью, хотя бы ради того, чтобы дать пищу моей ненасытной душе. Луи по-прежнему мил и добр ко мне, любовь его деятельна, а моя нежность отвлеченна; он счастлив, он один срывает цветы, не заботясь о том, каких усилий стоит земле их взрастить. Счастливый эгоизм! Чего бы мне это ни стоило, я продлеваю его иллюзии — так, наверное, мать разбивается в лепешку, чтобы принести радость своему ребенку. Блаженство Луи так велико, что ослепляет его и бросает свой отблеск даже на меня. Я обманываю его улыбкой или взглядом, полными довольства, которое происходит от уверенности, что я подарила ему счастье. Поэтому наедине я ласково зову его «дитя мое». Все эти жертвы, о которых будут знать только ты, я и Бог, должны принести плод. Я сделала огромную ставку на материнство и так много жду от него, что боюсь остаться внакладе: ведь оно должно утолить мою жажду, возвысить мое сердце, вознаградить меня за все жертвы безграничными радостями. Господи, только бы мне не обмануться! От этого зависит мое будущее, и — страшно подумать — будущее моей добродетели,

XXI

От Луизы де Шолье к Рене де л'Эсторад Июнь.

Дорогая замужняя козочка, твое письмо пришло кстати и оправдало в моих глазах дерзкий

поступок, о котором я мечтаю день и ночь. У меня прямо какая-то мучительная жажда неизведанного или, если угодно, запретного; видно, во мне происходит борьба между законами света и законами природы. Оттого ли, что голос природы заглушает в моей душе голос общества, или по какой-либо другой причине, но я ловлю себя на том, что пытаюсь примирить эти могущественные силы. Словом, не буду темнить: мне захотелось поговорить с Фелипе наедине, ночью, под липами в дальнем конце нашего сада. Несомненно, такое желание могло появиться только у особы, которая заслуживает имени бедовой девчонки, как в шутку называет меня матушка, а вслед за ней и отец. Однако, по-моему, проступок этот полон осмотрительности и благоразумия. Я хочу вознаградить Фелипе за все ночи, проведенные у меня под окнами, и заодно узнать, как он посмотрит на мою выходку и как будет себя вести: если мое сумасбродство будет встречено благоговейно, я отдам ему свою руку, если же он будет менее почтителен и робок, чем когда кланяется мне на Елисейских полях, он меня больше не увидит. Что же до света, то такое свидание менее опасно для моей репутации, чем улыбка в гостиной госпожи де Мофриньез или старой маркизы де Босеан, где на нас теперь устремлено множество глаз — ведь один Бог знает, какие взгляды преследуют девушку, заподозренную в симпатии к такому чудовищу, как Макюмер. О, если бы ты знала, как я волновалась, обдумывая свой план, как старалась все предусмотреть. Жалко, что тебя не было рядом, мы поболтали бы всласть, блуждая в лабиринтах неизвестности и заранее переживая все хорошее и дурное, что несет с собой первое свидание в ночной тиши, под старыми липами дома Шолье, мерцающими в лунном свете. Я трепетала в одиночестве, повторяя: «Где ты, моя Рене?» Таким образом, письмо твое подлило масла в огонь и последние мои сомнения рассеялись. Я подошла к окну и бросила своему изумленному поклоннику точный рисунок ключа от дальней калитки и записку:

«Довольно вам творить безумства. Сломав себе шею, вы скомпрометируете особу, которую, по вашим словам, любите. Достойны ли вы нового доказательства уважения и заслуживаете ли разговора с вашей повелительницей в час, когда липы в конце сада не освещены луной?»

Вчера в час ночи, когда Гриффит уже собиралась ложиться спать, я сказала ей: «Возьмите шаль и проводите меня, моя милая, я хочу спуститься в сад; помните, что это должно остаться в тайне!» Она безропотно пошла за мной следом. Сколько волнений, дорогая Рене! Я пришла раньше его и ждала, испытывая приятное стеснение в груди; но вот наконец я увидела, как он тенью проскользнул в калитку. Уже в саду я сказала Гриффит: «Не удивляйтесь, нас ждет барон де Макюмер, потому что я и взяла вас с собой». Она ничего не ответила.

— Что вам угодно? — спросил Фелипе дрогнувшим голосом: заслышав шуршанье наших платьев в ночной тиши и легкий шум наших шагов по песку, он совсем потерял голову.

— Мне угодно сказать вам то, чего я не могла написать, — ответила я.

Гриффит отошла на несколько шагов. Стояла теплая, налитая благоуханьем цветов ночь; внезапно я почувствовала пьянящее блаженство от сознания, что я с ним почти наедине в густой тени лип, особенно темной по сравнению с остальными деревьями, сверкавшими тем ярче, что белая стена нашего дома отражала лунный свет. Этот контраст казался мне символом нашей тайной любви, которой предстоит выйти на свет Божий, завершившись браком. Когда мы оба насладились этой новой и удивительной для нас обоих обстановкой, ко мне вернулся дар речи.

— Хотя я не боюсь клеветы, я не хочу, чтобы вы взбирались ни на это дерево, — я указала на вяз, — ни на эту стену. Вы не школяр, а я не пансионерка: будем же достойны наших чувств. Если бы вы разбились насмерть, спрыгнув со стены, я умерла бы обесчещенной... — Я взглянула на него: он побледнел. — А если бы кто-нибудь заметил вас, то на меня или на мою матушку пало бы подозрение.

— Простите меня, — сказал он упавшим голосом.

— Гуляйте по бульвару, я буду слышать ваши шаги, и когда захочу вас видеть, отворю окно; но я не хочу подвергать вас и себя опасности без серьезной причины. Своей неосторожностью вы принуждаете меня совершать ответную неосторожность и ронять свое достоинство в ваших глазах, к чему это?

Слезы в его глазах были мне лучшим ответом.

— Вы, должно быть, считаете, — сказала я с улыбкой, — что мой поступок — верх легкомыслия...

Он промолчал и только после того, как мы сделали несколько кругов под деревьями, заговорил.

— Вы, верно, считаете меня глупцом, а я так упоен счастьем, что потерял и силы и рассудок, но знайте, по крайней мере, что любой ваш поступок для меня свят уже потому, что совершили его вы. Я поклоняюсь вам, как Богу. К тому же вы пришли не одна: здесь мисс Гриффит.

— Она здесь для других, но не для нас, Фелипе, — горячо возразила я.

Дорогая, этот человек понял меня.

— Я знаю, — продолжал он, бросив на меня взгляд, полный смирения, — что, не будь ее с нами, ничего не изменилось бы: ведь когда нас не видят люди, нас видит Бог, и наше собственное уважение так же необходимо нам, как и уважение света.

— Благодарю вас Фелипе, — сказала я, протянув ему руку жестом, который надо было видеть. — Всякая женщина — а я прошу вас видеть во мне женщину — может полюбить мужчину, который ее понимает. Может, не больше, — продолжала я, прикладывая палец к губам. — Я не хочу внушать вам слишком большие надежды. Я отдам свое сердце только тому мужчине, который сумеет читать в нем и хорошо его узнает. Наши чувства, не будучи совершенно одинаковыми, должны быть одинаково сильными и одинаково возвышенными. Я не хочу превозносить себя, ибо в том, что я считаю своими достоинствами, вероятно, немало недостатков, но, не будь их у меня, я пришла бы в отчаяние.

— Вы позволили мне не только служить вам, но и любить вас, — сказал он, трепеща и не сводя с меня глаз, — я получил больше, чем смел желать.

— Но, — горячо воскликнула я, — по-моему, ваш удел счастливее моего; я не прочь переменить свою участь, с вашей помощью.

— Благодарю вас, — ответил он, — я знаю, как пристало себя вести верному поклоннику. Я должен доказать вам, что достоин вас, и вы вправе испытывать меня сколь угодно долго. Если же я обману ваши надежды, вы можете — о Господи! — прогнать меня.

— Я знаю, что вы меня любите, — ответила я. — До сих пор, — я безжалостно подчеркнула эти слова, — я отдавала предпочтение вам, потому-то я и позвала вас сегодня.

Тут мы вновь несколько раз прошлись взад-вперед, не прерывая беседы, и должна тебе признаться, что мой осмелевший испанец говорил со мной не страстно, но нежно, выказав при этом подлинное, идущее от сердца красноречие; он сумел изъяснить мне свои чувства с помощью восхитительного сравнения с любовью к Богу. Мелодичный голос его был подобен соловьиному пению; сообщая его тонким мыслям особую красоту, он проникал мне в самую душу. Говорил он негромко, но слова лились торопливо и возбужденно, ибо сердце было переполнено.

— Довольно, — сказала я, — иначе я пробуду здесь дольше, чем следует.

И я жестом велела ему удалиться.

— Вот вы и невеста, — сказала Гриффит.

— В Англии — пожалуй, но не во Франции, — небрежно бросила я. — Я хочу выйти замуж по любви и не обмануться — только и всего.

Как видишь, дорогая, раз любовь не шла ко мне, я пошла к ней, как Магомет к горе.

Пятница.

Я снова виделась со своим рабом; он стал пуглив, вид у него таинственный, он исполнен благоговения — все это мне по душе; он, кажется, свято уверовал в мое величие и могущество. Но ничто ни в его взгляде, ни в манерах не даст светским вещуньям разглядеть безграничную любовь, ведомую мне одной. При этом, дорогая, я не побеждена, не сломлена, не покорена, напротив, я покоряю, властвую, побеждаю... Словом, я в здравом уме и твердой памяти. Ах, мне, пожалуй, хотелось бы вновь пережить страх перед заморожившим меня учителем-буржуа, которого я считала недостойным своей любви. Любовь бывает разная: та, что повелевает, и та, что повинуется; они не похожи друг на друга и порождают самые несхожие страсти. Быть может, для полноты счастья женщина должна испытать и ту и другую любовь? Могут ли эти две страсти слиться воедино? Способен ли мужчина, который нас любит, пробудить в нас ответное чувство? Станет ли когда-нибудь Фелипе моим повелителем, буду ли я трепетать перед ним, как он трепещет передо мной? Эти вопросы приводят меня в содрогание. Он совершенно слеп! На его месте я нашла бы, что мадемуазель де Шолье вела себя под липами как бессердечная кокетка, чопорная и расчетливая. Нет, это не любовь, это игра с огнем. Фелипе мне по-прежнему нравится, но теперь я обрела спокойствие и непринужденность. Больше нет преград! — какие ужасные слова. Все во мне утихает, остывает, я боюсь углубляться в себя. Напрасно он сдерживал свою страсть — ведь это позволяет мне сохранять самолюбие. Словом, мой проступок не принес мне радости. Да, дорогая, как ни приятно мне вспоминать эти полчаса, проведенные под липами, удовольствию моему не сравниться с волнением, которое я испытывала, решая: пойти или не пойти? писать ему или не писать? Ужели такова судьба всех наших удовольствий? Быть может, предвкушать их приятнее, нежели упиваться ими? Быть может, надежда сладостнее обладания? Быть может, богачи бедны? Не переоценили ли мы с тобою чувства, разукрасив их сверх меры в своем воображении? Бывают мгновения, когда от этой мысли у меня стынет кровь в жилах. Знаешь что? Мне хочется прийти в сад без Гриффит. Но остановлюсь ли я на этом? У воображения нет границ, а радости имеют свой конец. Скажи мне, милый доктор в корсете, как разрешить это противоречие?

XXII[72]

От Луизы к Фелипе

Я вами недовольна. Если вы не проливали слез над «Береникой»[73] Расина, если вы не видите в ней печальнейшей из трагедий, нам никогда не понять друг друга: в таком случае расстанемся, не будем больше видеться, забудьте меня, — ибо если ваш ответ не удовлетворит меня, я вас забуду, вы станете для меня господином бароном де Макюмером, то есть никем, и я буду жить так, словно вас никогда не существовало. Вчера вы явились к госпоже д'Эспар с самодовольным видом, который мне чрезвычайно не понравился. Вы, казалось, ничуть не сомневались в том, что любимы. Говоря короче, ваша развязность меня

ужаснула, вы были вовсе не похожи на того преданного раба, которым называли себя в первом письме. Вы нимало не поглощены своим чувством, как пристало человеку любящему, вы блещете остроумием. Истинно верующие люди так себя не ведут — они всегда робеют перед лицом божества. Если я для вас не высшее существо, не источник жизни, значит, я только женщина, а по мне — это даже ниже женщины. Вы пробудили во мне недоверие, Фелипе, и голос его так громок, что заглушает голос нежности; когда я вспоминаю наше прошлое, я вижу в нем причины для недоверия. Знайте, господин конституционный министр всяких там Испаний, я много размышляла о жалком положении своего пола. Я не побоялась взять в свои девичьи руки светильник разума. Послушайте же, что сказала мне моя юная опытность. О чем бы ни шла речь, двоедушию, вероломству, обману не удастся избежать суда, и суд этот выносит свой приговор; исключение составляет лишь любовь: влюбленному приходится быть одновременно жертвой, обвинителем, адвокатом, судьей и палачом, ибо здесь самые коварные измены, самые ужасные преступления остаются нераскрытыми, они совершаются наедине, без свидетелей, и жертвы, конечно, не хотят огласки. Следовательно, у любви свои законы и свои способы мстить: свет здесь не властен. Так вот, я решила быть безжалостной; в сердечных делах важна каждая мелочь. Вчера у вас был вид человека, который уверен, что его любят. Вы были бы не правы, не имея этой уверенности, но вы сделали бы преступником в моих глазах, если бы лишились простодушной прелести, которую придавали вам прежде сомнения и тревоги любви. Вот моя воля: вы не должны быть ни робким, ни самодовольным, вы не должны дрожать от страха утратить мое расположение, ибо это было бы оскорбительно, но не должны и почивать на лаврах. Вы ни в коем случае не должны чувствовать себя свободнее, чем я. Если вам неизвестно, сколь мучительна для души одна лишь тень сомнения, то берегитесь, как бы я не просветила вас на этот счет. Одним-единственным взглядом я открыла вам душу, и вы смогли читать в ней. К вам обращены чувства самые чистые, какие когда-либо рождались в девичьей душе. Рассуждения, раздумья, о которых я вам говорила, обогатили только ум, но оскорбленное сердце спросит у него совета, и тогда, поверьте, юная девушка выкажет всезнание и всемогущество ангела. Клянусь вам, Фелипе, пусть даже ваша любовь ко мне столь велика, как вы меня заверяете, но если вы дадите мне повод заподозрить, что вы уже не так боитесь потерять меня, что вы уже не так покорны, почтительны, терпеливы, как прежде, если я когда-нибудь замечу, что та первая и прекрасная любовь, которая перелилась из вашей души в мою, уменьшилась хоть на малую толику, я ничего не скажу вам, я не стану досаждать вам письмами — ни полными собственного достоинства, гордости и гнева, ни слезными и просительными, ни просто ворчливыми, как это, — я ничего не скажу, Фелипе, я стану тихо угасать, но перед смертью я навлеку на вас самое страшное бесчестье, я самым постыдным образом опозорю ту, кого вы любили, и обреку ваше сердце на вечные муки, ибо стану погибшим созданием в глазах людей и буду навеки проклята за гробом.

Не заставляйте же меня ревновать к другой Луизе — счастливой и боготворимой, к Луизе, чья душа расцветала в сиянии безоблачной любви и являла собой, как сказал Данте[74]:

Senza brama, sicura ricchezza[75].

Знайте, что я перерыла весь «Ад» в поисках самой мучительной пытки, самой страшной нравственной кары, на которую я обреку вас в ожидании вечного возмездия Божьего.

Итак, вчерашним своим поведением вы вонзили мне в сердце холодное и безжалостное лезвие подозрения. Вы понимаете? Я усомнилась в вас и так страдала, что хочу рассеять сомнения. Если оковы рабства стали вам в тягость, сбросьте их, я нимало не рассержусь. Я и так знаю, что вы человек остроумный, берегите же все сокровища вашей души для меня, пусть глаза ваши погаснут для света; не гонитесь за лестью, похвалами и комплиментами.

Приходите ко мне удрученный ненавистью, измученный наветами и презрением, говорите мне, что женщины вас не понимают, проходят мимо, не замечая вас, что ни одна из них не могла бы вас полюбить; тогда вы узнаете, сколько нежности таится в сердце и в любви Луизы. Наши сокровища должны быть похоронены так глубоко в нашей душе, чтобы целый мир мог попирать их ногами, даже не подозревая об их существовании. Будь вы красавцем, я, верно, никогда не обратила бы на вас ни малейшего внимания и не открыла бы в вас множества свойств, достойных любви; хотя о причинах зарождения любви мы знаем так же мало, как о том, почему распускаются под солнцем цветы и зреют фрукты, все же одна из этих причин мне известна, и она пленяет меня. Для меня одной ваши благородные черты обладают своим особенным характером, особенным языком, особенным выражением. В целом мире я одна властна преобразить вас, сделать очаровательнейшим из мужчин, и потому я не желаю терять власть над вашим умом: перед посторонними ум ваш должен быть так же нем, как немые глаза, уста и черты. Только я одна вправе зажигать светоч вашего ума и воспалять ваши взоры. Оставайтесь таким же мрачным и холодным, таким же угрюмым и надменным испанским грандом, каким были прежде. Вы были разрушенной крепостью, в развалины которой никто не отваживался вступить, вас созерцали издали, и вдруг вам вздумалось облегчить всем кому попало доступ к вам, так что вы, того и гляди, превратитесь в любезного парижанина. Вы уже забыли мою программу? Ваша веселость слишком ясно говорила, что вы любите. Если бы я не остановила вас взглядом, вы, чего доброго, дали бы понять самой пронизательной, самой насмешливой, самой остроумной гостиней Парижа, что ваши шутки вдохновлены Армандой Луизой Марией де Шолье. Я слишком высоко ценю вас и считаю не способным примешивать к любви малейшую дипломатическую хитрость, но, не будь вы со мной простодушны, как дитя, участь ваша была бы жалка; впрочем, несмотря на эту первую провинность, вы по-прежнему вызываете глубокое восхищение Луизы де Шолье.

XXIII

От Фелипе к Луизе[76]

Господь видит наши грехи, но он видит и наше раскаяние; вы правы, дорогая моя повелительница. Я почувствовал, что прогневил вас, но не мог постигнуть причину вашего недовольства; вы объяснили мне ее и дали новый повод обожать вас. Ваша ревность, ревность Бога Израиля, преисполнила меня счастьем. Нет ничего святее и священнее ревности. О мой прекрасный ангел-хранитель, ревность — бдительный страж, она для любви то же, что болезнь для человека, — предостережение. Ревнуйте же вашего слугу, Луиза: чем сильнее будете вы его бить, тем радостнее этот покорный, смиренный и несчастный раб будет лизать палку, удары которой говорят ему о том, что вы им дорожите. Но увы, дорогая, коль скоро вы не заметили, как старался я побороть свою робость, обуздать те чувства, которые вы сочли слабыми, кто же воздаст мне за мои старания — разве что Господь? Да, я совершил над собой насилие, чтобы вы увидели меня таким, каким я был до того, как полюбил вас. В Мадриде меня считали довольно приятным собеседником, и я вознамерился показать вам, чего я стою. Если это тщеславие, то вы сурово покарали меня за него. Ваш последний взгляд привел меня в трепет, какого я не испытывал никогда, даже когда французские войска подошли к Кадису и мой король одной лицемерной фразой осудил меня на смерть. Я искал причину вашего недовольства, но не мог ее найти и приходил в отчаяние от разладицы наших душ — ведь мне необходимо исполнять вашу волю, мыслить вашими мыслями, видеть вашими глазами, радоваться вашей радостью и чувствовать вашу боль так же, как я чувствую холод или жару. Для меня преступным и ужасным было то, что сердца наши впервые перестали биться созвучно, и жизнь моя сразу утратила ту прелесть, которую обрела благодаря вам. Прогневить ее! — твердил я, как безумный. Моя благородная и прекрасная Луиза, если бы что-либо могло увеличить мою беззаветную преданность вам и

мою неколебимую веру в вашу святость, так это ваш урок, который озарил мое сердце новым светом. Вы объяснили мне мои собственные чувства, растолковали то, что смутно брезжило в моем сознании. О! если вы так караете, то что же вы называете наградой? Вы позволили мне быть вашим слугой — это для меня высшее счастье. Благодаря вам жизнь моя обрела смысл: я всецело посвятил себя вам, я недаром дышу, сила моя находит себе применение, и я готов на все, даже на то, чтобы страдать за вас. Я уже говорил вам и повторяю: я всегда останусь таким, как в тот день, когда просил вас видеть во мне смиренного и скромного слугу! О, вы грозите мне, что опозорите и погубите себя, — но случись это, моя любовь лишь возросла бы от этих добровольных несчастий! Я врачевал бы ваши раны, заживлял их, я умолил бы Господа поверить, что вы невинны и что в проступках ваших виноваты другие... Разве не говорил я вам, что готов стать вам отцом, матерью, сестрой, братом, что я для вас прежде всего — семья, все или ничего, как вам будет угодно. Разве не вы сами заключили в сердце возлюбленного столько сердец? Поэтому простите мне, если порой я чувствую себя не столько отцом и братом, сколько влюбленным, и помните, что за спиной влюбленного всегда стоят брат и отец. Если бы вы могли читать в моем сердце и знали, что я испытываю, когда вы, прекрасная и сияющая, спокойная и восхитительная, проезжаете в карете по Елисейским полям или сидите в своей ложе в театре!.. Ах! если бы вы знали, сколь чужда самодовольства гордость, преисполняющая меня, когда я слышу похвалы вашему лицу и стану, если бы вы знали, как я люблю прохожих, которые восхищаются вами! Когда вы ненароком одаряете меня приветным взглядом, я возвращаюсь домой смиренный и гордый, словно получив благословение Господне, я радуюсь, и блаженство мое оставляет в моей душе долгий светящийся след; он сверкает в кольцах дыма от моей папиросы и лишней раз подтверждает мне, что кровь, которая струится в моих жилах, вся до капли принадлежит вам. Неужели вы не знаете, как я вас люблю? Полюбовавшись вами в свете, я возвращаюсь в свой кабинет, и стоит мне нажать пружину, скрывающую от чужих глаз ваш портрет, как он является моему взору, затмевая всю сарацинскую роскошь убранства, и я погружаюсь в нескончаемое созерцание: перед моим внутренним взором проплывают целые поэмы — поэмы счастья. С высоты небес я постигаю течение той жизни, о которой смею мечтать! Случалось ли вам когда-нибудь в ночной тиши или в вихре бала услышать вашим прелестным ушком мой голос? Знаете ли вы о тысячах молитв, обращенных к вам? Созерцая в молчании ваш портрет, я в конце концов постиг источник вашей прелести: он заключается в гармонии ваших пленительных черт и совершенств вашей души; глядя на ваше изображение, я сочиняю по-испански сонеты о согласии прекрасной наружности и прекрасной души, — сонеты, которых вы не знаете, ибо стихи мои настолько ниже вдохновившего их предмета, что я не решаюсь вам их послать. Сердце мое всецело поглощено вами, и я не могу прожить ни минуты, не думая о вас; если бы вы перестали одушевлять мое существование, страдания мои были бы безмерны. Теперь вы понимаете, Луиза, как мне больно, что я ненароком вызвал ваше недовольство и не смог угадать его причину? Сердце мое обдало холодом, ибо оно ощутило, что уже не бьется созвучно с вашим. Не в силах понять этого разлада, я в конце концов решил, что вы меня разлюбили; с бесконечной грустью, но все еще счастливый, вернулся я к обязанностям слуги, когда пришло ваше письмо и преисполнило меня радости. О! всегда браните меня так!

Упавший ребенок, вставая, говорит матери: «Прости!»; он скрывает от нее, что ушибся. Да, он просит прощенья за то, что огорчил ее. Я как этот ребенок: я не переменялся и с прежней рабской покорностью вручаю вам ключ от моего сердца, но, дорогая Луиза, теперь я уже не совершу ошибки. Постарайтесь, чтобы цепь, приковывающая меня к вам, всегда была туго натянута; вы держите ее конец в своих руках, и малейшее ваше движение будет передавать даже самые ничтожные ваши желания вашему верному рабу. Фелипе.

От Луизы де Шолье к Рене де л'Эсторад Октябрь 1824 г.

Дорогая подруга, твоя судьба решилась в два месяца: ты стала матерью своему бедному страдальцу-мужу, поэтому не знаешь ужасных подробностей драмы, разыгрывающейся в глубине сердец и именуемой любовью, драмы, мгновенно оборачивающейся трагедией, где один нечаянный взгляд, один необдуманый ответ несет с собой смерть. Я придумала для Фелипе страшное, но решающее испытание — оно будет последним. Я захотела узнать, любима ли я несмотря ни на что[77], как прекрасно и достойно говорят роялисты (а почему бы и не католики?). Всю ночь мы гуляли с ним под липами в нашем саду, и в душе его не закралось ни тени сомнения. Назавтра он любил меня еще сильнее и видел во мне столь же чистую, величавую и целомудренную деву, что и накануне: он и в мыслях не имел воспользоваться этой прогулкой. Ах! он настоящий испанец, настоящий абенсераг. Он взобрался на стену, окружающую сад, чтобы поцеловать мне руку, которую я протянула ему в темноте с балкона; он чуть не разбился — много ли найдется молодых людей, способных на такое? Что ж, христиане ведь терпят страшные муки, чтобы попасть на небо. Третьего дня под вечер я отвела в сторону будущего посла при испанском дворе, моего почтенного батюшку, и с улыбкой сказала ему: «Сударь, в узком кругу друзей стало известно, что вы выдаете вашу милую Арманду за племянника одного посла: посол давно желал этого союза и долго просил ее руки; в брачном контракте он обязуется оставить племяннику все свое огромное состояние, а покуда дарит новобрачным сто тысяч ливров ренты и признает за невестой восемьдесят тысяч франков приданого. Дочь ваша плачет, но не смеет послушаться родителей. Злые языки утверждают, что под слезами ее прячется корыстолюбивая и тщеславная душа. Вечером мы едем в оперу: нам заказаны места в дворянской ложе, там будет и барон де Макюмер». — «Выходит, дело не сладилось?» — ответил мне отец с улыбкой: он решил, что я и вправду мечу в посланницы. «Вы думаете, я ветрена, как Фигаро, а я постоянна, как Кларисса Гарлоу[78]! — воскликнула я, бросив на отца презрительно-насмешливый взгляд. — Когда вы увидите, что я сняла перчатку с правой руки, опровергните этот дерзкий слух и дайте понять, что он для вас оскорбителен». — «Я не могу не тревожиться за твою судьбу: у Жанны д'Арк было неженское сердце, а у тебя неженский ум. Ты будешь счастлива, никого не любя, но лишь позволяя себя любить!» На сей раз я разразилась смехом. «Что с тобой, маленькая кокетка?» — спросил отец. «Меня беспокоит судьба Франции... — и, видя что он не понял, я добавила: — Если она будет решаться в Мадриде!» — «Вы не можете себе представить, до чего переменялась за год эта монастырка: она дерзит своему отцу», — сказал он герцогине. «Арманда вообще очень дерзкая и бесстрашная особа», — заметила матушка, взглянув на меня. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила я. «Вы не боитесь даже ночной сырости, а ведь она ведет к ревматизму», — ответила матушка, бросив на меня новый взгляд. «Зато по утрам так тепло!» — воскликнула я. Герцогиня опустила глаза. «Ей пора замуж, — сказал отец. — Надеюсь, это произойдет до моего отъезда». — «Да, если вам угодно», — просто ответила я.

Два часа спустя мы с матушкой, герцогиня де Мофриньез и госпожа д'Эспар красовались, словно четыре розы, в первом ряду ложи. Я села сбоку, вполоборота к залу, что позволяло мне наблюдать, не привлекая ничьего внимания в этой просторной ложе, находящейся в одной из двух ниш в глубине зала, между колоннами. Появился Макюмер; он встал поодаль и приставил к глазам бинокль, чтобы всласть насмотреться на меня. В первом антракте в ложе появился женоподобный молодой человек, которого я зову Королем повес, граф Анри де Марсе. В глазах у него была эпиграмма, на губах улыбка, на лице веселье. Он поклонился матушке, госпоже д'Эспар, герцогине де Мофриньез, графу д'Эгриньону и господину де Каналису, а потом обратился ко мне: «Вероятно, я не первый поздравляю вас с событием, которое скоро сделает вас предметом всеобщей зависти». — «А, вы имеете в виду свадьбу, — отвечала я. — Не мне, вчерашней монастырке, объяснять вам, что союзы, о которых много говорят, никогда не заключаются». Господин де Марсе наклонился к уху Макюмера, и по движению его губ я прекрасно поняла, что он говорит Фелипе: «Барон, вы, чего доброго, влюблены в маленькую кокетку, которая играла вами; но тут речь идет о браке, а не о

страсти, поэтому не мешает выяснить, что происходит». Макюмер метнул на услужливого сплетника такой взгляд, который, по-моему, стоит целой поэмы, и ответил что-то вроде: «Я не люблю никакой маленькой кокетки!» с таким видом, что я пришла в полное восхищение и, увидев отца, тут же сняла перчатку. Фелипе не выказал ни малейшего страха ни малейшего подозрения. Он полностью оправдал все мои ожидания: он верит мне одной, свет с его выдумками ему безразличен. Абенсераг даже бровью не повел, его голубая кровь не бросилась ему в лицо. Оба молодых графа вышли. Тогда я со смехом сказала Макюмеру: «Господин де Марсе сказал вам эпиграмму на мой счет?» — «Даже не эпиграмму, — ответил он, — а эпиталаму». — «Ваши греческие слова для меня китайская грамота», — сказала я, вознаграждая его улыбкой и взглядом, от которого он всегда теряется. «Надеюсь! — воскликнул мой отец, обращаясь к госпоже де Мофриньез. — Кто-то распускает о моей дочери грязные слухи. Стоит юной особе появиться в свете, как все уже жаждут выдать ее замуж и наперебой изобретают нелепости. Я ни за что не выдам Арманду замуж против ее воли. Пойду прогуляюсь по фойе, иначе кто-нибудь может решить, что я хочу подсказать послу мысль об этом браке; жена Цезаря должна быть вне подозрений, а дочь — тем паче».

Герцогиня де Мофриньез и госпожа д'Эспар бросили сначала на матушку, а затем на барона игривый и лукавый взгляд, полный невысказанного любопытства. Эти хитрые бестии в конце концов что-то почуяли. Из всех тайн любовь — самая явная; у женщины она, мне кажется, написана на лице. Скрыть ее может только чудовище! Глаза наши еще красноречивее, чем язык. Когда я вдоволь насладилась великодушием Фелипе, оправдавшего все мои надежды, мне, естественно, стало этого мало, и я подала ему знак, чтобы он пришел ко мне под окно известным тебе опасным путем. Через несколько часов я увидела его: он застыл, словно статуя, прижавшись к стене и держась рукой за выступ моего балкона, и следил глазами за мерцанием свечей в моих комнатах. «Милый Фелипе, — сказала я ему, — сегодня вечером вы вели себя прекрасно; если бы мне сказали, что вы женитесь, я приняла бы эту весть точно так же». — «Я подумал, что прежде других вы уведомили бы об этом меня», — ответил он. «А какое у вас право на эту привилегию?» — «Право преданного слуги». — «Вы и вправду мой преданный слуга?» — «Да, — сказал он, — и навсегда». — «Ну, а если бы этот брак был необходим, и я покорилась...» В нежном свете луны сверкнули его глаза: он взглянул сначала на меня, а потом на разделявшую нас пропасть. Казалось, он спрашивал себя, можем ли мы броситься вниз и умереть вместе, но, молнией промелькнув на его лице и блеснув в его глазах, страстный этот порыв был подавлен силой более могучей. «Араб никогда не нарушает своего слова, — сказал он глухо. — Я ваш слуга и принадлежу вам: это на всю жизнь». Мне показалось, что рука, державшаяся за выступ балкона, дрогнула, я положила на нее свою руку и сказала: «Фелипе, друг мой, с этой минуты я ваша жена. Приходите завтра к отцу просить моей руки. Он хочет, чтобы мое состояние перешло к брату; обещайте признать в брачном контракте, что получили за мной приданое, и согласие его вам обеспечено. Я больше не Арманда де Шолье; спускайтесь скорее вниз, Луиза де Макюмер не желает совершать ни малейшей неосторожности». Он побледнел, пошатнулся и спрыгнул вниз со стены высотой десять футов, чем страшно испугал меня, но он совсем не ушибся — он помахал мне рукой и скрылся. Меня любят, как никто никогда никого не любил, подумала я, и заснула счастливая, как дитя. Судьба моя решилась. Назавтра около двух часов пополудни отец пригласил меня в свой кабинет, где меня уже ждали герцогиня и Макюмер. Они прекрасно поладили. Я ответила просто, что если господин Энарес пришел к согласию с моим отцом, у меня нет причин противиться их обоюдному желанию. Матушка пригласила барона отобедать с нами; после обеда мы все вчетвером отправились в Булонский лес. По дороге мы встретили господина де Марсе, он заметил Макюмера и моего отца на переднем сиденье, и я посмотрела на него с нескрываемой насмешкой.

Мой восхитительный Фелипе переделал свои визитные карточки, и теперь они выглядят так:

ЭНАРЕС

ИЗ РОДА ГЕРЦОГОВ СОРИА,

БАРОН ДЕ МАКЮМЕР

Каждое утро он самолично приносит мне роскошный букет, среди цветов всегда спрятано письмо, а в нем — воспевающий меня испанский сонет, который он сочинил накануне ночью. Чтобы письмо не вышло слишком уж толстым, посылаю тебе первый и последний из них в моем дословном переводе.

Сонет первый

Не раз, в тонкой шелковой сорочке
обнажив шпагу, я с недрогнувшим сердцем
ждал нападения разъяренного быка
и удара его рогов, более острых, чем полумесяц Фебы[79].

Я взбирался, напевая андалузскую сегидилью,
на вершину редута под градом пуль,
я бросал свою жизнь на зеленое сукно случая
и вовсе не дорожил ею.

Я мог голыми руками вынуть ядро из жерла пушки,
но теперь я, кажется, становлюсь боязливее робкого зайца,
пугливее ребенка, которому за занавеской мерещится призрак.

Ибо, когда ты смотришь на меня своими кроткими глазами,
на лбу моем выступает холодный пот, ноги у меня подкашиваются,
я дрожу, я отступаю, храбрость мне изменяет.

Сонет второй

Этой ночью я хотел заснуть, чтоб увидеть тебя во сне,

но ревнивый сон бежал моих вежд,
я подошел к окну и взглянул на небо,
думая о тебе, я всегда возвожу очи горе.

Странность, причиной которой может быть только любовь,
свод небесный утратил свой сапфировый цвет,
алмазные звезды в золотой оправе погасли
и бросали на землю безжизненные взгляды.

Луна, лишившись серебра и лилей,
грустно плыла по хмурому небосклону,
ибо ты отняла у неба все его великолепие.

Твое прелестное чело сияет лунной белизной,
глаза твои впитали всю небесную лазурь
ресницы расходятся звездными лучами.

Возможно ли более изящно доказать девушке, что человек только ею и занят? Что ты скажешь о моем возлюбленном, который осыпает меня цветами ума и цветами земли? Вот уже дней десять, как я знаю, что такое испанская галантность, знаменитая в былые времена.

Кстати, милая моя, а что происходит в Крампаде, где я частенько гуляю, любуясь нашими земледельческими достижениями? Неужели тебе нечего рассказать мне о наших тутовых деревьях, о наших прошлогодних посадках? Все ли получается так, как тебе хотелось? Распустились ли цветы в твоем сердце тогда же, когда они расцвели в наших садах — я не смею сказать: на наших клумбах? По-прежнему ли Луи расточает тебе комплименты? Живете ли вы в добром согласии? По-прежнему ли ты находишь, что тихий шепот супружеской нежности приятнее, нежели грохот водопада страсти? Мой милый доктор в юбке рассердился? Быть этого не может, а если бы так случилось, я послала бы Фелипе гонцом, чтобы он пал тебе в ноги и привез мне либо твою голову, либо твоё прощение. Я на седьмом небе от счастья и хочу знать, как живешь ты в своем Провансе? Наша семья выросла — в ней появился испанец, желтый, как гаванская сигара, и я жду твоих поздравлений.

Право, моя прекрасная Рене, я тревожусь: я боюсь, что ты скрываешь от меня какие-то свои огорчения, потому что боишься омрачить мою радость, негодница! Напиши мне поскорее длинное письмо и изобрази свою жизнь во всех подробностях; скажи, по-прежнему ли ты тверда и как обстоят дела с твоей свободной волей — сохранила ты ее, потеряла или, может быть, укрепила — а это уже не шутка. Неужели ты полагаешь, что мне нет дела до твоей семейной жизни? Порой я вспоминаю твои письма и погружаюсь в глубокую задумчивость. Не раз в Опере, делая вид, что люблю пируэтками танцовщиц, я говорила себе: «Сейчас половина десятого, что она делает — быть может, ложится спать? Счастлива ли она? Неужели она коротает дни наедине со своей свободной волей? Или ее свободная воля уже там, где находят приют все свободные воли, в которых отпала нужда?..»

Целую тебя тысячу раз.

XXV

От Рене де л'Эсторад к Луизе де Шолье Октябрь.

Несносная девчонка, с какой стати мне писать тебе? Что мне тебе сказать? Пока ты ведешь жизнь, полную празднеств, тревог любви, ее бурь и лавров, — жизнь, которую ты мне описываешь и на которую я смотрю, как на хорошо разыгранное театральное представление, я живу тихо и размеренно, как в монастыре. Ложимся мы всегда в девять, встаем на рассвете. Мы едим всегда в одно и то же время, с удручающей точностью. Никаких неожиданностей. Я привыкла к этому распорядку без большого труда. Наверно, это естественно: чем была бы жизнь без подчинения незыблемым законам и правилам, которые, по мнению астрономов и по словам Луи, правят мирами? Порядок не надоедает. По утрам я совершаю полный туалет — на это уходит у меня все время до завтрака; я непременно стараюсь исполнить свой долг жены и выйти к завтраку очаровательной; это доставляет радость мне самой и — паче того — доброму старику и Луи. После завтрака мы идем гулять. Когда приносят газеты, я исчезаю, чтобы отдать распоряжения по хозяйству, а потом читаю — читаю я очень много — либо пишу тебе. Я снова появляюсь в гостиной за час до обеда; после еды мы играем в карты, принимаем гостей либо сами едем в гости. Так проходят мои дни — в обществе счастливого старика, дожившего до исполнения всех своих желаний, и мужа, для которого все счастье — во мне. Луи блаженствует, и радость его греет мне душу. Видно, нам суждено такое счастье, которое обходится без удовольствий. Иногда по вечерам, когда я не нужна за карточным столом и могу спокойно отдохнуть в кресле, я мысленно переносюсь к тебе в Париж; тогда я с головой окунаюсь в твою жизнь, такую полную, разнообразную, кипучую, и спрашиваю себя, куда заведут тебя эти бурные предисловия — не убьют ли они самую книгу? Ты, дорогая душенька, еще можешь предаваться любовным грезам, я же поглощена хозяйством. Да, твои любовные похождения кажутся мне грезой! Поэтому мне трудно понять, зачем тебе весь этот романтизм. Ты хочешь, чтобы у твоего избранника душа преобладала над здравым смыслом, величие и добродетель — над любовью; ты хочешь, чтобы то, о чем мечтают юные девушки на пороге жизни, обрело плоть; ты требуешь жертв, чтобы их вознаградить; ты подвергаешь своего Фелипе испытаниям, чтобы узнать, прочны ли живущие в его душе желание, надежда, любопытство. Но, дитя, за этими фантастическими декорациями тебя ждут алтарь и вечные узы. Сразу после свадьбы ужасная действительность, превращающая девушку в женщину, а возлюбленного в мужа, может разрушить твои воздушные замки, несмотря на все предосторожности. Узнай же наконец, что и двое влюбленных, и двое людей, вступивших в брак, как мы с Луи, познают в супружестве не столько радости, сколько, как говорил Рабле, «великое может быть»[80]!

Я не буду бранить тебя, хотя ты и поступала легкомысленно, за разговоры с доном Фелипе в

саду, за твои расспросы, за то, что ты простояла ночь у окна, а он на стене, но ты играешь жизнью, дитя мое, и боюсь, как бы жизнь в ответ не сыграла с тобой злую шутку. Я не смею давать тебе советы, хотя опыт подсказывает мне, что именно потребно для твоего счастья, но позволь мне еще раз повторить тебе премудрость, которой я научилась в моем захолустье: брак зиждется на двух основаниях — смирении и самопожертвовании! Ведь, несмотря на твои испытания, твое кокетство и твою строгость, ты выйдешь замуж совершенно так же, как я. Чем сильнее желание, тем глубже пропасть, только и всего.

Ах! как бы мне хотелось повидать барона де Макюмера и поговорить с ним на досуге, я так желаю тебе счастья!

XXVI

От Луизы де Макюмер к Рене де л'Эсторад Март 1825 г.

Поскольку Фелипе с сарацинской щедростью удовлетворил желание моих родителей и признал за мной приданое, не получив его, герцогиня стала относиться ко мне еще лучше прежнего. Она зовет меня плутовкой, бедовой девчонкой, говорит, что я за словом в карман не полезу. «Но, дорогая матушка, — сказала я ей накануне подписания брачного контракта, — то, что вы принимаете за расчетливость, хитрость и ловкость, — не что иное, как проявления самой настоящей, самой простодушной, самой бескорыстной, самой безоглядной любви! Уверяю вас, вы напрасно изволите считать меня плутовкой». — «Ладно-ладно, Арманда, — сказала она, обняв меня и поцеловав в лоб, — ты не захотела возвращаться в монастырь, не захотела остаться в девушках и, как истинная Шолье, почувствовала, что обязана поправить дела отца. (Если бы ты знала, Рене, сколь лестны были эти слова для отца, присутствовавшего при нашем разговоре!) Целую зиму ты не пропускала ни одного бала, ты верно поняла современных мужчин и угадала, чем живет наше нынешнее общество. И ты увидела, что, только выйдя за испанца, сможешь жить в свое удовольствие и быть хозяйкой в собственном доме. Дорогая девочка, ты обошлась с ним так, как Туллия[81] обходится с твоим братом». — «Хорошее же воспитание дает моя сестра своим монастыркам!» — воскликнул отец. Я бросила на него такой взгляд, что он осекся, затем обернулась к герцогине и сказала ей: «Сударыня, я люблю моего жениха, Фелипе Сориа, всем сердцем. Чувство это зародилось против моей воли, и поначалу я подавляла его; клянусь вам, что я полюбила барона де Макюмера не раньше, чем открыла в нем душу, достойную моей, тонкость, благородство, преданность, нрав и чувства, родственные моим». — «Но, дорогая моя, — прервала она меня, — ведь он страшен, как...» — «Вы совершенно правы, — горячо возразила я, — но я люблю его таким». — «Послушай, Арманда, — сказал отец, — раз ты, любя его, находила в себе силы сдерживать свое чувство, значит ты дорожишь своим счастьем. А счастье во многом зависит от первых дней после свадьбы...» — «Почему не сказать прямо: от первых ночей? — воскликнула матушка и добавила, взглянув, на отца: — Оставьте нас, сударь».

«Через три дня твоя свадьба, милая моя девочка, — шепнула мне матушка, — и я хочу без мещанских ужимок дать тебе несколько важных советов, которые все матери дают своим дочерям. Ты выходишь за человека, которого любишь, поэтому ни мне, ни тебе не на что жаловаться. Я знаю тебя всего год; за это время я успела тебя полюбить, но не успела привязаться настолько, чтобы горячими слезами оплакивать разлуку с тобой. Твой ум превосходит твою красоту; мое материнское самолюбие удовлетворено; вдобавок ты примерная дочь, поэтому я всегда буду тебе хорошей матерью. Ты улыбаешься? Увы! часто бывает так, что дочь, став взрослой женщиной, не уживается с матерью, хотя прежде они прекрасно ладили. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Выслушай же меня. Сейчас твоя

любовь — любовь маленькой девочки, любовь, знакомая всем женщинам, ибо все они рождены, чтобы привязаться к мужчине, но, увы, дитя мое, в целом свете только один мужчина создан для нас, и этот единственный — не всегда тот, кого мы избрали в мужа, полагая, что любим его. Какими бы странными ни показались тебе мои слова, обдумай их. Если мы не любим нашего избранника, виноваты в этом и мы, и он, а иногда еще и обстоятельства, не зависящие ни от нас, ни от него; и все же нам случается полюбить мужчину, которого выбрали нам в мужа родители, мужчину, к которому склоняется наше сердце. Стена же, отделяющая нас от наших мужей, часто вырастает оттого, что и нам, и им не хватает настойчивости и терпения. Сделать мужа возлюбленным так же трудно, как сделать возлюбленного мужем, но ведь с этой последней задачей ты блестяще справилась. Повторяю, я хочу, чтобы ты была счастлива. Поэтому прими в соображение: в первые три месяца после замужества ты можешь стать несчастной, если не подчинишься законам брака с покорностью, нежностью и умом, которые ты выказала в девичестве. Ибо, голубушка, доселе ты предавалась невинным радостям потаенной любви. А счастливая любовь может начаться для тебя с разочарований, невзгод и даже страданий; ну что ж! тогда приходи ко мне. Не слишком уповай на брак, быть может, поначалу он принесет тебе больше горя, чем радостей. Счастье надо так же пестовать, как и любовь. Наконец, если тебе случится потерять в муже любовника, взамен ты обретешь отца твоих детей. На этом, дитя мое, и зиждется жизнь общества. Принеси все в жертву человеку, чье имя стало твоим, чьи честь и достоинство не могут быть ущемлены ни малейшим образом без огромного ущерба для тебя. Женщина нашего круга должна жертвовать ради мужа решительно всем не только по обязанности, но и по расчету. Самое прекрасное свойство великих принципов морали — то, что с какой стороны ни погляди, они и верны, и выгодны. Да, вот еще что: ты склонна к ревности; я, милая, тоже ревнива, но мне не хотелось бы, чтобы ты вела себя глупо. Послушай меня: откровенные ревнивцы похожи на политиков, открывающих свои карты. Признавать себя ревнивой, не таить своей ревности — разве это не игра в открытую? Но ведь так мы теряем возможность узнать карты партнера. Что бы ни случилось, мы должны уметь страдать молча. Впрочем, накануне вашей свадьбы я серьезно поговорю с Макюмером».

Я взяла матушкину прекрасную руку и поцеловала, уронив слезу, исторгнутую ее проникновенной речью. В этом возвышенном наставлении, достойном и ее и меня, проявились глубочайшая мудрость, материнская нежность, лишенная светского ханжества, а главное — подлинное уважение ко мне. В свои простые слова она вложила урок, преподанный ей жизнью, а она, должно быть, дорого заплатила за свою опытность. Она была тронута и сказала, глядя на меня: «Дорогая девочка! Тебе предстоит трудный переход от одной жизни к другой. Многих несведущих или чересчур сведущих особ этот переход так пугает, что они уподобляются графу Вестморленду[82]».

Мы рассмеялись. Соль матушкиной шутки вот в чем: накануне одна русская княгиня рассказала нам, как граф Вестморленд решил посетить Италию. Во время перехода через Ла-Манш он так страдал от морской болезни, что, услышав о предстоящем переходе через Альпы, повернул назад и возвратился восвояси. «Хватит с меня этих переходов!» — сказал он. Ты понимаешь, Рене, что твоя мрачная философия вкупе с моралью моей матушки способна была вновь пробудить в моей душе страхи, обуревавшие нас в Блуа. Чем ближе подходил день свадьбы, тем более я собирала силы, волю, чувства, чтобы вынести тяжкий переход от девичества к замужеству. Я вспоминала наши беседы, перечитывала твои письма и находила в них какую-то скрытую меланхолию. Благодаря этим тягостным раздумьям я превратилась в заурядную невесту, каких рисуют на картинках и каких привыкла видеть публика. Поэтому в день свадьбы все нашли, что я прелестна и выгляжу, как подобает невесте. Утром мы без всякой торжественности, в сопровождении одних лишь свидетелей, отправились в мэрию. Я дописываю эти строки, пока готовят мой обеденный туалет. Венчанье состоится сегодня в полночь после блестящего бала, в церкви Св. Валерии. Признаться, благодаря моим тревогам я выгляжу невинной жертвой и скромницей, что

приводит всех в непонятный мне восторг. Меня восхищает, что бедный Фелипе тоже смущен, как девица, ему неприятно, что все на него смотрят, он как слон в посудной лавке. «Какое счастье, что день этот скоро кончится!» — шепнул он мне на ухо без всякой задней мысли. Он так стыдлив и робок, что предпочел бы никого не видеть. Подписав брачный контракт, сардинский посол отвел меня в сторону и вручил два поздравительных письма, жемчужное ожерелье с шестью великолепными бриллиантами и сапфировый браслет, на котором выгравировано: «Люблю тебя, тебя не зная!» Украшения — подарок моей невестки, герцогини Сория. Я не захотела принять подарки без позволения Фелипе. «Ибо, — сказала я ему, — мне бы не хотелось видеть у вас вещи, подаренные не мною». Он умиленно поцеловал мне руку и ответил: «Носите их: нежная надпись и теплые письма — все это от души».

Суббота, вечер.

Итак, бедная моя Рене, вот последние строки, написанные мною в девичестве. После полночной мессы мы уедем в имение, которое мой предупредительный Фелипе купил для нас в Ниверне, — это по дороге в Прованс. Я уже зовусь Луизой де Макюмер, но остаюсь Луизой де Шолье — так я и покину Париж через несколько часов. Впрочем, как бы я ни звалась, для тебя я навсегда останусь просто Луизой.

XXVII

От Луизы да Макюмер к Рене де л'Эсторад Октябрь 1825 г.

Последний раз я писала тебе, дорогая, после брачной церемонии в мэрии; с тех пор прошло целых восемь месяцев. И ты тоже не написала мне ни словечка! Это ужасно, сударыня.

Итак, мы умчались в замок Шантеплер — имение, купленное Макюмером в Ниверне, на берегу Луары, в шестидесяти лье от Парижа. Все наши люди, кроме моей горничной, прибыли туда заранее и ждали нас; лошади бежали быстро, и назавтра под вечер мы были уже на месте. В карете я сразу заснула и проснулась, когда мы уже миновали Монтаржи. Мой господин и повелитель позволил себе одну-единственную вольность — обнимать меня за талию и держать мою голову на своем плече, подложив под нее несколько платков. Эта почти материнская заботливость, заставлявшая его бороться со сном, глубоко тронула меня. Заснув под огнем его черных глаз, я и проснулась под их пламенем: та же пылкость, та же любовь, но сколько он успел передумать за это время! Он дважды поцеловал меня в лоб.

В Бриаре мы пообедали, не выходя из кареты. В пути мы болтали, так же, как бывало, болтали с тобой в Блуа, и так же любовались Луарой; наконец в половине восьмого вечера мы свернули на длинную красивую дорогу, обсаженную липами, акациями, кленами и лиственницами, которая ведет в Шантеплер. В восемь мы поужинали, а в десять были уже в уютной готической спальне, украшенной всеми изобретениями современной роскоши. Мой Фелипе, которого все находят уродливым, показался мне красавцем, он был сама доброта, само изящество, сама нежность и деликатность. Любовные желания не отражались на его лице. В дороге он вел себя как старый добрый друг. Он описал мне, как умеет описывать он один (ведь он ничуть не изменился с той поры, когда писал свое первое письмо), ужасные бури, которые он смирял в душе, не давая им прорваться наружу. «Пока я не вижу в браке ничего страшного», — сказала я, подходя к окну. В ярком свете луны я увидела парк, откуда лились дивные ароматы. Фелипе подошел ко мне, вновь обнял меня за талию и сказал: «А что в нем может быть страшного? Разве я хоть одним движением или взглядом нарушил свои обещания? И разве собираюсь я их нарушить?» Ни один человеческий голос, ни один человеческий взгляд никогда не сможет иметь надо мной такой власти: звук его речей трогал тончайшие струны моей души и пробуждал все мои чувства; глаза освещали все вокруг, как

солнце. «За вашей вечной покорностью кроется бесконечное мавританское коварство!» — сказала я ему. Дорогая моя, он меня понял.

Теперь, милая моя козочка, ты можешь догадаться, почему я столько месяцев не писала тебе. Мне придется вернуться к удивительной поре девичества, чтобы объяснить тебе произошедшую во мне перемену. Да, Рене, теперь я тебя понимаю. Ни близкой подруге, ни матери, ни, быть может, себе самой счастливая новобрачная не должна говорить ни слова о своем счастливом супружестве. Мы должны хранить это воспоминание в душе вместе с самыми сокровенными чувствами, которые не имеют названия. Кто смеет называть долгом дивные безумства сердца и непреодолимое влечение страсти? И зачем? Какая злая сила вздумала принудить нас, попирая тонкость чувств и извечную женскую стыдливость, превратить наслаждения в обязанность? Как можно обязать женщину отдавать эти цветы души, эти розы жизни, эти гимны восторженной чувствительности мужчине, которого она не любит! Какие здесь могут быть права? Ведь сердечная склонность либо рождается и расцветает под солнцем любви, либо гибнет в холоде отращения и неприязни. Только любви под силу творить чудеса! О благородная моя Рене, теперь я оценила твое величие! Я преклоняю перед тобой колена, я поражаюсь глубине и пронизательности твоего ума. Да, женщина, которая не скрывает под законным браком тайного союза по любви, должна стремиться к материнству, подобно тому как душа, которой нет места на земле, стремится к небу! Из всего, что ты мне писала, следует жестокое правило: только мужчины высокого ума способны любить. Теперь я знаю почему. Мужчина подчиняется двум началам. В нем борются влечение и чувство. Низкие и слабые существа принимают влечение за чувство, меж тем как существа высшие прикрывают влечение восхитительными изъявлениями чувства; сила чувства побуждает их к чрезвычайной сдержанности, они почитают женщину, как святыню. Очевидно, что чувствительность зависит от совершенства внутренней организации человека, и только гений сродни нам своей утонченностью: он слушает, угадывает, понимает женщину; он уносит ее на крыльях своей страсти, сдерживаемой целомудрием. Но хотя ум, сердце и чувства в упоении влекут нас ввысь, в конце концов все мы спускаемся на землю; наше парение в небесах, увы, длится недолго. Такова, дорогая подруга, моя философия после трех месяцев супружеской жизни. Фелипе — ангел. При нем я могу думать вслух. Он — мое второе «я», говорю это не для красного словца. Великодушие его неизъяснимо: обладание еще сильнее привязывает его ко мне, счастье открывает все новые причины любить меня. Я для него лучшая половина его самого. Я вижу: годы супружества не только не изменят его отношение к любимой женщине, напротив, время увеличит наше доверие друг к другу, разовьет в нас новые чувства и укрепит наш союз. Какое блаженство, какой восторг! Душа моя такова, что наслаждения озаряют ее ярким светом, они согревают меня, запечатлеваются в моем внутреннем существе; перерыв между ними — словно короткая ночь между долгими днями. Вершины деревьев, которые солнце позолотило на закате, встречая зарю, еще хранят солнечное тепло. По какой счастливой случайности все у меня сразу сложилось так удачно? Матушка пробудила во мне тысячу опасений, однако предвидения ее, которые, как мне казалось, были продиктованы ревностью, хотя и начисто лишенной мещанской мелочности, не оправдались, все страхи — и твои, и ее, и мои — рассеялись! Мы прожили в Шантеплере семь с половиной месяцев, как двое любовников, скрывающихся от родительского гнева. Розы наслаждения увенчали нашу любовь, они украшают наше уединение. И вот однажды утром, когда я чувствовала себя особенно счастливой, я вдруг вспомнила о моей Рене и ее браке по расчету; я угадала всю твою жизнь, я ее поняла. Ах, ангел мой, почему мы говорим на разных языках! Твой брак, заключенный в угоду обществу, и мой, за которым скрывается взаимная любовь, — два мира, которые так же далеки друг от друга, как конечное от бесконечного. Ты стоишь на земле, я парю в небе! Ты пребываешь в сфере человеческого, я — в сфере божественного. Я царю силой любви, ты царствуешь благодаря расчету и долгу. Я поднялась так высоко, что если мне суждено упасть, я разобьюсь насмерть. Словом, мне пора замолчать, ибо мне совестно описывать тебе блеск, богатство, утонченные наслаждения нашей любовной весны.

Вот уже десять дней, как мы в Париже; поселились мы в прелестном домике на улице Бак, отстроенном тем же архитектором, которого Фелипе нанимал для отделки Шантеплера. Я только что вернулась из Оперы, где наслаждалась божественной музыкой Россини; прежде я слушала ее, томимая безотчетной тревогой и любовным любопытством, ныне же, благодаря законным радостям счастливого супружества, душа моя расцвела. Все кругом находят, что я очень похорошела, а я радуюсь, как дитя, когда меня называют госпожа де Макюмер.

Пятница, утро.

Рене, милая моя мученица, в счастье моем я постоянно думаю о тебе. Я люблю тебя еще сильнее, чем прежде, я так предана тебе! Только начав свою супружескую жизнь, я наконец постигла твою: в тебе столько великодушия, благородства, добродетели, что, оставаясь твоей подругой, я чувствую себя гораздо ниже тебя и искренне тобою восхищаюсь. Я вышла замуж по любви и почти убеждена, что умерла бы, сложись все иначе. А ты жива. Благодаря какому чувству, поведай мне! Нет, я никогда больше не буду подшучивать над тобой. Увы! шутка, мой ангел, — плод неведения, люди смеются над тем, чего совсем не знают. Где новобранцы хохочут, там бывалым солдатам не до шуток, — сказал мне граф де Шолье, бедный командир эскадрона, чьи походы до сей поры ограничивались лишь поездками из Парижа в Фонтенбло[83] и обратно. Поэтому, любимая моя подруга, я догадалась, что ты рассказала мне далеко не все. Да, ты скрыла от меня свои раны. Ты страдаешь, я чувствую. Я сочиняла целые романы, желая понять издали по тому немногому, что ты рассказала мне о себе, почему ты ведешь себя так, а не иначе. Она только попробовала себя в супружеской жизни, решила я однажды вечером, и то, что для меня стало счастьем, для нее обернулось страданием. Она осталась при своих жертвах и не желает умножать их число. Она обрядила свои горести в пышные одежды моральных истин. Ах, Рене, вот что восхитительно: наслаждение не нуждается ни в религии, ни в пышных одеждах, ни в громких словах, оно довлеет себе, меж тем как для оправдания жестоких законов, помогающих держать нас в рабской зависимости, мужчины придумали кучу теорий и максим. Если твои жертвы прекрасны и возвышенны, значит, мое счастье, укрывшееся под белой с золотом фатой и узаконенное мрачнейшим из мэров, — нечто противоестественное? Во славу законов, ради тебя, но прежде всего ради себя самой я хотела бы, чтобы ты была счастлива, — мое блаженство не может быть полным, пока ты несчастна, дорогая Рене. О! Скажи мне, что в твоём сердце зародилась искра любви к твоему Луи, который тебя обожает! Скажи, что символический, торжественный факел Гименея осветил для тебя не только мрак! Ведь любовь, ангел мой, для нравственной природы человека — все равно что солнце для земли. Я без конца возвращаюсь мыслями к тому Свету, который озарил всю мою жизнь и который, боюсь, испепелит меня. Милая Рене, помнишь, как в глубине монастырского сада, под сенью виноградных лоз, ты говорила мне в порыве дружеских чувств: «Я так люблю тебя, Луиза, что молю Господа послать мне все муки, а тебе все радости жизни. Да, мне по душе страдания!» Так вот, милочка, сегодня я отвечаю тебе тем же и громко взываю к Господу, моля его разделить мои радости на двоих.

Послушай: я знаю, твои честолюбивые планы зависят от Луи де л'Эсторада — ну что ж, постарайся, чтобы на ближайших выборах его избрали депутатом, ведь ему будет как раз около сорока, а поскольку палата соберется только через полгода после выборов, он как раз достигнет необходимого возраста. Тогда ты сможешь жить в Париже, — не говоря уже обо всем прочем. Мой отец и друзья, которых я успею завести, порадеют вам, и если твой старый свекор захочет учредить майорат, мы исплопочем для Луи титул графа. Уже неплохо! Да что там, мы наконец будем вместе!

XXVIII

От Рене де л'Эсторад к Луизе де Макюмер Декабрь 1825 г.

Моя счастливица Луиза, ты меня просто ослепила. Несколько мгновений я сидела, бессильно опустив руки, под невысокой голой скалой, у подножия которой стоит моя скамья, и на письме твоём сверкали в лучах заходящего солнца несколько слезинок. Далеко-далеко, словно стальное лезвие, блестит Средиземное море. Скамью эту осеняют благоухающие деревья — я велела пересадить сюда огромный куст жасмина, жимолость и испанский дрок. В один прекрасный день скалу целиком укроет ковер из растений. Виноград уже посажен. Но близится зима, зелень пожухла и стала похожа на выцветший гобелен. Когда я прихожу сюда, никто меня не тревожит, все знает, что я хочу побыть одна. Эта скамья зовется скамьей Луизы. Так что ты понимаешь, что я здесь не совсем одна.

Отчего я рассказываю тебе все эти мелкие подробности, отчего описываю тебе мои мечты, в которых уже вижу, как эта голая, суровая скала с неведомо откуда взявшейся прекрасной приморской сосной на вершине покрывается зеленью? Оттого, что здесь меня посетили грезы, которые мне дороги.

Радуюсь твоему супружескому счастью и — к чему скрывать? — всей душой завидуя ему, я почувствовала, как в недрах моего существа шевельнулся мой ребенок, и это движение отозвалось в глубинах моей души. Это смутное ощущение, весть, радость, боль, обещание, действительность — все разом, это счастье, которое принадлежит мне одной и останется тайной, ведомой только мне и Господу, эта тайна возвестила мне, что скала в один прекрасный день покроется цветами, что воздух наполнится радостными криками детей, что Бог наконец благословил мое чрево и оно будет щедро дарить жизнь. Я почувствовала, что рождена для материнства! Поэтому уверенность в том, что я ношу в себе другую жизнь, принесла мне благотворное утешение. Долгое время я жертвовала собой ради счастья Луи, и вот теперь эти жертвы увенчались огромной радостью для меня.

Самопожертвование! — сказала я себе, — разве ты не выше любви? Разве нет в тебе глубочайшего наслаждения — наслаждения бескорыстного и животворящего? Разве ты, о самопожертвование, не высший дар, презирующий брэнную выгоду? Разве ты не таинственное, не знающее усталости божество, окруженное бесчисленными сферами, скрытое в неведомом средоточии бытия? В тиши уединения, вдали от нескромных взоров, самопожертвование вкушает свои радости, о которых почти никто не подозревает. Самопожертвование, ревнивое и грозное, победоносное и могучее божество, неистощимо, ибо коренится в природе вещей и потому, несмотря на избыток сил, довлеет себе. Самопожертвование — вот основание моей жизни.

Ты, Луиза, живешь благодаря Фелипе, я же существую благодаря моему маленькому миру, который, в свою очередь, расцветает благодаря мне! Для тебя золотое время жатвы уже наступило, но оно скоро минует, мой же урожай созреет позднее, но разве не станет он от этого долговечнее? Время будет только обновлять его. Любовь — лучшее, что Общество сумело позаимствовать у природы, но разве материнство не есть ликование самой природы? Улыбка высушила мои слезы. Любовь делает моего Луи счастливым, но супружество сделало меня матерью, и я тоже хочу быть счастлива! И я медленно пошла в свою белую бастиду с зелеными ставнями, чтобы написать тебе все это.

Итак, дорогая, пять месяцев назад в моей жизни свершилось событие самое естественное и самое поразительное, которое, впрочем, — скажу тебе по секрету — ничуть не задело ни моего сердца, ни моего ума. Все кругом счастливы: будущий дедушка счастлив как дитя, будущий отец ходит с серьезным и озабоченным видом; все выполняют малейшее мое желание, все толкуют о том, какое счастье быть матерью. Увы! одна я ничего не чувствую, но не решаюсь сказать им о своем полном безразличии и немного притворяюсь, чтобы не омрачать их радость. С тобой я могу быть откровенной: в критическом положении, в каком нахожусь я, материнство кажется игрой воображения. Для Луи моя беременность была такой

же неожиданностью, как и для меня. Не значит ли это, что дитя наше явилось само по себе, не званное никем, кроме нетерпеливых желаний его отца? Дорогая моя, Бог материнства — случай. Хотя наш доктор говорит, что эти случайности находятся в согласии с волей природы, он не отрицает того, что дитя, которое так красиво зовется «дитя любви», не может не быть красивым и умным: такие дети, как правило, рождаются под счастливой звездой, ибо зачатие их озарила своим сверкающим светом сама любовь. Быть может, тебе, моя Луиза, материнство принесет такие радости, каких мне познать не суждено. Быть может, ребенка от обожаемого человека, как будет у тебя, любят больше, чем от мужа, за которого вышли по расчету, которому отдались из чувства долга, из желания стать наконец женщиной! Эти мысли, таящиеся в глубине моей души, омрачают мои мечты о материнстве. Но, поскольку без ребенка нет семьи, мне хотелось бы поторопить миг, когда для меня начнутся семейные радости, ибо им суждено стать для меня смыслом жизни. Мое нынешнее существование — таинственное ожидание; должно быть, подступающая к горлу тошнота приуготовляет женщину к предстоящим ей мукам. Я наблюдаю за собой. Несмотря на старания Луи, любовно окружающего меня заботой, осыпающего нежными ласками, меня не оставляет смутное беспокойство, вдобавок я совсем потеряла аппетит, у меня расстроилось пищеварение и появились странные причуды. Я рискую испугать тебя этим состоянием, но скажу все начистоту: сама не знаю почему, я вдруг до смерти полюбила апельсины, причем не все, а только определенный сорт; они очень странные на вкус, но меня это не смущает. Каких только апельсинов ни привозил мне Луи из Марселя — и мальтийских, и португальских, и корсиканских, но я к ним даже не притронулась. Я сама отправляюсь в Марсель, иногда даже пешком, чтобы поесть грошовых полугнилых апельсинов, — их продают на маленькой улочке, которая спускается от ратуши к порту; покрывающие их пятна голубоватой или зеленоватой плесени кажутся мне брильянтами; я нюхаю их, как цветы, вовсе не замечая исходящего от них смрада; их терпкий вкус и хмельное тепло приводят меня в восторг. Таковы, ангел мой, первые любовные наслаждения в моей жизни. Эти ужасные апельсины — моя любовь. Ты не так вожделеешь к Фелипе, как я жажду съесть один из этих полусгнивших плодов. Иногда я отлучаюсь украдкой, мчусь в Марсель, и когда подхожу к заветной улочке, меня охватывает сладострастная дрожь: я боюсь, как бы гнилые апельсины не кончились, я набрасываюсь на них и ем, пожираю их прямо на улице. Для меня это райские плоды, пища богов. Я видела, как Луи отворачивается, чтобы не слышать их воню. Мне приходят на память безжалостные слова из «Обермана»[84] — мрачной элегии, которую мне лучше было не открывать: «Корни ее пьют зловонную влагу!» С тех пор как я стала есть эти апельсины, меня перестало тошнить и я чувствую себя намного лучше. Должно быть, в этих причудах есть какой-то смысл: не случайно же природа награждает добрую половину женщин, ожидающих ребенка, подобными желаниями, порой совершенно чудовищными. Когда моя беременность станет очень заметна, я перестану выходить из Крампады: я не хочу бывать на людях в таком виде.

Мне до крайности любопытно узнать, когда же просыпается материнское чувство. Ведь не в страшных же болях, которых я так боюсь.

Прощай, моя счастливица! Прощай, я возрождаюсь в тебе и благодаря тебе вижу в воображении все прелести любви — ревность из-за одного случайно брошенного взгляда, тихий нежный шепот, наслаждения, погружающие нас в иной мир, дарующие нам иную кровь, иной свет, иную жизнь! Ах, душенька, я тоже понимаю, что такое любовь. Не ленись, пиши мне обо всем. Будем строго соблюдать наш уговор. Я не утаю от тебя ни одной мелочи. Чтоб окончить письмо на серьезной ноте, скажу тебе, что, когда я перечитывала твои письма, меня охватил неодолимый ужас. Мне показалось, что ваша ослепительная любовь бросает вызов Господу. Не разгневается ли самовластительное Несчастье на то, что вы не позвали его на пир?! Сколько счастливых судеб оно погубило! О Луиза, в блаженстве своем не забывай молиться Богу. Твори добро, будь милосердна, кротка и скромна — этим ты отведешь беду от дома твоего. Выйдя замуж, я стала еще благочестивее, чем была в монастыре. Ты не пишешь мне, набожны ли парижане. Мне кажется, в своей любви к Фелипе ты поступаешь

вопреки пословице и творишь себе кумира. Впрочем, страхи мои наверняка напрасны и проистекают от избытка дружеских чувств. Ведь вы ходите вместе в церковь и втайне творите добро, не правда ли? Быть может, за эти последние слова ты назовешь меня провинциалкой, но помни о том, что опасения мои подсказаны безграничной дружбой, — дружбой, как ее понимал Лафонтен[85], когда страшного сна, смутной догадки довольно, чтобы внушить тревогу и беспокойство. Ты заслужила счастье, ибо в блаженстве своем не забываешь обо мне, как я не забываю о тебе в своей однообразной жизни, не столь яркой, но полной смысла, скромной, но плодотворной; да благословит тебя Господь!

XXIX

От господина де л'Эсторада к баронессе де Макюмер Декабрь 1825 г.

Сударыня,

Моя жена не захотела слать вам обычное уведомление, и я спешу сам сообщить вам о событии, которое преисполняет нас всех радостью. Рене разрешилась от бремени крупным мальчиком; мы отложили крестины до вашего возвращения в Шантеплер. Мы надеемся, что оттуда вы приедете к нам в Крампаду и станете крестной матерью нашего первенца. В надежде на это мы назвали его Арманом Луи; так он и записан в мэрии. Наша дорогая Рене много выстрадала, но сносила все муки с ангельским терпением. Вы ведь ее знаете, в этом испытании ее поддерживала уверенность, что она принесет счастье всем нам. Не стану уподобляться тем новоиспеченным отцам, которые превозносят до небес своих первенцев, но смею утверждать, что маленький Арман прелестен; вы сразу со мной согласитесь, когда узнаете, что он похож на Рене и у него ее глаза. С его стороны это уже не глупо. Теперь, когда доктор и акушер заверили нас, что все хорошо — Рене сама кормит, молока много, природа щедро наделила ее здоровьем, — мы с отцом можем наконец предаться радости. Сударыня, радость наша так огромна, так сильна, так полна, она так одушевляет весь дом, так изменила жизнь моей дорогой жены, что я желаю и вам в скором времени того же счастья. Рене распорядилась приготовить комнаты для дорогих гостей, и вас ждет прием если не роскошный, то дружеский и сердечный.

Рене рассказала мне, сударыня, что вы изъявили желание походатайствовать за нас, и я пользуюсь случаем поблагодарить вас, тем более что это будет как нельзя кстати. Появление внука подвигло моего отца на жертвы, нелегкие для стариков: он купил два новых поместья. Крампада приносит сейчас триста тысяч франков в год. Мой отец хочет просить у короля дозволения учредить майорат, и если вы исхлопочете для него титул, о котором писали в последнем письме, то сделаете первый подарок вашему крестнику. Что же до меня самого, я буду следовать вашим советам единственно ради того, чтобы вы могли видеться с Рене во время сессий палаты. Я ревностно штудирую книги и стараюсь стать так называемым специалистом. Но ничто не воляет в меня больше сил, чем уверенность в том, что вы покровительствуете моему маленькому Арману. Вы так прекрасны и добры, так великодушны и умны, обещайте же навестить нас и стать доброй феей моего старшего сына. Это преисполнит вечной признательности вашего почтительного и покорного слугу Луи де л'Эсторада.

XXX

От Луизы де Макюмер к Рене де л'Эсторад Январь 1826 г.

Ангел мой, Макюмер только что разбудил меня и вручил письмо от твоего мужа. Прежде всего я отвечаю «да». В конце апреля мы едем в Шантеплер. Меня ждет сплошная цепь удовольствий: путешествие, встреча с тобой и крестины твоего первенца, но только я хочу, чтобы крестным отцом стал Макюмер. Я сказала ему, что мне противно было бы духовно породниться с другим восприемником. Ах! если бы ты видела его лицо в этот миг, ты поняла бы, как он меня любит.

«Я еще и потому хочу, чтобы мы вместе поехали в Крампаду, Фелипе, — сказала я ему, — что, быть может, после этого и у нас родится ребенок. Я тоже хочу стать матерью... хотя тогда мне пришлось бы делить себя между тобой и сыном. К тому же, если бы я увидела, что ты кого-то любишь больше меня, пусть даже моего сына, я даже не знаю, чем бы это могло кончиться. Может статься, Медея была права[86]: древние понимали, что к чему». Фелипе рассмеялся. Одним словом, дорогая моя козочка, у тебя не было цветов, но сразу появились плоды, а я цвету, но не плодоношу. Судьбы наши разнятся все сильнее. Мы обе любим философствовать, так что стоит при случае подумать, в чем тут суть и какая из этого следует мораль. Впрочем, я замужем всего десять месяцев — согласишься, что еще не все потеряно.

Мы живем жизнью счастливых людей — беззаботной и притом полной. Дни всегда кажутся нам слишком короткими. Когда я явилась в свете в качестве замужней дамы, все нашли, что баронесса де Макюмер гораздо красивее Луизы де Шолье: у счастливой любви есть свои белила и румяна. Когда ясным солнечным днем мы с Фелипе едем по крепкому январскому морозу, а деревья на Елисейских полях искрятся белым инеем, когда на виду всего Парижа мы проезжаем вместе по тем улицам, где в прошлом году могли ездить только порознь, что только не приходит мне в голову, и я начинаю бояться, что ты права и я в самом деле рискую прогневить Бога своим блаженством.

Если мне не суждено узнать радостей материнства, ты расскажешь мне о них, и я стану матерью вместе с тобой; впрочем, по-моему, ничто не может сравниться с наслаждениями любви. Ты сочтешь это весьма странным, но я часто ловлю себя на том, что мне хотелось бы умереть в тридцать лет, в расцвете сил, среди нег и наслаждений, хотелось бы уйти из жизни убогатой, не обманувшейся в своих надеждах, хотелось бы раствориться в сияющем эфире, умереть от избытка любви, не утратив ни единого листочка из своего венца и сохранив все свои иллюзии. Подумай только, каково жить с молодым сердцем в старом теле, встречать немые холодные взгляды, помня о том, как раньше при взгляде на тебя самая равнодушная физиономия озарялась улыбкой, одним словом, стать почтенной матроной... Ведь это же сущий ад!

По этому поводу мы с Фелипе впервые повздорили. Я высказала надежду, что у него достанет духа убить меня в тридцать лет, ночью, — я бы ни о чем не подозревала и просто перешла из одного сна в другой. Этот негодник не согласился. Я пригрозила покинуть его еще при жизни — он побледнел, бедное дитя! Этот грозный министр стал совсем как ребенок. Просто невероятно, до чего он юн душой и бесхитростен. Теперь, когда я приучила его ничего от меня не скрывать и сама поверяю ему, как и тебе, все свои мысли, мы не устаем восхищаться друг другом.

Дорогая моя, двое влюбленных, Фелипе и Луиза, желают сделать родильнице подарок. Мы хотели бы заказать что-нибудь для тебя. Поэтому скажи мне прямо, что тебе нравится, у нас ведь нет этой мещанской страсти к сюрпризам. Мы хотим подарить тебе какую-нибудь красивую вещь, которая служила бы тебе долго-долго и постоянно напоминала о нас. Для нас самая веселая, самая интимная, самая оживленная трапеза — завтрак, ибо завтракаем мы вдвоем; вот я и подумала, не послать ли тебе утренний сервиз, расписанный фигурками

детей. Если ты одобряешь мой выбор, напиши мне сразу. Чтобы сервис был готов к нашему отъезду, надо заказать его загодя, ибо парижские мастера большие лентяи. Это будет моя жертва Луцине[87].

Прощай дорогая родильница, желаю тебе всех материнских радостей, какие только возможны, и с нетерпением жду от тебя письма — ведь ты расскажешь мне все-все, не правда ли? Я как подумаю об акушере, меня прямо в дрожь бросает. Эти слова из письма твоего мужа я прочла не глазами, а прямо сердцем. Бедная Рене, дети, должно быть, нелегко даются? Я объясню моему крестнику, как он должен тебя любить.

Целую тебя тысячу раз, мой ангел.

XXXI

От Рене де л'Эсторад к Луизе де Макюмер

Вот уже скоро пять месяцев, как я разрешилась от бремени, а у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы написать тебе, дорогая душенька. В наказание и ты совсем перестала мне писать, хотя я вовсе не заслужила такой суровости — когда ты сама станешь матерью, ты поймешь меня. Милая моя, пиши мне! Рассказывай обо всех увеселениях, рисуй в ярких красках картину твоего счастья, не жалея лазури, не бойся огорчить меня, ибо я счастлива, ты даже представить себе не можешь, как я счастлива.

По случаю моего благополучного разрешения от бремени Луи заказал в приходской церкви благодарственный молебен, все было очень торжественно, как принято у нас в старинных провансальских семьях. Два деда, отец Луи и мой батюшка, поддерживали меня под руки. Ах! никогда еще я не преклоняла колена перед Господом в таком порыве благодарности! Мне надо столько тебе сказать, описать столько чувств, что я даже не знаю, с чего начать, но одно светлое воспоминание сияет в моей душе ярче всех других — воспоминание о молитве в церкви!

Когда, став счастливой матерью, я пришла туда, где девушкой предавалась отчаянию и гадала о том, какое будущее меня ждет, мне почудилось, будто Богородица над алтарем кивнула мне и указала глазами на сына Божьего, и сын Божий улыбнулся мне! В каком святом порыве благочестия поднесла я нашего маленького Армана к кюре, чтобы тот благословил его и окропил святой водой! Приезжай поскорее, увидишь нас обоих, Армана и меня!

Дитя мое — видишь, теперь и ты для меня уже дитя, но это ведь самые нежные слова, какие есть в сердце, в голове и на устах матери. Так вот, дорогое мое дитя, два последних месяца перед родами я бессильно бродила по нашим садам, изнемогая под своим бременем и еще не зная, как оно дорого мне и как сладостно, несмотря на все тяготы. Страхи и мрачные предчувствия, мучившие меня, были так сильны, что заглушали даже любопытство: сколько я ни убеждала себя, сколько ни твердила себе, что все, дарованное природой, — благо, сколько ни обещала самой себе стать хорошей матерью, все было напрасно. В сердце моем, увы, не было никаких чувств к ребенку, который довольно сильно пинал меня; дорогая моя, можно радоваться этим пинкам, когда у тебя уже есть дети, но в первый раз эти знаки пробуждающейся жизни не радуют, а только удивляют. Ты знаешь, я не люблю лгать и притворяться и рассказываю тебе все как есть о себе и о своем дитяти, дарованном мне не столько любимым человеком, сколько Богом, — ведь детей дает Бог. Но все эти печали в прошлом и, я думаю, больше не повторятся.

Когда настал решительный час, я собрала все свое мужество, я приготовилась к таким

страшным болям, что, по всеобщему признанию, перенесла эту ужасную пытку самым чудесным образом. Я вдруг погрузилась в небытие, похожее на сон; так прошло около часа, все это время я чувствовала себя разделенной надвое: на мучимую, терзаемую, раздираемую телесную оболочку и безмятежную душу. В этом странном состоянии боль обручем сдавила мою голову. Мне казалось, что у меня во лбу расцвела огромная роза и растет, обнимая меня. Кровавый цветок окрасил окружающий воздух багровым цветом. Все вокруг стало красным. Потом боль стала такой сильной, что мне показалось, будто душа моя вот-вот расстанется с телом, и я тотчас умру. Я стала громко кричать, и это помогло мне найти в себе новые силы, чтобы противостоять новым приступам боли. И вдруг мои громкие вопли заглушил нежный серебристый голосок маленького существа. Нет, решительно невозможно описать, что произошло в этот миг: мне казалось, что весь мир кричит вместе со мной, что все превратилось в боль и вопль, — и вдруг, стоило раздаться слабому крику ребенка, как все смолкло. Меня перенесли на мою большую кровать, и я испытала райское блаженство, хотя и была очень слаба. Какие-то люди с радостными лицами, все в слезах, показали мне ребенка. Дорогая моя, я вскрикнула от ужаса. «Да ведь это просто обезьянка! — воскликнула я. — Вы уверены, что это ребенок?» И я отвернулась, в отчаянии от того, что испытала так мало материнских чувств.

«Не волнуйтесь, дорогая, — сказала матушка, ставшая при мне сиделкой, — вы произвели на свет прелестнейшего мальчика. Не терзайте себя всякими фантазиями, вам надо употребить весь ваш ум на то, чтобы стать глупой, как корова, которая щиплет траву и дает молоко».

И я уснула с твердым намерением положиться на природу. Ах, ангел мой, избавленье от всех этих мук, от этой сердечной смуты первых дней, когда все неясно, тягостно, неопределенно, было божественным. Ощущение, еще более сладостное, чем то, которое я испытала, услышав крик моего ребенка, рассеяло мрак. Сердце мое, моя душа, неведомое мне «я» проснулось в неприветливой оболочке страдания — так цветок вырывается из семени, пробужденный сверкающим лучом солнца. Маленький зверек взял мою грудь и начал сосать — и воссиял свет! Я внезапно почувствовала себя матерью. Вот счастье, вот радость, такая радость, что и описать невозможно, хотя она сопровождается изрядной болью. О прекрасная моя ревнивица, какое тебя ждет наслаждение, ведомое лишь женщине, ребенку и Богу. Это маленькое существо знает только нашу грудь. Для него в целом свете есть только эта сверкающая точка, он любит ее всеми силами, он стремится к этому источнику жизни, он припадает к нему, потом засыпает и пробуждается, чтобы снова припасть. Губы его льнут к груди с неизъяснимой любовью, принося разом и боль, и наслаждение — наслаждение, доходящее до боли, и боль, переходящую в наслаждение; не могу даже описать тебе, какое чувство разливается в моей груди и охватывает все мое существо: мне кажется, что грудь моя — центр, откуда расходятся тысячи лучей, радующих сердце и душу. Произвести ребенка на свет — ничто, но кормить его — значит ежечасно давать ему жизнь. О Луиза, никакие ласки любви не могут сравниться с ласками маленьких розовых ручек, которые тихонько шарят, стараясь ухватиться за источник жизни. Какими глазками смотрит ребенок то на грудь матери, то ей в глаза! Сколько мечтаний пробуждается в нашей душе, когда мы видим, как он впивается губками в свое сокровище! Он требует, чтобы мать посвятила ему все свои силы — не только телесные, но и духовные, ему нужны и кровь и мозг, но зато радости он приносит столько, сколько нам и не снилось. Почувствовав, как мое молоко наполняет его ротик, встретив его первый взгляд, прочитав в его первой улыбке его первую мысль, я вновь испытала то восхитительное ощущение, которое пережила, когда услышала его первый крик, разбудивший меня, как первый луч солнца пробудил когда-то землю. Милая моя, он смеется. Его смех, его взгляд, его покусывание, его крик — четыре этих наслаждения безграничны: они проникают в самую глубь сердца, они колеблют там струны, недоступные ничему иному! Я полагаю, миры связаны с Богом так, как дитя связано с каждой жилкой матери: Господь есть великое материнское сердце. Ни зачатия, ни даже беременности не видишь и не слышишь, но кормить, моя Луиза, — это ежесекундное блаженство. Мать видит, что происходит с ее молоком: оно превращается в плоть, расцветает в кончиках крохотных пальчиков, похожих на

лепестки и таких же нежных, дает рост тонким прозрачным ноготкам и мягким волосикам, вливает в малыша силу, и он начинает сучить ножками. О, детские ножки — ведь это целый язык. Движениями ножек ребенок выражает свои чувства. Кормить ребенка, Луиза, — это значит следить потрясенным взором за тем, как он меняется час от часу. Плач ребенка слышишь не ушами, а сердцем, улыбку его глаз и губ, движенья его ножек понимаешь так ясно, словно это огненные письмена, начертанные самим Господом! Ничто в мире уже не занимает женщину. Отец?.. да его просто изничтожат, если он ненароком разбудит ребенка. Как мать — целый мир для своего дитяти, так и дитя — целый мир для своей матери! Вот когда мы убеждаемся, что не одиноки, вот когда получаем щедрое воздаяние за труды и страдания — ибо не обходится и без страданий. Да хранит тебя Бог от трещин на сосках! Эти ранки, которые розовые губки бередают вновь и вновь, не давая им заживать, причиняют такую боль, что если бы не радость при виде детского ротика, перепачканного молоком, можно было бы сойти с ума. Эти трещинки — ужасная расплата за красоту: подумать только, ведь они образуются лишь на тонкой и нежной коже.

Обезьянка моя за пять месяцев превратилась в прелестнейшее из созданий, какие когда-либо орошала слезами радости, купала, причесывала, пеленала и наряжала женщина, а ведь Бог знает, с каким неугасимым пылом женщины наряжают, пеленают, купают, переодевают, целуют эти маленькие цветочки! Итак, обезьянка моя уже не обезьянка, а беби, как говорит моя няня-англичанка, бело-розовый беби; чувствуя, как его любят, он мало плачет; по правде говоря, я почти не отхожу от него и стараюсь вложить в него всю свою душу.

Дорогая моя, к Луи я теперь испытываю если и не любовь, то чувство, которое у любящей женщины должно дополнять любовь. Впрочем, быть может, эта нежность, эта признательность, чуждая всякой корысти, даже выше любви. Из твоих рассказов о любви, душенька моя, я вижу, что в ней есть нечто ужасно земное, меж тем как в привязанности, которую счастливая мать питает к тому, кто послужил причиной этих долгих, этих вечных радостей, есть нечто священное, почти божественное. Радость матери — свет, лучи которого озаряют будущее, но бросают отблеск и на прошлое, сообщая прелесть воспоминаниям.

Оба л'Эсторада, и отец, и сын, заботятся обо мне пуще прежнего; они как бы заново узнали меня; их слова, их взгляды проникают мне в душу, ибо всякий раз, видя меня и говоря со мной, они снова и снова воздают мне хвалу. Дед, похоже, совсем впал в детство — с таким восхищением он на меня смотрит. Когда я в первый раз вышла к завтраку и он увидел, как я ем и кормлю грудью его внука, он заплакал. Слезы в этих глазах, дотоле сухих, загоравшихся только мыслью о деньгах, подарили мне неизъяснимую радость; мне показалось, что старик понимает мое блаженство. Что же до Луи, то он готов рассказывать деревьям и булыжникам на дороге, что у него родился сын. Он целыми часами любит твой крестник, пока тот спит. Он говорит, что никак не может привыкнуть к такому счастью. Эта переливающаяся через край радость открыла мне, сколько волнений и страхов испытали мой муж и свекор. Луи недавно признался мне, что сомневался в самом себе и полагал, что ему не суждено иметь детей. Бедняга переменялся к лучшему, он пополняет свое образование еще прилежнее, чем прежде. С появлением ребенка честолюбие его удвоилось. Что до меня, дорогая душенька, то счастье мое безгранично. Мать ежечасно связуют с ее ребенком все новые и новые узы. Все, что я испытываю, доказывает мне, что материнское чувство бессмертно, естественно, ежесекундно, любовь же, как мне кажется, не бывает столь постоянной. Случается, она ослабевает, цветы, вышиваемые ею на полотне жизни, блекнут, наконец, любовь может и даже должна пройти, но материнскому чувству не грозит оскудение, оно растет вместе с нуждами ребенка, развивается вместе с ним. Разве не верно, что любовь матери — это страсть, потребность, чувство, долг, необходимость, счастье, слитые воедино? Да, душенька, вот в чем заключается призвание женщины. Материнство утоляет нашу жажду самопожертвования и полностью избавляет нас от мук ревности. Поэтому материнская любовь, быть может, единственная сфера, где Природа и Общество приходят к согласию.

Породив дух семейственности, вселив в души людей заботу о продолжении рода, о славе его и приумножении состояния, Общество обогатило Природу и усилило материнскую любовь. Как же должна женщина опекать милое существо, открывшее ей такие радости, вдохнувшее новые силы в ее душу и научившее ее великому искусству материнства? Право первородства, которое восходит к первым дням творения и связано с происхождением Общества, кажется мне неоспоримым. Ах! сколько нового мать узнает от своего дитяти! Мать и ребенок так много ждут друг от друга, необходимость постоянно защищать это слабое существо исполнена такого целомудрия, что, лишь став матерью, женщина постигает свое истинное призвание, лишь тогда она находит силы выполнить свое предназначение в жизни и вкушает все радости и наслаждения, какие ей суждены. Бездетная женщина — существо неполноценное и несчастливое. Торопись стать матерью, мой ангел! И тогда к твоему теперешнему счастью прибавятся все мои наслаждения.

11 вечера.

Я оторвалась от письма, услышав плач твоего крестника, я слышу его крик даже из дальнего конца сада. Я не захотела отсылать это послание, не простившись с тобой; я перечла его и ужаснулась его банальности. Увы! Наверно, все матери испытывают те же чувства, что и я, и выражают их теми же словами; боюсь, ты будешь смеяться надо мной, как все смеются над наивностью отцов, толкующих об уме и красоте своих детей и непременно находящих в них нечто необыкновенное. Душенька моя, я хотела сказать тебе только одно: теперь я настолько же счастлива, насколько прежде была несчастна. Это поместье, которое, впрочем, скоро станет майоратом, землями нашего Армана, превратилось для меня в землю обетованную. Пустыня осталась позади. Целую тебя тысячу раз, дорогая душенька. Пиши мне, теперь я могу читать без слез рассказы о твоём счастье и твоей любви. До свидания

XXXII

От госпожи де Макюмер к госпоже де л'Эсторад Март 1826 г.

Подумать только, дорогая, мы уже больше трех месяцев не писали друг другу... Моя вина больше, я тебе не ответила; но ты ведь не обидчива, я знаю. Ты ничего не написала мне про сервиз для завтрака, мы с Макюмером истолковали твоё молчание как согласие, и сегодня сервиз, расписанный детскими фигурками, отправится в Марсель; мастера трудились над ним целых полгода. Сегодня утром, когда Фелипе предложил мне пойти взглянуть на посуду, пока её ещё не упаковали, я так и встрепенулась: я вспомнила, что, с тех пор как, прочтя твоё письмо, вместе с тобой почувствовала себя матерью, ничего о тебе не знаю.

Ангел мой, меня извиняет этот гадкий Париж, а ты что можешь сказать в своё оправдание? Свет — это настоящий водоворот. Я ведь уже писала тебе, что в Париже можно быть только парижанкой. Свет здесь душит все чувства, отнимает все время; стоит на минутку забыть — и он поглотит ваше сердце! Какая удивительная находка — фигура Селимены[88] в «Мизантропе» Мольера! Это светская женщина века Людовика XIV, светская женщина нашего времени, светская женщина всех времен. Что случилось бы со мною, если бы не моя путеводная звезда — любовь к Фелипе? Сегодня утром, размышляя об этом, я сказала ему, что он мой спаситель. Вечера мои заняты празднествами, балами, концертами и спектаклями, но дома меня всегда ждут радости любви и её безумства, которые согревают мне сердце и врачуют раны, нанесённые светом. Я обедаю дома только в те дни, когда мы приглашаем так называемых друзей, да в свои приемные дни. Мой приемный день — среда. Я вступила в борьбу с маркизой д'Эспар и герцогиней де Мофриньез, а также со старой герцогиней де Ленонкур. Говорят, что у меня не бывает скучно. Я позволяю себе быть в моде,

видя, как счастлив Фелипе моими успехами. Ему я посвящаю утро, а с четырех часов пополудни и до двух ночи я принадлежу Парижу. Макюмер превосходный хозяин дома: он так умен и серьезен, так подлинно великодушен и так бесконечно мил, что даже женщина, вышедшая за него по расчету, не могла бы его не полюбить. Мои родители уехали в Мадрид: после смерти Людовика XVIII герцогиня без труда добилась от нашего доброго Карла X должности в посольстве для своего очаровательного поэта и увезла его с собой. Мой брат герцог де Реторе удостаивает меня своего благосклонного внимания. Что же до графа де Шолье, то этот странный воин должен век меня благодарить: отец перед отъездом употребил мое состояние на то, чтобы купить ему земли и учредить майорат, приносящий сорок тысяч франков в год; он женится на мадемуазель де Морсоф[89], богатой наследнице из Турени. Чтобы не померкли имена и титулы домов Ленонкур и Живри, король издаст указ, по которому граф де Шолье сможет унаследовать имя, титулы и гербы Ленонкуров-Живри. И правда, нельзя же допустить, чтобы два этих прекрасных герба и благородный девиз «*Faciem semper monstramus*»[90] канули в Лету! У мадемуазель де Морсоф, внучки и единственной наследницы герцога де Ленонкура-Живри, будет, по слухам, более ста тысяч годового дохода. Отец просил только, чтобы на щите герба Ленонкуров был изображен герб рода Шолье. Таким образом мой брат станет герцогом де Ленонкуром. Молодой де Морсоф, который должен был по смерти деда унаследовать его состояние и титул, болен чахоткой и находится при смерти. Свадьбу сыграют будущей зимой, по окончании траура. Говорят, в лице Мадлены де Морсоф я обрету очаровательную родственницу. Так что отец мой, как видишь, рассудил правильно. Такой исход вызвал общее восхищение и объяснил мой брак. В память о бабушке князь де Талейран покровительствует Макюмеру, что довершает наш триумф. Поначалу свет хулил меня, теперь одобряет. И я царю в том Париже, где еще два года назад была последней спицей в колеснице. Все завидуют Макюмеру, ибо я слышу самой остроумной женщиной в Париже. Впрочем, в Париже не меньше двух десятков самых остроумных женщин. Мужчины то нашептывают мне слова любви, то пожирают меня жадными глазами. Право, этот хор страстных и восхищенных голосов так льстит тщеславию, что я начинаю понимать, отчего женщины прилагают столько усилий, чтобы насладиться непрочными и недолговечными светскими радостями. Успех в обществе тешит гордость, тщеславие, самолюбие, словом, все чувства нашего «я». Постоянное обожествление пьянит так сильно, что я уже не удивляюсь, видя, как, закружившись в вихре удовольствий, женщины становятся самовлюбленными, пустыми кокетками. Свет дурманит ум. Светская женщина расточает сокровища ума и души, тратит свое драгоценное время, устремляет порывы своего великодушия на людей, которые платят ей завистью и насмешками; за все ее мужество, жертвы и заботы о том, как быть красивой, нарядной, остроумной, приветливой и милой со всеми, ей платят фальшивой монетой пустых речей, лживых комплиментов и пошлой лести. Все мы знаем, что остаемся внакладе, но все-таки не можем устоять. Ах! прелестная моя козочка, как нуждаюсь я в родственной душе, как дорожу любовью и преданностью Фелипе! как люблю тебя! С какой радостью я поеду в Шантеплер отдохнуть от комедий, разыгрывающихся на улице Бак и во всех прочих парижских салонах! Одним словом, поскольку я только что перечла твое последнее письмо, то, думаю, лучше всего опишу тебе адский парижский рай, если скажу, что здесь женщина не может быть матерью.

До скорого свидания, дорогая, мы пробудем в Шантеплере не более недели и к 10 мая приедем в Крампаду. Наконец-то: ведь мы не виделись уже больше двух лет! Сколько перемен! Обе мы теперь замужние дамы: я — счастливейшая из любовниц, ты — счастливейшая из матерей. Я не писала тебе, моя прелесть, не оттого, что забыла тебя. А что мой крестник, эта обезьянка? Он все такой же красавчик? Могу я им гордиться? Когда мы приедем, ему ведь будет уже целых девять месяцев. Мне бы очень хотелось увидеть, как он пойдет, но Макюмер говорит, что дети начинают ходить не ранее, чем в десять месяцев. Вот уж мы поточим лясы, как, бывало, в Блуа. А я проверю, правду ли говорят, что ребенок портит талию.

P. S. Если захочешь мне ответить, преданная мать, пиши в Шантеплер, мы вот-вот уезжаем.

XXXIII

От госпожи де л'Эсторад к госпоже де Макюмер

Ах, дитя мое, если ты когда-нибудь станешь матерью, ты узнаешь, легко ли выкроить время для писем в первые девять месяцев. Мы с Мэри (это моя няня-англичанка) совершенно сбились с ног. Правда, я не сказала тебе, что все стараюсь делать сама. Я загодя своими руками сшила приданое, сама вышила и отделала чепчики. Я раба, душенька, я не принадлежу себе ни днем ни ночью. Я кормлю Армана Луи всегда, когда он хочет, а он обжора; его то и дело приходится перепеленывать, купать и переодевать; вдобавок, мне так нравится смотреть, как он спит, и петь ему песни, а в хорошую погоду я выношу его на руках в сад — и у меня совсем не остается времени подумать о себе. Словом, ты была занята светом, а я — моим ребенком, нашим ребенком! Какой богатой и полной жизнью я живу! О дорогая, я так тебя жду — сама увидишь! Боюсь только, что у Армана начнут резаться зубки, и он встретит тебя криком и плачем. Пока он плачет редко, ведь я всегда рядом. Дети кричат только от того, что им что-то нужно, а мы не понимаем, что именно, я же стараюсь угадывать все его желания. О ангел мой, как обогатилась я и как ты обеднила себя, растрачивая сокровища своей души в угоду свету! Приезжай — твоя затворница-подруга ждет тебя с нетерпением. Я хочу услышать твое мнение о л'Эстораде, а ты, верно, хочешь узнать, как мне покажется Макюмер. Упреди меня о своем приезде. Мои мужчины хотят выехать навстречу именитым гостям. Приезжай же, королева, Парижа, приезжай поскорее в нашу скромную бастиду, где тебя ждут и любят!

XXXIV

От госпожи де Макюмер к виконтессе[91] де л'Эсторад Апрель 1826 г.

Прочитав адрес на конверте, ты узнаешь, дорогая, что мои хлопоты увенчались успехом. Теперь твой свекор — граф де л'Эсторад. Я не хотела уезжать из Парижа, не исполнив твоей просьбы, и пишу тебе в присутствии министра юстиции, который приехал сообщить, что указ подписан.

До скорого свидания.

XXXV

От госпожи де Макюмер к виконтессе де л'Эсторад Марсель, июль.

Мой внезапный отъезд удивит тебя; мне очень стыдно, но я не привыкла лгать и очень тебя люблю, поэтому скажу тебе как на духу: все дело в том, что я ужасно ревнива. Фелипе слишком засматривался на тебя. Ваши беседы у подножия твоей скалы были для меня сущей пыткой, злили меня, портили мой характер. Твоя подлинно испанская красота, должно быть, напомнила Фелипе родину и красавицу Марию Эредиа, к которой я тоже ревную, ибо ревную

и к прошлому. Твои чудесные черные волосы, прекрасные карие глаза, все твое лицо, где следы былых горестей лишь подчеркивают счастье материнства, как тень делает еще ярче сияние солнца; полуденная свежесть твоей кожи, которая белей моей, хотя я и блондинка; твои зрелые формы, утопающая в кружевах, похожая на сладостный плод грудь, в которую впивается мой очаровательный крестник, — все это ранило мне глаза и сердце. Напрасно я вплетала себе в волосы васильки, напрасно перевивала свои блеклые белокурые пряди алыми лентами, — все мои прелести меркли рядом с Рене, какой она стала в благословенной Крампаде.

Вдобавок Фелипе с такой завистью глядел на малыша, что я порой начинала его ненавидеть. Да, я хотела бы, чтобы это бесцеремонное существо, наполнившее весь дом своим криком и смехом, было моим. Я прочла во взгляде Макюмера сожаление и две ночи проплакала тайком от него. Жизнь в твоём доме стала для меня пыткой. Ты слишком красивая женщина и слишком счастливая мать, чтобы я могла оставаться рядом с тобой. Ах, притворщица, и ты еще жаловалась! Во-первых, твой л'Эсторад весьма недурен собой, он приятный собеседник, его черные с проседью волосы очень хороши, у него красивые глаза, а в манерах есть нечто неуловимо притягательное. Я уверена, что рано или поздно он обязательно станет депутатом от департамента Буш-дю-Рон; в палате ему обеспечен успех, ибо во всем, что касается его карьеры, я всегда к вашим услугам. Тяготы изгнания сообщили ему спокойный, чинный вид, а в политике это — половина дела. По моему мнению, дорогая, для политика самое главное — солидность. Поэтому я убеждаю Макюмера, что из него вышел бы великий государственный муж.

Одним словом, я очень рада, что ты счастлива, и, убедившись в этом своими глазами, лечу прямо в мой милый Шантеплер и не приглашу тебя к нам, покуда у меня не родится такое же прелестное дитя, как твой Арман. Брани меня сколько хочешь: я поступила нелепо, гадко, безрассудно. Увы! все мы так себя ведем, когда ревнуем. Я не обиделась на тебя, но я страдала и бежала, спасаясь от этих страданий, так что ты должна меня простить. Если бы мы прогостили у вас еще два дня, я совершила бы какую-нибудь глупость. Да, я поступила бы недостойно. Несмотря на досаду, которая грызла мне сердце, я рада, что побывала у тебя, рада, что увидела тебя такой прелестной и цветущей, рада, что счастливое материнство не помешало тебе остаться моей подругой, как счастливое супружество не помешало мне остаться твоей. В Марселе, едва отъехав от вас, я уже ощутила гордость за тебя, я горжусь, что ты станешь образцовой матерью семейства. Как верно ты угадала свое призвание! Мне кажется, тебе на роду написано быть не столько любовницей, сколько матерью, меж тем как я создана не столько для материнства, сколько для любви. Есть женщины, которым не дано ни то ни другое, они либо слишком уродливы, либо слишком глупы. Хорошая мать и возлюбленная супруга должны всегда сохранять ум и здравый смысл, должны неизменно выказывать самые высокие женские достоинства. О! я за тобой внимательно наблюдала, моя кошечка, и, как ты догадываешься, не могла не восхищаться тобой. Да, твои дети будут счастливы и хорошо воспитаны, ты будешь холить и лелеять их, будешь согревать их теплом своей души.

Луи ты можешь сказать правду о причинах нашего неожиданного отъезда, но придумай какой-нибудь благовидный предлог для его отца (он, кажется, у вас за управляющего?) и особенно для твоих родных (они у тебя — настоящие Гарлоу[92] из Прованса). Фелипе не знает, почему я решила уехать, и никогда не узнает. Если он спросит, я что-нибудь придумаю. Скажу, например, что ты ревновала Луи ко мне. Прости мне эту невинную ложь. Прощай, я пишу тебе второпях, чтобы ты получила это письмо еще до завтрака; кучер, который обещался тебе его доставить, потягивая вино, ждет, пока я кончу. Крепко поцелуй за меня моего милого маленького крестника. Приезжай в Шантеплер в октябре, я буду одна: Макюмер собирается на Сардинию, он задумал большие перемены в своих владениях. Во всяком случае, таков его план сейчас, но строить планы на будущее так, словно он принадлежит самому себе, с его стороны весьма дерзко. Он это знает и потому всегда робеет, говоря мне

о своих намерениях.

XXXVI

От виконтессы де л'Эсторад к баронессе де Макюмер

Дорогая моя, не могу описать тебе, как мы поразились, когда за завтраком нам доложили о вашем отъезде и особенно когда кучер, который вез вас в Марсель, передал мне твое безумное послание. Ах ты злюка, ведь в этих беседах у подножия скалы на скамье Луизы мы только и говорили, что о твоем счастье, и ревновала ты совершенно напрасно. Ingrata[93], я приговариваю тебя вернуться по первому моему зову. В этом мерзком письме, нацарапанном на трактирной бумаге, ты не сказала даже, где вы остановились, поэтому мне приходится писать тебе в Шантеплер.

Выслушай меня, дорогая моя названная сестра, и, главное, помни, что я желаю тебе счастья. Твоего мужа, моя Луиза, отличает глубина чувств и мыслей, которая внушает такое же почтение, как его природная серьезность и благородство манер; к тому же в его некрасивом, но таком умном лице, в его бархатных глазах столько внутренней силы, что мне нелегко было сблизиться с ним, а без этого ведь невозможно до конца понять друг друга. Я уж не говорю о том, что этот человек — бывший премьер-министр — прямо-таки молится на тебя, но он глубоко прячет свои чувства, и, чтобы выведать у этого неприступного дипломата тайны его сердца, мне потребовалось много ловкости и хитрости; но в конце концов я незаметно для него открыла множество вещей, о которых моя душенька и не подозревает. Из нас двоих я олицетворяю Разум, ты — Воображение; я воплощаю суровый Долг, ты — безрассудную Любовь. Эта противоположность нрава, заметная только нам двоим, волею Провидения проявилась и в наших судьбах. Я — скромная деревенская виконтесса, чрезвычайно честолюбивая, стремящаяся, чтобы моя семья достигла богатства и успеха, а ты — жена Макюмера, о котором все знают, что он — бывший герцог Сориа, да и сама ты тоже из герцогского рода и царишь в Париже, где трудно царствовать даже королям. У тебя немалое состояние, которое Макюмер удвоит, если выполнит свои планы и осуществит преобразования в сардинских владениях, — у нас в Марселе[94] хорошо известны природные богатства этого края. Сознайся, что если уж кому из нас можно позавидовать, то не мне, а тебе! Благодарение Богу, в нас с тобой довольно великодушия, чтобы ставить дружбу выше пошлых и мелочных счетов. Я знаю: тебе стыдно, что ты уехала. Но, несмотря на твое бегство, тебе придется выслушать все, что я собиралась сказать тебе сегодня под скалой. Умоляю тебя, прочти мое письмо внимательно, оно касается не столько Макюмера, сколько тебя, хотя в моей отповеди речь пойдет и о нем тоже. Во-первых, душенька моя, ты его не любишь. Не пройдет и двух лет, как это безграничное обожание тебе наскучит. Ты всегда будешь видеть в Фелипе не мужа, а любовника, которым ты можешь беззаботно играть, как играют своими любовниками все женщины. Ты не уважаешь его, не испытываешь к нему того глубокого почтения, той робкой нежности, какую любящая женщина питает к мужчине, ставшему ее Богом. О! я хорошо изучила любовь, мой ангел, и не раз бросала лот в глубины своей души. И вот, приглядевшись к тебе, я поняла: ты его не любишь. Да, дорогая королева Парижа, как всем королевам, тебе однажды захочется, чтобы над тобой властвовали, чтобы тебя покорила сильная мужчина, который вместо того, чтобы поклоняться тебе, устраивал бы тебе сцены ревности и выкручивал тебе руки. Макюмер слишком страстно тебя любит, он, не способный ни в чем тебе отказать, никогда не сможет с тобой справиться. Один твой взгляд, одно ласковое слово заставляет его отступить от самого твердого решения. Рано или поздно ты начнешь его презирать за то, что он любит тебя слишком сильно. Увы! он тебя балует, как баловала тебя я, когда мы были в монастыре, потому что ты — одна из самых обольстительных и умных женщин в мире. Хуже всего, что ты искренна, ведь в свете нам

часто приходится лгать ради нашего собственного счастья, ты же никогда не опустишься до лжи. Свет, например, требует, чтобы жена ни в коем случае не показывала своей власти над мужем. С точки зрения общества, муж не должен казаться влюбленным в жену, как бы он ее ни любил, а жена не должна играть роль возлюбленной. Между тем вы оба нарушаете этот закон. Дитя мое, судя по твоим рассказам, свет менее всего склонен прощать людям их счастье; счастливицы должны скрывать свое блаженство. Но дело даже не в этом. Любовники равны между собой, а муж и жена, по моему мнению, должны избегать такого равенства, если не хотят нарушить приличия и навлечь на себя непоправимые несчастья. Ничтожный мужчина ужасен, но еще ужаснее мужчина уничтоженный. Еще немного, и Макюмер по твоей милости станет тенью мужчины: он лишится воли, перестанет быть самим собой и превратится в неодушевленный предмет, приспособленный для твоих нужд; ты поглотит его, и вместо двоих в вашей супружеской чете останется только один человек, неизбежно неполноценный; ты будешь страдать, но, когда ты соизволишь отдать себе отчет в том, что происходит, болезнь уже станет неизлечимой. Сколько бы мы ни старались, все напрасно: женскому полу некогда не приобрести качеств, которые отличают мужчину, а эти качества не просто нужны, они необходимы для семьи. Несмотря на свое ослепление, Макюмер уже сейчас видит, что его ждет, он чувствует, что любовь унижает его. Я полагаю, он затем и решил отправиться на Сардинию, что хочет попытаться в разлуке вновь стать самим собой. Ты без колебаний пользуешься властью, которой облакает тебя любовь. Власть эта видна во всем: в движениях, во взгляде, в голосе. Ах, дорогая, твоя матушка права: ты безрассудная куртизанка. Ты, надеюсь, не сомневаешься, что я гораздо умнее Луи, но разве ты хоть раз слышала, чтобы я с ним спорила? Разве на людях я не держу себя с ним как почтительнейшая жена с главой семьи? Притворство, скажешь ты. Да, я даю ему полезные советы, делюсь с ним своими мнениями и мыслями наедине, за дверями спальни, но могу тебе поклясться, ангел мой, что даже и тогда я вовсе не выказываю своего превосходства. Если бы я не оставалась втайне и въяве покорной женой, он не обрел бы веры в себя. Дорогая моя, подлинная благотворительность требует умения держаться в тени и не давать нуждающемуся в помощи почувствовать себя ниже своего благодетеля, и это скрытое самопожертвование полно особенной сладости. Поэтому я горжусь, что мне удалось ввести в заблуждение даже тебя, и ты вместо меня похвалила Луи. Впрочем, благополучие, счастье и надежда за два года вернули ему все, что горе, невзгоды, одиночество и сомнения у него отняли. Итак, насколько я могла заметить, ты сейчас любишь Фелипе ради себя самой, а не ради него. В том, что сказал тебе твой отец, есть доля правды: под весенними цветами твоей любви прячется себялюбие светской дамы. Ах, дитя мое, только оттого, что я тебя очень люблю, я нахожу смелость высказать тебе эти суровые истины. Позволь пересказать тебе конец одной из наших бесед с бароном, обещаю, что никогда ни полсловом не обмолвишься ему об этом. Мы наперебой восторгались тобой, ибо он убедился, что я люблю тебя, как сестру, и вот, незаметно вызвав его на откровенный разговор, я сказала: «Луизе еще не приходилось бороться с судьбой, которая была к ней по-матерински благосклонна и баловала ее; боюсь, что Луизу ждут большие несчастья, если вы по-прежнему будете баловать ее, как любовник, и не будете с ней строги, как отец». — «Да разве я на это способен?» — ответил он и осекся, как человек, у которого под ногами разверзлась пропасть. Этот возглас многое мне объяснил. Если бы ты не уехала так поспешно, через несколько дней Макюмер стал бы еще откровеннее.

Ангел мой, когда этот человек обессилеет, когда он пресытится наслаждениями, когда он ощутит себя в твоём присутствии если не униженным, то утратившим достоинство, он испытает угрызения совести и раскаяние, оскорбительное для тебя, потому что ты будешь чувствовать себя его виновницей. В конце концов ты начнешь презирать человека, которого не научилась уважать. Подумай об этом. Презрение — первая ступень женской ненависти. Сердце твое благородно, поэтому ты никогда не забудешь жертв, на которые не поспешил ради тебя Фелипе, но ему нечего будет предложить тебе после того, как на брачном пиру он, можно сказать, обрек себя на заклятие; горе мужчине или женщине, которые ничего не приберегают на потом! В этом все дело. Уж не знаю, к нашему стыду или к нашей чести, но

мы требовательнее всего к тем, кто нас любит.

О Луиза, переменись, еще есть время. Если ты будешь обходиться с Макюмером так, как я обхожусь с л'Эсторадом, ты сможешь возвратиться к жизни льва, дремлющего в этом поистине великом человеке. Можно подумать, будто ты хочешь отомстить ему за его превосходство. Разве ты не вправе будешь гордиться, если употребишь свою власть не ради собственного удовольствия, но ради того, чтобы сделать великого человека гениальным, как я делаю обыкновенного человека выдающимся?

Если бы ты не уехала, я все равно написала бы тебе это письмо; в разговоре ты, боюсь, подавила бы меня бойкостью и остроумием, а читая письмо, ты непременно задумаешься о будущем. Милая душенька, у тебя есть все, что нужно для счастья, не омрачай же своего блаженства и возвращайся в ноябре в Париж. Пустые хлопоты и светские увеселения, на которые я прежде сетовала, необходимы для вашего существования, ибо способны хоть немного отвлечь вас друг от друга. Замужняя женщина должна сохранять в себе кокетство. Мать семейства, которая все время отдает семье и всегда к услугам своих близких, рискует надоесть. Если у меня будет много детей, а в этом — залог моего счастья, то клянусь тебе, что как только они немного подрастут, я буду по несколько часов в день проводить в одиночестве: нужно, чтобы даже твои дети ждали встречи с тобой. До свидания, дорогая моя ревнивица! Знаешь, заурядной женщине польстил бы твой порыв ревности, меня же он лишь огорчает, ибо я — только любящая мать и искренняя подруга. Целую тебя тысячу раз. Можешь говорить что хочешь в оправдание своего отъезда: ты не уверена в Фелипе, но я-то в Луи уверена.

XXXVII

От баронессы де Макюмер к виконтессе де л'Эсторад Генуя.

Милая моя Рене, мне вздумалось повидать Италию, и я в восторге, что Макюмер отложил поездку на Сардинию и отправился в это путешествие вместе со мной.

Италия чарует и восхищает меня. Здешние церкви, и в особенности часовни, имеют такой приветный и кокетливый вид, что могут обратить в католичество любую протестантку. Макюмера встретили с распростертыми объятиями: все радуются приобретению такого подданного. Если бы я захотела, Макюмер мог бы стать сардинским послом в Париже, ибо при дворе я имела большой успех^[95]. Если захочешь мне написать, посылай письма во Флоренцию. У меня не хватит времени нарисовать все в подробностях, я расскажу тебе о нашем путешествии, как только ты приедешь в Париж. В Генуе мы пробудем только неделю. Отсюда мы через Ливорно отправимся во Флоренцию, проведем месяц в Тоскане и месяц в Неаполе, чтобы к ноябрю поспеть в Рим. В первой половине декабря мы посетим Венецию, а оттуда через Милан и Турин вернемся в Париж; это будет уже в январе. Мы путешествуем как влюбленные; кругом новые места, так и кажется, будто у нас — свадебное путешествие. Макюмер совсем не знал Италии, а начали мы с изумительной, поистине волшебной горной дороги, соединяющей Ниццу с Генуей. До свидания, дорогая. Не сердись, если я не буду тебе писать; у меня нет ни одной свободной минутки; я успеваю только смотреть и наслаждаться. Но я не буду пересказывать тебе свои впечатления, пока память не придаст им окончательной формы.

XXXVIII

От виконтессы де л'Эсторад к баронессе де Макюмер Сентябрь.

Дорогая моя, в Шантеплере тебя ждет довольно длинный ответ на письмо, которое ты написала мне из Марселя. Ваше путешествие нимало не рассеяло моих страхов, о которых говорится в этом послании, поэтому я прошу тебя распорядиться, чтобы тебе его переслали.

По слухам, министерство решило распустить нынешнюю палату депутатов. Это прискорбно для короля, который хотел использовать последнюю сессию этой преданной короне палаты, чтобы принять законы, необходимые для укрепления своей власти, но еще прискорбнее для нас: Луи исполнится сорок лет только в конце 1827 года. К счастью, мой отец соглашается стать депутатом, а когда потребуется, подаст в отставку.

Твой крестник уже пошел; жаль, что тебя при этом не было; он совершенно прелестен и начинает делать осмысленные движения, которые говорят, что это не просто орган сосания, не зверек, но маленький человечек: он так осмысленно улыбается. Мне повезло: у меня столько молока, что я смогу кормить Армана до декабря. После года уже не стоит. Кто долго сосет, тот дурнем слывет. Я верю народной мудрости. Ты, должно быть, имеешь в Италии огромный успех, моя белокурая красавица. Целую тебя тысячу раз.

XXXIX

От баронессы де Макюмер к виконтессе де л'Эсторад Рим, декабрь.

Я получила твое мерзкое послание — по моей просьбе наш управляющий переслал его из Шантеплера сюда. О, Рене!.. Не стану высказывать тебе свое возмущение, расскажу только о том, какие последствия произвело твое письмо. Мы были на балу, который дал в нашу честь посол. Я явилась во всем блеске красоты и молодости, и Макюмер так восторгался мной, что и описать невозможно. Когда мы вернулись, я прочла ему твою ужасную отповедь; я читала, обливаясь слезами и рискуя показаться уродливой. Мой милый абенсераг упал к моим ногам, уверяя меня, что все это — вздорная болтовня; он увлек меня на балкон, откуда открывается вид на залитый лунным светом Рим, и речи его были достойны картины, представшей нашему взору. Мы уже говорим по-итальянски, и его чувство, выраженное на этом нежном и страстном наречии, показалось мне неземным. Фелипе говорил, что даже если твое предсказание сбудется, счастливая ночь со мной или одно из наших сладостных пробуждений для него дороже жизни. Если так, то он уже прожил тысячу лет. Он хочет, чтобы я оставалась его возлюбленной, и мечтает только о том, чтобы сохранить титул моего любовника. Он уверял, что так счастлив и горд, чувствуя себя моим избранником, что, если бы Господь предложил ему на выбор: либо стать отцом пятерых детей и прожить еще тридцать лет так, как советуешь ты, либо продолжать милую нашему сердцу жизнь, полную любви и наслаждений, и прожить еще только пять лет, он без колебаний выбрал бы мою любовь и скорую смерть. Он говорил тихо, голова моя покоилась у него на плече, он обнимал меня за талию — и вдруг тишину разорвал крик летучей мыши: вероятно, она попала в лапы сове. Этот предсмертный вопль произвел на меня такое тяжелое впечатление, что я едва не лишилась чувств, и Фелипе отнес меня на постель. Но не тревожься: хотя это предзнаменование больно отозвалось в моей душе, сегодня я чувствую себя прекрасно. Утром я встала перед Фелипе на колени, сжала его руки и, глядя на него снизу вверх, сказала: «Мой ангел, я и вправду дитя; быть может, Рене права и я люблю в тебе только твою любовь, но я хочу, чтобы ты знал: в моем сердце нет места другому чувству и, значит, по-своему я люблю тебя. Если в моих манерах, в ничтожнейших моих поступках, в потаенных уголках моей души есть что-либо, обманувшее твои надежды, не молчи! скажи мне об этом! Я

с радостью подчинюсь тебе, и свет твоих глаз станет моей путеводной звездой. Рене напугала меня, а ведь она меня так любит!»

Макюмер не мог вымолвить ни слова мне в ответ и молча заливался слезами. Благодарю тебя, моя Рене: я не знала, как сильно мой прекрасный, мой царственный Макюмер меня любит. Рим — город любви. Когда вас сжигает страсть, спешите в Рим и наслаждайтесь ею: в этом краю искусство и Бог — пособники любви. В Венеции мы встретимся с герцогом и герцогиней Сория. Если станешь мне писать, посылай письмо в Париж: через три дня мы покидаем Рим. Бал у посла был прощальным.

P.S. Дорогая моя глупышка, твое письмо доказывает, что любовь известна тебе только в теории. Знай же, что любовь — закон, имеющий столь различные проявления, что никакая теория не может ни охватить их, ни подчинить себе. Это — для сведения моего милого доктора в корсете.

XL

От графини де л'Эсторад к баронессе де Макюмер Январь 1827 г.

Мой отец выбран депутатом, мой свекор умер, а я снова в тягости — вот главные события, ознаменовавшие конец прошлого года. Говорю тебе все сразу, чтобы поскорее рассеять мрачное впечатление от траурной печати на письме.

Душенька моя, письмо, которое ты написала мне из Рима, ужаснуло меня. Вы оба как дети. Фелипе либо дипломатично притворяется, либо любит тебя как куртизанку, на которую тратят состояние, хотя и знают, что она неверна. Но довольно об этом. Раз вы почитаете мои советы вздорной болтовней, я буду молчать. Но позволь сказать тебе, что, размышляя о наших с тобой судьбах, я вывела жестокое правило: хотите быть любимой? не любите.

Дорогая моя, три года назад Луи стал членом генерального совета и кавалером ордена Почетного легиона. Нынче мой отец, которого ты, вероятно, увидишь в Париже во время сессии, попросил произвести зятя в офицеры этого ордена, так вот, сделай милость — порадей об этом пустяке и поговори насчет Луи с каким-нибудь мамамуши. Главное, не вздумай помогать моему почтеннейшему батюшке, графу де Мокомбу, который мечтает о титуле маркиза; побереги свои благодеяния для меня. Когда Луи станет депутатом, а это произойдет будущей зимой, мы приедем в Париж и тут уж пустим в ход все средства, чтобы получить доходное место, которое позволит нам жить на его жалованье и копить доходы с наших поместий. Мой отец сочувствует правым и центру, ему нужен только титул; род наш знаменит со времен короля Рене[96], и Карл X вряд ли откажет дворянину, носящему имя Мокомб, но я боюсь, как бы отцу не вздумалось просить о какой-нибудь милости для моего младшего брата, а пока он хлопочет о титуле маркиза, ему не до родственников.

15 января.

Ах, Луиза, я словно побывала в аду! Если у меня хватает смелости говорить с тобой о моих страданиях, то только потому, что ты для меня — мое второе «я». Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь мысленно вернуться к этим роковым пяти дням! Меня охватывает дрожь при одном только слове «судороги». Миновало не пять дней, а пять мучительных столетий. Пока мать не пройдет через эту пытку, она не знает, что такое страдание. Мне казалось счастьем не иметь детей, и я завидовала тебе — вот до какого безумия я дошла!

Накануне страшного дня было душно и, пожалуй, даже жарко; мне казалось, что эта погода не на пользу малышу. Он, обыкновенно такой тихий и ласковый, куксился, капризничал, начинал играть и тут же ломал свои игрушки. Быть может, все болезни у детей начинаются с того, что у них портится настроение. Я обратила внимание на странное ожесточение Армана, заметила, что личико у него покрылось красными пятнами, но приписала все неприятности тому, что у бедняжки режутся сразу четыре коренных зуба. Поэтому я уложила его спать подле себя и то и дело просыпалась, чтобы взглянуть на него. Ночью его слегка лихорадило, но меня это не обеспокоило; я по-прежнему считала, что все дело в зубках. Под утро он сказал «мама» и жестом попросил пить, причем голос у него был такой пронзительный, движения такие резкие, что я вся похолодела. Я вскочила с постели и приготовила ему сладкое питье. Представь себе мой ужас, когда я протянула ему чашку, а он даже не пошевелился и все повторял «мама, мама» каким-то чужим голосом, вообще не похожим на человеческий. Я взяла его за ручку, но она не слушалась, не сгибалась. Тогда я поднесла ему чашку к губам; бедный малыш сделал два или три судорожных глотка, вода страшно заклокотала у него в горле. Наконец он отчаянно вцепился в меня, и я увидела, как глаза его, словно под действием какой-то внутренней силы, закатились, члены одеревенели. Я страшно закричала. Прибежал Луи. «Доктора! Доктора! Он умирает!» — крикнула я. Луи помчался за доктором, а бедный Арман, цепляясь за меня, опять повторил: «Мама! Мама!» То был последний миг, когда он понимал, что мать рядом с ним. Тоненькие жилки у него на лбу вздулись, и его свело судорогой. Целый час до приезда докторов я держала Армана на руках. Этот полный жизни бело-розовый малыш, этот цветок, радость моя и гордость, окоченел и стал, как деревяшка. А глаза! когда я вспоминаю их, у меня мороз идет по коже. Почерневший, скорчившийся, судорожно вцепившийся в меня, мой милый Арман не издавал ни звука и походил на мумию. Доктор, вернее, два доктора, которых Луи привез из Марселя, кружили вокруг моего мальчика, как зловещие птицы, приводя меня в трепет. Один говорил, что у него воспаление мозга, другой считал, что это обычные детские судороги. Наш местный доктор показался мне умнее всех, потому что не говорил ничего. «Это воспаление», — твердил первый. «Это зубы», — уверял второй. Наконец они сошлись на том, чтобы поставить ему на шейку пиявки и положить на лобик лед. Я думала, что умру. Быть рядом, видеть синевато-черный труп, онемелый и неподвижный, вместо шумного и резвого мальчика! Когда в нежную шейку, которую я столько целовала, впились пиявки, а на очаровательную головку водрузили пузырь со льдом, в голове у меня помутилось, и я нервно захохотала. Чтобы положить лед, пришлось остричь его чудесные волосы, которыми мы так любовались и которые ты гладила. Судороги повторялись каждые десять минут, как родовые схватки, и бедный малыш корчился, то бледнея, то синея. Его ручки и ножки, прежде такие пухлые, стукались друг об друга, как деревянные. Еще недавно это бесчувственное тельце улыбалось, лепетало, называло меня мамой. Стоило мне вспомнить об этом, и нечеловеческое страдание обрушивалось на мою душу, как шторм обрушивается на море; я физически чувствовала все узы, связующие мое сердце с сыном. Матушка моя, которая могла бы мне помочь, дать совет или утешить, была в отъезде. Наверное, матери лучше разбираются в судорогах, чем доктора. Четыре дня и четыре ночи мы провели между жизнью и смертью, и вот, когда я сама была уже чуть жива, доктора решили прибегнуть к ужасной разъедающей кожу мази! О! язвы на теле моего маленького Армана, который пять дней назад играл, улыбался, пытался выговорить «крестная»! Я отказалась, я предпочла положиться на природу. Луи бранил меня, он верил докторам. Мужчина есть мужчина. Но в этой страшной болезни бывают минуты, когда ребенок кажется мертвым; в одну из таких минут средство, вызывавшее у меня отвращение, представилось мне спасением. Милая моя Луиза, кожа его стала такой сухой, такой шершавой, такой грубой, что мазь не подействовала. Я зарыдала и рыдала так долго, что все изголовье кровати стало мокрым от моих слез. А доктора тем временем обедали! Оставшись одна, я отбросила прочь все снадобья, как безумная схватила Армана на руки, прижала к груди и прижалась лбом к его лобику, моля Бога отдать малышу мою жизнь и пытаясь вдохнуть в него силы. Так я продержала его несколько мгновений, готовая умереть, лишь бы не разлучаться с ним ни в жизни, ни в смерти. И вдруг я почувствовала, как члены его помягчели, судорога отпустила моего малыша, он зашевелился,

щечки его порозовели! Я закричала, как тогда, когда он заболел, я показала им Армана.

«Он спасен!»[97] — воскликнул старший из докторов.

Ах! какие слова! в них звучала райская музыка! И правда, через два часа Арман ожил, но я совершенно обессилела, и только бальзам радости уберег меня от болезни. Господи! какими страданиями привязываешь ты дитя к матери! какими гвоздями вбиваешь любовь к нему нам в сердце! Разве не была я преданной матерью, я, плакавшая от радости, когда мое дитя начало лепетать и сделало первые шаги, я, часами наблюдавшая за ним, дабы лучше исполнять сладостные материнские обязанности! Зачем было обрушивать на меня все эти ужасы, зачем являть столь страшные картины мне, которая поклоняется ребенку как божеству? Сейчас, когда я пишу тебе, наш Арман играет, кричит, смеется. Я все время пытаюсь отыскать причину этой ужасной детской болезни — ведь я снова жду ребенка. В чем тут дело? В режущихся зубках или в особой работе, совершающейся в мозгу? Быть может, судороги указывают на несовершенство нервной системы ребенка? Все это тревожит меня сейчас и внушает тревогу за будущее. Наш деревенский доктор считает, что всему виной нервное возбуждение, вызванное прорезыванием зубов. Я отдала бы все свои зубы, чтобы зубки нашего малыша уже прорезались. Когда я вижу, как из его воспаленной десны показывается белая жемчужинка, меня прошибает холодный пот. Судя по ангельскому терпению, с каким мой мальчик переносит страдания, у него будет мой характер; он молчит и только бросает на меня взгляды, которые разрывают мне сердце. Медицина почти ничего не знает о причинах этих столбняков, которые внезапно начинаются и так же внезапно проходят, — их невозможно ни предвидеть, ни облегчить. Повторяю, мне ясно лишь одно: видеть свое дитя в конвульсиях — сущий ад для матери! С каким жаром я его целую! Как подолгу ношу на руках! Через полтора месяца я должна родить, и я страдала вдвойне: мне было страшно и за будущего ребенка! До свидания, дорогая моя, любимая Луиза, не мечтай о детях, вот мое последнее слово.

XLI

От баронессы де Макюмер к графине де л'Эсторад Париж.

Бедный ангел, узнав о твоих муках, мы с Макюмером простили тебе все гадости, которые ты нам наговорила. Я содрогалась, читая описание этой двойной пытки, и теперь не так горюю, что у меня нет детей. Спешу сообщить тебе, что Луи уже офицер Почетного легиона и может носить розетку. Ты хотела девочку, я верю, что все выйдет по-твоему, счастливица Рене! Мой брат женился на мадемуазель де Морсоф; свадьбу сыграли сразу по нашем возвращении. Наш очаровательный король — он и вправду очень мил — пожаловал моему брату право наследовать должность обер-камергера, которую занимает его тесть. Где титул, там и должность, сказал он герцогу де Ленонкуру-Живри. Он повелел только, чтобы на щите гербы Морсофов и Ленонкуров были изображены рядом.

Мой отец был тысячу раз прав. Без моего состояния все это было бы невозможно. Мои родители приехали из Мадрида на свадьбу и после бала, который я даю завтра в честь новобрачных, возвращаются обратно. Так что масленицу мы проведем великолепно. Герцог и герцогиня Сория сейчас в Париже; их присутствие слегка тревожит меня. Мария Эредиа, бесспорно, одна из самых красивых женщин в Европе, и мне не нравится, как Фелипе на нее смотрит. Поэтому я стала выказывать ему еще больше любви и нежности. «Она никогда бы не любила тебя так сильно!» — я остерегаюсь произносить эти слова вслух, но они написаны в каждом моем взгляде, в каждом движении. Я чудо как хороша и кокетлива. Вчера госпожа

де Мофриньез сказала мне: «Милое дитя, перед вами все должны сложить оружие!» Вдобавок я блистаю остроумием, так что рядом со мной герцогиня Сория должна казаться Фелипе просто глупой испанской короной. Пожалуй, даже к лучшему, что у меня нет маленького абенсерага: герцогиня скоро должна родить и, наверно, подурнеет; если родится мальчик, его назовут Фелипе в честь изгнанника. По иронии судьбы я снова стану крестной матерью. До свидания, дорогая. В этом году мы рано уедем в Шантеплер: наше путешествие обошлось слишком дорого; я покину Париж в конце марта и буду скромно жить в Ниверне. К тому же Париж мне наскучил. Фелипе, так же как и я, стосковался по нашему прекрасному уединенному парку, по зеленым лугам и Луаре с ее золотыми песками, не похожей ни на одну реку в мире. После пышной и суетной Италии сладостно вернуться в Шантеплер — ведь великолепие в конце концов прискучивает, а взор любимого человека прекраснее любого саро d'opera[98] и bel quadro[99]. Приезжай к нам, я больше не буду ревновать. Можешь сколько угодно опускать свой лот в сердце моего Макюмера, исторгать из его груди признания, пробуждать в его душе тревогу, — я смело вверяю тебе моего мавра. После сцены в Риме Фелипе стал любить меня еще сильнее; вчера он сказал мне (он читает это через мое плечо), что жена его брата, любовь его юности, его бывшая невеста, Мария Эредиа, глупа. А я, дорогая, я хуже последней комедиантки: я обрадовалась его словам и сказала в ответ, что Мария Эредиа плохо говорит по-французски: произносит «пьят» вместо «пять» и «иа» вместо «я»; она, конечно, хороша собой, но лишена грации и не обладает ни малейшей гибкостью ума. Видно, что комплименты ей внове, она выслушивает их прямо-таки с изумлением. Фелипе с его характером бросил бы ее через два месяца после свадьбы. Герцог Сория, дон Фернандо, ей под стать; он великодушен, но по всему видно, что он просто балованный ребенок. Я могла бы позлословить, чтобы посмешить тебя, но не стану, а ограничусь лишь прощальными поцелуями — самыми искренними и нежными.

XLII

От Рене к Луизе

Моей дочурке два месяца; крестной матерью стала моя матушка, а крестным отцом — старый двоюродный дедушка Луи. Малышку назвали Жанна Атенаис.

Как только смогу, я навещу вас в Шантеплере, раз кормящая мать вас не пугает. Твой крестник уже знает, как тебя зовут; он говорит «Матумер», потому что не выговаривает букву «к»; ты будешь от него в восторге: у него уже полный рот зубов, он ест мясо, как большой, он непоседа и носится как угорелый. Но я все еще тревожусь за него и в отчаянии оттого, что не могу быть при нем неотлучно: доктора велют мне беречь себя и еще сорок дней не вставать с постели. Увы, дитя мое, к родам привыкнуть невозможно! Все боли и страхи возвращаются. Тем не менее (только не показывай мое письмо Фелипе!) эту девочку я зачинала не так равнодушно, так что она, возможно, затмит твоего любимца Армана.

Мой отец нашел, что Фелипе похудел и моя милая душенька тоже. Но ведь герцог и герцогиня Сория уехали, и у тебя не осталось ни малейшего повода для ревности! Не скрываешь ли ты от меня каких-нибудь горестей? Твое письмо было короче и суше обыкновенного. Или это просто каприз моей милой капризницы?

Ну вот, я уже провинилась, моя сиделка бранится, что я слишком долго пишу, а мадемуазель Атенаис де л'Эсторад тем временем проголодалась. До свидания, пиши мне длинные, подробные письма.

От госпожи де Макюмер к госпоже де л'Эсторад

Дорогая моя Рене, впервые в жизни я плакала в одиночестве, сидя на деревянной скамье под ивой, на берегу большого пруда в Шантеплере, в виду прелестного пейзажа, который ты украсишь, когда приедешь, ибо для довершения картины тут не хватает только резвящихся детей. Твоя плодовитость навела меня на печальные размышления: скоро три года, как я замужем, а у меня так и нет детей. О! думала я, даже если мне суждено страдать во сто крат сильнее, чем страдала Рене, когда производила на свет моего крестника, даже если мне суждено увидеть мое дитя в судорогах, Господи, пошли мне такого же ангелочка, как малышка Атенаис, которую, поскольку ты ничего мне о ней не написала, я воображаю прекрасной, как день. Узнаю мою Рене. Ты словно угадываешь мои страдания. Всякий раз, как я вижу, что надежды мои не сбылись, меня несколько дней грызет глухая тоска. Я слагаю мрачные элегии. Когда же я буду вышивать маленькие чепчики? Когда буду выбирать полотно для детского приданого? Когда буду обшивать красивыми кружевами детские косыночки? Неужели я так и не услышу, как прелестное создание называет меня мамой, неужели никто не будет цепляться за мой подол, теревить меня? Неужели я никогда не увижу на песке следов колясочки? Не буду подбирать во дворе сломанные игрушки? Неужели мне не придется покупать сабли, кукол, игрушечную утварь? Неужели мне не суждено увидеть, как растет ангелочек, второй Фелипе, еще более любимый? Я мечтаю о сыне, чтобы узнать, как можно еще сильнее любить своего избранника в другой ипостаси его. Наш парк, наш замок — все кажется мне пустым и холодным. Бездетная женщина — чудовище, мы созданы для материнства. О, доктор в корсете, как ты была права. Да и вообще бесплодие ужасно во всех отношениях. Моя жизнь уж слишком походит на пасторали Геснера[100] и Флориана[101] — Ривароль недаром говорил, что хорошо бы впустить к невинным овечкам волков. Я тоже хочу жертвовать собой! Я чувствую в себе силы, которые не могу обратить на Фелипе, и если у меня не будет детей, я поневоле накликаю какое-нибудь несчастье. Я сказала об этом потомку мавров — от этих слов у него слезы навернулись на глаза; в утешение я уверила его, что у него золотое сердце. Грешно смеяться над человеком, который любит.

Порой меня охватывает желание молиться девять дней кряду, пойти поклониться какой-нибудь чудотворной иконе или поехать на воды. Зимой посоветуюсь с докторами. Я так злюсь на себя, что не могу больше об этом говорить.

Прощай!

От баронессы де Макюмер к виконтессе де л'Эсторад Париж, 1829.

Как, дорогая моя, за целый год ты не написала мне ни одного письма?.. Я немного обижена. Ты полагаешь, что твой Луи, который навещает меня чуть не каждый день, тебя заменяет? Мне мало слышать, что ты здорова и дела ваши идут хорошо, я хочу знать твои мысли и чувства и поверять тебе свои, пусть даже ты побранишь, осудишь или не поймешь меня, ведь я тебя люблю. Твое молчание и затворничество в то время, когда ты могла бы жить здесь и наслаждаться парламентскими триумфами графа де л'Эсторада, который, благодаря своему краснобайству и преданности короне, стал человеком влиятельным и, верно, после сессии займет какой-нибудь высокий пост, внушают мне большую тревогу. Ты что же, так и собираешься всю жизнь давать ему письменные наставления? Нума не уезжал так далеко от

своей Эгерии[102]. Отчего ты не воспользовалась случаем приехать в Париж? Я четыре месяца наслаждалась бы твоим обществом. Вчера Луи сказал мне, что ты скоро приедешь, чтобы родить третьего ребенка в Париже, насадка ты этакая! После долгих расспросов, охов и вздохов Луи перестал заператься и поведал мне, что его двоюродный дедушка, крестный отец Атенаис, совсем плох. Я полагаю, что ты, как примерная мать семейства, хочешь подвинуть последнего родственника твоего мужа по материнской линии отказать свое имущество блистательному и речистому депутату. Будь спокойна, моя Рене, Ленонкуры, Шолье, салон баронессы де Макюмер поддерживают Луи. Мартиньяк[103], вероятно, введет его в государственную финансовую инспекцию. Но если ты мне не скажешь, почему сидишь в деревне, я рассержусь. Быть может, ты боишься показать, кто главный политик в доме л'Эсторадов? Или ты стережешь наследство? А может, ты боишься, как бы Париж не ослабил твоих материнских чувств? Мне до смерти хочется узнать, не в том ли дело, что ты не хочешь вступить в свет, пока не разрешишься от бремени? Ах ты, кокетка!

До свидания.

XLV

От Рене к Луизе

Ты жалуешься на мое молчание — неужели ты забыла о двух каштановых головках, которыми я командую и которые командуют мною? Впрочем, ты угадала некоторые причины, удерживающие меня в деревне. Во-первых, наш дорогой дедушка в самом деле плох, во-вторых, я не хочу тащить в Париж четырехлетнего мальчика и девочку, которой не исполнилось и трех лет, когда я снова ожидаю ребенка. Я не хочу стеснять тебя и обременять твой дом таким семейством, я не хочу предстать перед блестящим светом, где ты царишь, в неприглядном виде, а к мебелированным комнатам и гостиницам я питаю отвращение. Дедушка Луи, узнав о назначении своего внучатого племянника, подарил мне половину своих сбережений — двести тысяч франков, чтобы купить дом в Париже, и я поручила Луи приискать таковой поблизости от тебя. Матушка дает мне тридцать тысяч франков на обзаведение. Таким образом, приезжая на время сессии в Париж, я буду жить у себя дома. Словом, я постараюсь быть достойной моей любимой названной сестры, говорю это без шуток.

Благодарю тебя за все, что ты делаешь для Луи; он пользуется уважением господина де Бурмона[104] и господина де Полиньяка, и они готовы ввести его в новое министерство, однако я не хочу, чтобы он был уж слишком на виду: это опасно. Я предпочитаю финансовую инспекцию — так надежнее. Наше имение остается в очень хороших руках, так что не беспокойся: как только мы введем управляющего в курс дела, я приеду помогать Луи.

Что же касается длинных писем, то до них ли мне? Я и рада была бы описать тебе, как живу, но письмо наверняка пролежит у меня на столе целую неделю. Быть может, Арман наделает из него флажков для своих солдатиков, выстроившихся на ковре, или корабликов для флотилии, которая плавает в большом чане. Впрочем, достаточно описать один мой день, ибо все они похожи и отличаются лишь одним — болеют дети или не болеют. В нашем деревенском уединении минуты для меня текут как часы, а часы бегут как минуты, смотря по тому, здоровы ли дети. Самые сладостные для меня часы — когда дети спят и мне не надо укачивать одну и рассказывать сказки другому, чтобы они уснули. Когда я сижу подле спящих детей, я говорю себе: теперь мне нечего бояться. И правда, мой ангел, пока день не кончился, матери то и дело мерещатся всякие ужасы. Стоит Арману отойти хоть на шаг, как я начинаю представлять себе, что он играет бритвой, что на нем загорелось платьице, что его

укусила медянка, что он упал и расшиб голову или тонет в пруду. Как видишь, материнство исполнено лирических и трагических переживаний. Каждый час приносит свои радости и горести. Но вечером в спальне наступает пора, когда я грежу наяву, представляя себе будущее моих детей. Тогда я вижу, как ангелы являются к их изголовью и озаряют своими улыбками их жизнь. Иногда Арман зовет меня во сне, я прихожу и целую его, сонного, в лобик, а Атенаис в пяточки, и люблюсь ими обоими. Вот мои радости. Вчера ночью не иначе как наш ангел-хранитель толкнул меня встать и подойти к ним: оказалось, что у Атенаис головка лежит слишком низко, а Арман совсем раскрылся и ножки его посинели от холода. «Ах, мамочка!» — сказал он, просыпаясь и обнимая меня. Вот, дорогая, как проходят у нас ночи.

Как важно для матери, чтобы ее дети были всегда при ней! Разве сможет няня, даже самая добрая, взять на руки, успокоить и снова уложить ребенка, которому приснился страшный сон? А ведь детям чего только не снится! И объяснить им страшный сон тем труднее, что полусонный ребенок смотрит на тебя растерянно и его смышленное личико выражает недоумение. Эта минута, когда ребенок просыпается из-за ночных страхов — пауза между двумя снами. Поэтому я сплю теперь так чутко, что вижу моих малюток, даже когда глаза у меня закрыты, и все время прислушиваюсь к их дыханию. Я пробуждаюсь от одного их вздоха, от одного движения. Меня преследует кошмарное видение судорог.

Утром они просыпаются ни свет ни заря. Я сквозь сон слышу, как они лепечут, их голоса сливаются с чириканьем воробьев, щебетаньем ласточек; я ловлю их радостные и жалобные восклицания не столько ухом, сколько сердцем. Пока Наис ползком или неуверенными шажками пытается добраться от своей колыбельки до моей кровати, Арман с ловкостью обезьяны вспрыгивает ко мне на постель и целует меня. И тут моя кровать превращается в площадку для игры, где они полные хозяева. Наис тянет меня за волосы, порываясь сосать мою грудь, а Арман защищает меня, словно моя грудь — его собственность. Я не мешаю их возне, их громкому хохоту, который быстро прогоняет сон. Тогда начинается игра в людоедку, и мама-людоедка жадно впивается губами в юную плоть, такую белую и нежную. Я осыпаю поцелуями лукавые глазки этих проказников, их розовые плечики, а Наис и Арман трогательно ревнуют меня друг к другу. Бывают дни, когда я начинаю надевать чулки в восемь часов, и вот уже бьет девять, а я все еще в одном чулке.

Наконец мы встаем. Начинается умыванье. Я накидываю пеньюар, засучиваю рукава, повязываю клеенчатый фартук; поливаю мои цветочки, а Мэри мне помогает. Я сама пробую воду — ведь дети часто кричат и плачут именно оттого, что вода чересчур горяча или холодна. Вот тут-то и пускаются в плавание бумажные кораблики и стеклянные уточки. Надо занять детей, чтобы как следует их умыть. Если бы ты знала, сколько развлечений приходится выдумывать для этих принца и принцессы, на какие хитрости пускаться, чтобы потереть мягкой губкой все их складочки, если бы ты знала, как много ловкости и ума требует от матери ее нелегкое ремесло, ты бы пришла в ужас. Приходится умолять, ворчать, обещать, обманывать, да при этом следить, чтобы ложь, не дай Бог, не раскрылась. Не знаю, что бы мы делали, если бы детской хитрости Господь не противопоставил хитрость матери. Ребенок — великий политик, и его, как всякого великого политика, можно одолеть только благодаря... его страстям. По счастью, этих ангелов все смешит: упала щетка, выскользнул из рук кусок мыла — сколько веселья! Конечно, победы достаются нелегко, но все-таки мы побеждаем! И один Бог с его ангелами, да еще ты (ибо даже отец тут лишний) — только вы можете понять, какими взглядами мы обмениваемся с Мэри, когда, одев наших ребятишек, мы видим их чистенькими в окружении мыла, губок, гребенок, тазов, промокательной бумаги, фланелевых пеленок и тысячи других принадлежностей настоящей nursery[105]. В отношении воспитания я стала англичанкой — бесспорно, в этой стране женщины знают толк в воспитании детей. Правда, они заботятся только о физическом благополучии ребенка, но все их новшества очень разумны. Поэтому у моих детей ступни всегда будут в тепле, а икры голенькие. Я не буду стеснять их свободу и изводить строгостями, но никогда не позволю,

чтобы они были предоставлены самим себе. Французы пекутся прежде всего о свободе кормилицы — вот откуда их пристрастие к свивальникам. Но настоящая мать должна забыть о свободе; поэтому я и не пишу тебе; у меня на руках двое детей и хозяйство. Настоящая мать обладает достоинствами тайными, незримыми, никому не ведомыми, она ежеминутно выказывает мужество, ежечасно приносит себя в жертву. Она следит за всем, даже за супом, который варится на плите. Разве я из тех женщин, что способны пренебречь хотя бы одной мелочью? Зато чем больше делаешь, тем больше любви получаешь взамен. О! как прекрасна улыбка ребенка, которому нравится обед. Арман так покачивает головкой, что за это можно отдать целую жизнь, исполненную любви. Неужели можно уступить другой женщине право, обязанность, счастье подуть на ложку с супом, который кажется Наис слишком горячим? Ведь я всего семь месяцев назад отняла ее от груди, и малышка до сих пор помнит материнское молоко. Когда няня обожжет язычок и губки ребенка горячим супом, она говорит прибежавшей на крик матери, что ребенок кричит от голода. Но разве может мать спать спокойно, если знает, что нечистое дыхание могло коснуться пищи, которую проглотил ее ребенок? Ведь сама природа отказала ей в посреднике между ее грудью и губами ее ребенка! Размять котлетку для Наис, у которой режутся последние зубки, и как следует перемешать с картошкой — дело, требующее большого терпения; порой ребенку надоедает сидеть спокойно, и только мать может уговорить его доесть до конца. Ни многочисленная прислуга, ни няня-англичанка никогда не заменят мать там, где нежность призвана одолеть детские горести и беды. Знаешь, Луиза, этим невинным созданиям надо отдавать всю душу, надо верить только собственным глазам, только собственным рукам, надо самой умыть, кормить детей и укладывать их спать. Если у ребенка ничего не болит, то его плач — неопровержимое обвинение матери или няне. С тех пор как у меня на руках двое детей и скоро появится третий, душа моя всецело принадлежит им; даже ты, при всей моей любви к тебе, стала воспоминанием. Бывает, что в два часа пополудни я еще не одета. Поэтому я не доверяю матерям, у которых в комнатах чистота, а туалеты продуманы до мелочей. Вчера был теплый апрельский день, и я решила погулять с детьми — ведь близится срок родин, и скоро мне будет не до того; ах, такая прогулка для матери — радость, которую невозможно описать словами, к ней готовятся загодя. Арману предстояло в первый раз надеть черную бархатную курточку, новый воротничок, который я вышила своими руками, и шотландскую шапочку цветов королевского дома Стюартов, украшенную петушиными перьями; Наис я приготовила белое с розовым платьице и прелестный чепчик — ведь она еще беби; Наис потеряет право на это прелестное имя, когда появится на свет малыш, который нынче всю пинает меня ножками и которого я называю мой бедненький — ведь он будет младшим. Я уже видела его во сне, и знаю, что у меня родится мальчик. Шапочка, воротнички, курточка, маленькие чулочки, крошечные башмачки, розовые подвязки, муслиновое платьице, вышитое шелком по канве, — все лежало у меня на кровати. И вот, когда я расчесала каштановые кудри Армана и челку Наис, выбивающуюся из-под бело-розового чепчика, когда обе мои веселые дружные птички были одеты и обуты, когда я хорошенько застегнула пряжки на башмачках, и они, сверкая голенькими икрами, стали топотать по nursery, когда их чистые или, как говорит Мэри, clean личики и сияющие глазки сказали: «Идем же!» — я затрепетала. О! видеть детей, которых ты собрала на прогулку, любоваться их нежной кожей с голубыми жилками, знать, что сама их купала, мыла губкой, вытирала мягким полотенцем, сама наряжала в яркий бархат и шелк, — что сравнится с этим! С какой ненасытной страстью вновь и вновь подзываешь их к себе, чтобы поцеловать шейку, которая даже в простеньком воротничке красивее, чем шея первой красавицы! Эти картины, столь любимые творцами сусальных цветных литографий, я вижу каждый день!

Мы вышли за ворота, но, пока я любовалась трудами рук своих и умилялась, глядя, как Арман с видом юного принца шествует по знакомой тебе дорожке, ведя за ручку беби, вдаль показалась коляска; я решила отвести детей в сторонку — и они тут же свалились в грязную лужу. Плакали мои шедевры! Пришлось возвращаться и переодевать детей. Я взяла малышку на руки, не думая о том, что пачкаю свое платье; Мэри схватила Армана, и вот мы уже дома. Когда один ребенок плачет, а другой промочил ноги, мать забывает о себе, она

занята только ими.

Подходит время обеда; на что ушло утро — так и непонятно; теперь надо скорее усадить детей за стол, повязать им салфетки, завернуть рукава, уговорить их все съесть — и так два раза на дню. Среди всех забот, всех радостей и горестей забытой остаюсь одна я. Когда дети капризничают, мне случается весь день проходить в папильотках. Мой туалет зависит от их настроения. Чтобы выкроить свободную минутку и написать тебе эти шесть страниц, надо отдать им на растерзание мои папки с нотами, позволить строить замки из книг, шахмат или перламутровых колец для салфеток, предоставить в распоряжение Наис мои шелковые или шерстяные нитки, чтобы она сматывала их, как ей хочется, — система у нее такая сложная, что она напрягает весь свой умишко и сидит тихо, словно набрав в рот воды.

Впрочем, что ни говори, мне грех жаловаться: дети у меня здоровые, подвижные и их сравнительно легко занять. Они всему рады, и возможность свободно резвиться — разумеется, под моим присмотром — им нужнее, чем игрушки. Несколько розовых, желтых, фиолетовых или черных камушков, мелкие ракушки, куча песка — вот все, что им нужно для счастья. Множество безделушек — вот их богатство. Я наблюдаю за Арманом: он разговаривает с цветами, мухами, курами, он подражает им; он любит насекомых, восхищается ими. Детей тянет ко всему маленькому. Арман начинает задавать вопросы, хочет знать, почему все происходит так, а не иначе. Вот сейчас он пришел посмотреть, что я пишу его крестной; впрочем он думает, что ты фея — а ведь дети всегда правы!

Прости, мой ангел, я вовсе не хотела тебя огорчать описанием своих радостей. Что же до твоего крестника, то вот что я могу тебе рассказать о его характере. На днях за нами следом шел нищий — бедняки понимают, что ни одна мать, гуляющая с ребенком, не откажет им в милостыне. Арман прижимал к груди дудочку, которую только что у меня выпросил; он еще не знает, что можно голодать, не знает, что такое деньги, но он с королевской щедростью протянул старику свою драгоценность:

— На, возьми!

— Вы позволите мне взять игрушку? — спросил меня бедняга.

Что на земле может сравниться с этим счастливым мгновением?

— У меня, сударыня, тоже были дети, — сказал мне старик, без малейшей радости принимая у меня из рук подаяние.

Когда я думаю о том, что придется отдавать Армана в коллеж, что ему осталось жить дома всего каких-нибудь три с половиной года, меня охватывает дрожь. Казенное образование скосит цветы благословенного детства, каждый час которого священ, лишит дитя природной прелести и невинности. Чужие люди остригут кудрявую головку Армана, которую я так лелеяла, расчесывала, целовала. А что станет с его душой?

Как ты поживаешь, Луиза? Ты ничего о себе не пишешь. Не разлюбила ли ты Фелипе? За сарацина-то я спокойна. До свидания, Наис упала, а если я стану продолжать это письмо, оно растянется на целый том.

XLVI

От госпожи де Макюмер к графине де л'Эсторад 1829 г.

Милая моя, добрая Рене, ты, должно быть, уже знаешь из газет об ужасном несчастье,

которое обрушилось на меня; я была не в силах написать тебе ни строчки, я двадцать дней и двадцать ночей не отходила от его постели, я приняла его последний вздох, закрыла ему глаза и вместе со священниками всю ночь сидела у его тела, читая поминальные молитвы. Я добровольно обрекла себя на эти страшные муки, дабы хоть отчасти искупить свою вину, и все же, видя на его губах безмятежную улыбку, которую он подарил мне перед смертью, я не могла поверить, что его убила моя любовь! И вот его нет, а я — я живу. Что я могу еще сказать? Ты ведь хорошо нас знала. Его нет — этими словами все сказано. Ах! если бы кто-нибудь посулил мне возвратить его к жизни! Я продала бы душу дьяволу, лишь бы вновь увидеть его. Если бы я могла прижаться к нему хоть на мгновение, эта ужасная боль в сердце отпустила бы меня. Приезжай скорее, скажи, что это возможно! Ужели ты не можешь обмануть меня? Но нет! ты давно сказала мне, что я наношу ему глубокие раны... Права ли ты была? Да, права. Я не заслужила его любви, я ее украла. Я задушила счастье в своих безумных объятиях! О! теперь, когда я пишу тебе, я в здравом рассудке, но я одна, совсем одна! Господи! есть ли в твоём аду более горькая мука?

Когда у меня его отняли, я бросилась на его постель, желая умереть; нас разделяла тонкая преграда, и я надеялась, что у меня хватит сил преодолеть ее. Но увы! я слишком молода, и после сорока дней болезни, когда меня пичкали разными снадобьями, я выздоровела. И вот я в деревне, кругом красивые цветы, которые он приказал развести для меня, я сижу у окна и смотрю вдаль: отсюда открывается чудесный вид, Фелипе так часто любовался им, так радовался, что нашел его и что он нравится мне. Ах, дорогая, перемена мест мучительна для того, чье сердце мертво. Я содрогаюсь, глядя на сырую землю в саду, она похожа на большую могилу, мне так и кажется, будто я попираю ногами его! Когда я впервые вышла из дому, я так испугалась, что не могла двинуться с места. Как тяжело смотреть на его цветы без него!

Родители мои в Испании, братья у меня сама знаешь какие, ты не можешь покинуть свое семейство; но не беспокойся — два ангела спустились ко мне с небес: герцог и герцогиня Сориа, эти чудесные люди, поспешили на помощь к своему брату. Последние ночи мы втроем сидели у изголовья постели, где умирал один из подлинно благородных и подлинно великодушных людей, которые так редки и так превосходят нас во всем. Мы сидели молча, не давая воли своему горю. Фелипе сносил все муки с ангельским терпением. Увидев своего брата и Марию, он на мгновение просветлел душой и почувствовал облегчение.

«Дорогая, — сказал он мне со свойственной ему простотой, — я чуть не забыл перед смертью отказать Фернандо поместье Макюмер, мне надо переписать завещание. Брат простит меня, он знает, что значит любить!»

Герцог и герцогиня Сориа выходили меня, они спасли мне жизнь, а теперь хотят увести меня в Испанию!

Ах, Рене, ты одна можешь понять всю тяжесть моей утраты. Меня гнетет чувство вины, и я нахожу горькое утешение в том, чтобы покаяться перед тобой, бедная Кассандра, которую никто не хотел слушать[106]. Я убила его своей требовательностью, беспричинной ревностью, постоянными придирками. Моя любовь была тем ужаснее, что оба мы обладали одинаково острой чувствительностью и говорили на одном языке; он прекрасно понимал меня, и часто мои шутки ранили его в самое сердце, а я об этом даже не подозревала. Ты не можешь себе вообразить, как он был покорен, мой милый раб: мне случалось говорить ему, чтобы он ушел и оставил меня одну, он глотал обиду и безропотно уходил. До последнего вздоха он благословлял меня, повторяя, что одно утро вдвоем со мной для него дороже целой жизни с любой другой женщиной, будь то даже Мария Эредиа. Я пишу тебе эти слова и плачу.

Теперь я встаю в полдень, спать ложусь в семь часов вечера, до смешного долго сижу за столом, хожу медленно, могу час простоять перед каким-нибудь цветком или деревом,

разглядывая листья, я серьезно и размеренно занимаюсь пустяками, я полюбила тень, тишину и ночь; словом, я с мрачным удовлетворением убиваю время. Единственная моя отрада — тихий парк, где передо мной встают картины былого счастья, невидимые для других, но красноречивые и живые для меня.

Когда однажды утром я сказала Фернандо и Марии: «Я не могу вас больше выносить. Ваше испанское великодушие гнетет меня!» — Мария бросилась мне на шею.

Ах, Рене, если я не умерла, то единственно оттого, что Господь отмеряет нам лишь столько страдания, сколько мы в силах вынести. Одни мы, женщины, понимаем всю глубину нашей утраты, когда теряем беззаветную любовь, высокое чувство, долговечную страсть, дарующую блаженство и физическое, и нравственное. Часто ли мы встречаем мужчину таких достоинств, чтобы любовь к нему не унижала нас? Встретить его — самое большое счастье, какое нам суждено, и оно выпадает нам на долю лишь однажды. Сильные и великие мужи, скрывающие добродетель под покровом чувствительности, обладающие изысканным очарованием, созданные для поклонения, остерегайтесь любить: вы навлечете несчастье на своих избранниц и на себя самих! Вот что я кричу в аллеях моего парка. И у меня нет от него ребенка! Эта неиссякаемая любовь, всегда мне улыбавшаяся, осыпавшая меня цветами и радостями, — эта любовь не принесла плодов. Я проклята небом! Ужели безграничная, чистая и страстная любовь столь же бесплодна, сколь и неприязнь, — так палящий зной пустыни и лютый холод полюса равно губительны для всего живого! Ужели чтобы иметь семью, надо выйти замуж за кого-нибудь вроде твоего Луи! Ужели Господь ревнует к земной любви?! Что за вздор я несу...

Наверное, ты единственная, чье присутствие не было бы мне в тягость; приезжай, только ты можешь разделить скорбь Луизы. Как ужасен был день, когда я надела вдовый чепец! Увидев себя в трауре, я упала в кресло и проплакала до ночи, и сейчас, рассказывая тебе об этом страшном мгновении, я снова плачу. Прощай, мне трудно писать, Я устала от мыслей, устала подыскивать слова. Приезжай с детьми, ты можешь кормить младшего при мне, я не буду ревновать — его уже нет. Я буду очень рада повидать моего крестника, ведь Фелипе мечтал о ребенке, похожем на Армана. Приезжай же разделить мое горе!..

XLVII

От Рене к Луизе 1829 г.

Дорогая Луиза, когда ты получишь это письмо, я буду уже недалеко: я выезжаю с минуты на минуту. Мы будем одни. Луи должен остаться в Провансе ввиду предстоящих выборов; он хочет, чтобы его переизбрали на новый срок, а либералы плетут против него интриги[107].

Я еду не затем, чтобы утешать тебя, я просто приношу тебе свое сердце, чтобы твоему сердцу не было так одиноко; я еду, чтобы жить рядом с тобой и сказать тебе: плачь! этой ценой ты купишь право рано или поздно соединиться с ним, ведь залог этого счастья — лишь в Господе, и каждый шаг, приближающий тебя к Господу, будет приближать тебя к Фелипе. Всякое твоё деяние во славу Божию будет укорачивать разделяющую вас цепь на одно звено. Не отчаивайся, моя Луиза, ты исцелишься в моих объятиях и устремись к Фелипе чистой и благородной. Ты будешь творить добро в память о нем, и Господь простит тебе твои прегрешения!

Я пишу тебе наспех — мне надо закончить сборы, да и дети то и дело отрывают меня. Арман кричит: «Крестная! Крестная! Хочу к крестной!» — так что я даже ревную: в конце концов, чей он сын, твой или мой?!

От баронессы де Макюмер к графине де л'Эсторад 15 октября 1833 г.

Да, Рене, все, что ты слышала, — чистая правда. Я продала парижский дом, продала Шантеплер и земли в департаменте Сена-и-Марна, но это вовсе не значит, что я разорилась или сошла с ума. Давай считать! Мой бедный Макюмер оставил мне около миллиона двухсот тысяч франков. Я дам тебе подробный отчет, и ты увидишь, что монахини хорошо выучили меня считать деньги. Я поместила один миллион в трехпроцентную ренту, когда курс был пятьдесят франков, благодаря чему мой годовой доход составил шестьдесят тысяч франков вместо тридцати, которые приносили мне поместья. Жить по полгода в провинции, заключать арендные договоры, выслушивать жалобы фермеров, которые платят аренду, когда им вздумается, умирать от тоски, как охотник в дождливую погоду, возиться с урожаем и продавать его себе в убыток, жить в Париже в доме, содержание которого обходится в десять тысяч ливров в год, помещать капиталы у нотариусов, ждать уплаты процентов, преследовать людей, задолжавших арендную плату, изучать ипотечное законодательство, словом, иметь дела в Ниверне, в департаменте Сена-и-Марна, в Париже — какое бремя, какая тоска, сколько разочарований и убытков сулит все это двадцатисемилетней вдове! Ныне мое состояние отдано в займы государству.

Вместо того чтобы платить налоги, я без всяких хлопот каждые полгода получаю из государственной казны тридцать тысяч франков: красавец клерк с улыбкой вручает мне тридцать билетов по тысяче франков. «А если Франция обанкротится?» — спросишь ты. Во-первых, отвечу я,

Зачем так далеко заглядывать вперед?[108]

Во-вторых, даже и в этом случае Франция отняла бы у меня не больше половины моего дохода; я осталась бы такой же богатой, как и до приобретения ренты, а потом — пока катастрофа не разразится, я все-таки буду получать в два раза больше, чем прежде. Катастрофы случаются раз в столетие, так что можно успеть накопить немало денег. Наконец, разве граф де л'Эсторад не пэр нынешней полуреспубликанской Франции? Разве он не опора трона, на который народ возвел своего короля[109]? Разве у меня есть причины для беспокойства, если великий финансист, глава финансовой инспекции — мой друг? Посмей сказать, что я сошла с ума! Я умею считать не хуже, чем твой король-гражданин. А знаешь ли ты, что дает женщине силы одолеть всю эту математическую премудрость? Любовь! Увы, пора объяснить мое таинственное поведение, причины которого ускользнули от твоего острого и пронизательного взора, исполненного доброжелательного любопытства. Я выхожу замуж. Венчанье будет тайным и состоится в деревенской церкви близ Парижа. Я люблю и любима. Я люблю так, как может любить женщина, знающая, что такое любовь. Мой избранник любит меня так, как может любить мужчина, знающий, что возлюбленная обожает его. Прости, Рене, что я скрывала это от тебя, от всех. Согласись, что твоя Луиза недаром

вводила в заблуждение окружающих и прятала свои чувства от чужих глаз. Ведь ты и л'Эсторад, памятуя о моей страсти к бедному Макюмеру, не давали бы мне житья, донимали бы сомнениями и упреками. К тому же обстоятельства были вам на руку. Ты одна знаешь, как я ревнива, и ты понапрасну мучила бы меня. Ты назовешь это безумием, моя Рене, но я хотела все решить сама, по собственной воле, по своему разумению, по велению сердца, как девушка, ускользнувшая из-под надзора родителей. Все состояние моего возлюбленного — тридцать тысяч франков долга, который я заплатила. Какой повод для осуждения! Вы начали бы доказывать мне, что Гастон мошенник, твой муж стал бы шпионить за моим милым мальчиком. Я предпочла изучить его сама. Скоро два года, как он ухаживает за мной; мне двадцать семь, ему двадцать три. Когда старше женщина, такая разница в годах огромна — еще один повод для тревоги! Наконец, он поэт и жил своим трудом; сама понимаешь, это значит, что он жил на гроши. Мой дорогой ленивец чаще грелся, как кот на солнышке, да строил воздушные замки, чем сидел в своей темной каморке и корпел над стихами. А ведь обыкновенно люди положительные считают поэтов, художников — словом, людей, живущих трудом умственным, — непостоянными. У них столько причуд, что все думают, будто и сердце у них с причудами. Несмотря на долги, которые мне пришлось уплатить, несмотря на разницу в годах, несмотря на стихи, после девяти месяцев доблестной обороны, когда я не позволяла ему даже целовать мне руку, после чистейших и сладостнейших любовных свиданий я через несколько дней выхожу за него. Теперь я уже не та наивная, неискушенная и любопытная девочка, что восемь лет назад, я не веряю себя слепо своему супругу, но отдаю свою руку сознательно, а избранник мой ждет меня с такой великой покорностью, что я могла бы отложить свадьбу хоть на целый год; но не подумай, будто он раболепствует передо мной — это служение, а не слепое повиновение. Никогда я не встречала более благородного сердца, более мудрого чувства, более одухотворенной любви, чем у моего жениха. Увы, ангел мой, ему было от кого унаследовать эти качества. Я расскажу тебе его историю в двух словах.

Моего возлюбленного зовут просто Мари Гастон. Он — плод незаконной любви красавицы леди Брендон[110], о которой ты, наверно, слышала; леди Дэдлей из мести сжила ее со свету — ужасная история, но мой милый мальчик ее не знает. Старший брат, Луи Гастон, поместил его в коллеж в Туре, а сам, как сказала мальчику старая женщина, заботившаяся о нем, отправился искать счастья. Луи Гастон стал моряком, и время от времени младший брат получал от него поистине отеческие послания, свидетельствующие о благородстве его души. В 1827 году Мари Гастон окончил ученье, а Луи Гастон продолжал странствовать по свету. В последнем письме он сообщил, что стал капитаном корабля где-то в Южной Америке, и уговаривал брата не падать духом. Увы! мой бедный мальчик уже целых три года не получал вестей от Луи Гастона. Он так любит старшего брата, что хотел отправиться на поиски. Наш великий писатель Даниэль д'Артез[111] удержал Мари Гастона от этого безрассудного шага и принял в нем большое участие. Д'Артез нередко делил с ним кров и пищу, как выразился мой поэт на своем возвышенном языке. Бедному мальчику было от чего впасть в отчаяние: вообрази себе, он думал, что гений — залог благополучия, смех да и только! В течение пяти лет он пытался завоевать себе имя в литературе и, естественно, вел ужасную жизнь, полную тревог, надежд, каторжного труда и лишений. Движимый безграничным честолюбием, он пренебрегал мудрыми советами д'Артеза, и долги его росли, как снежный ком. Однако, когда я впервые увидела его у маркизы д'Эспар, он уже начал приобретать известность. Я с первого взгляда почувствовала к нему влечение, а он об этом даже не догадывался. Как могло случиться, что никто его не полюбил? Как его оставили мне? Ах, он обладает талантом и умом, сердцем и гордостью, женщин всегда пугает такое совершенство. Лишь после того, как маленький Бонапарт одержал сотню побед, Жозефина, его жена, разглядела в нем Наполеона. Это невинное дитя полагает, что знает силу моей любви! Бедный Гастон! Он о ней и не подозревает; но тебе я открою все: я так решила, Рене, и мое письмо — нечто вроде завещания. Поразмысли над моими словами.

Сейчас я не сомневаюсь в том, что любима так, как может быть любима женщина на этом

свете, и верю в возможность счастливой супружеской жизни, ибо на алтарь ее я приношу любовь, о которой не ведала прежде... Да, я наконец узнала страсть и наслаждаюсь ею сполна. Замужество принесет мне все, чего женщины ждут от любви. Я обожаю Гастона, как мой бедный Фелипе обожал меня! Я не владею собой, я трепещу перед этим ребенком, как абенсераг трепетал передо мной. Словом, я люблю его сильнее, чем он меня; я всего пугаюсь, меня мучат самые нелепые страхи. Я боюсь, что он меня бросит, я дрожу от страха, что стану старой и безобразной, когда Гастон будет еще молод и хорош собой, я обливаюсь холодным потом при мысли, что недостаточно ему нравлюсь. Однако я надеюсь, что мои таланты, самоотверженность, ум позволят мне не только сохранить чувство Гастона, но и разжечь его еще сильнее в уединении, вдали от света. Если же я потерплю неудачу, если чудесная поэма моей тайной любви вдруг окончится, — да что я говорю, окончится! — если я однажды замечу, что Гастон любит меня меньше, чем накануне, я буду укорять за это не его, а себя. Это будет не его вина, а моя. Я себя знаю. Я не столько мать, сколько любовница. Поэтому сразу говорю тебе: я умру, даже если у меня будут дети. Так вот, Рене, прежде чем дать себе эту клятву, умоляю тебя: обещай, если меня постигнет несчастье, стать моим детям второй матерью, я завещаю их тебе. Твоя фанатическая преданность долгу, твои несравненные достоинства, твоя любовь к детям, твоя привязанность ко мне облегчат мне смерть, сделают ее — не смею сказать, сладостной, но хотя бы не такой горькой. Это решение бросает трагический отсвет на торжественную церемонию бракосочетания, поэтому я не хочу видеть на свадьбе людей мне близких и венчанье наше будет тайным. Сама я могу трепетать сколько угодно, но я не хочу видеть тревогу в твоих милых глазах и одна буду знать, что, подписывая новый брачный контракт, я, быть может, подписываю свой смертный приговор.

Больше я не буду возвращаться к этому уговору между моим нынешним и будущим «я»; я доверила тебе эту тайну только затем, чтобы ты знала, какие обязанности возлагаю я на тебя. По брачному контракту я сохраняю за собой право распоряжаться своим имуществом; Гастон знает, что мои деньги позволят нам жить в свое удовольствие, но не подозревает об истинных размерах моего состояния. Сегодня мне предстоит распорядиться моими деньгами. Я не хочу, чтобы Гастон чувствовал себя зависимым, и перевела на его имя двенадцать тысяч франков ренты, он найдет бумаги в своем секретере накануне свадьбы; если он не примет этих денег, я отложу свадьбу. Чтобы добиться права заплатить его долги, мне пришлось пригрозить, что иначе я не стану его женой. Все эти признания утомили меня; я продолжу письмо послезавтра: завтра мне придется на целый день уехать в деревню.

20 октября.

Вот как я позаботилась о том, чтобы скрыть свое счастье от чужих глаз, ибо не хочу иметь ни малейшего повода для ревности. Я похожа на ту итальянскую красавицу княгиню, которая набрасывалась на свою добычу как львица, а потом, как львица же, утаскивала ее куда-нибудь в Швейцарию, чтобы всласть терзать ее. Я рассказываю тебе о своих намерениях единственно для того, чтобы попросить тебя еще об одной милости — не приезжай к нам, пока я тебя сама не позову, не нарушай уединения, в котором я хочу жить.

Два года назад я купила над прудами Виль-д'Авре, по дороге в Версаль, двадцать арпанов земли: луга, лесную опушку и прекрасный сад. Среди лугов я приказала вырыть пруд площадью около трех арпанов, оставив в центре живописный островок. Маленькая долина зажата между двумя лесистыми холмами, откуда сбегает дивные ручейки, воды которых мой архитектор умело распределил по всему парку. Ручейки эти впадают в казенные пруды, виднеющиеся в просветах между деревьями. Маленький, прекрасно распланированный парк окружен где изгородями, где каменной стеной, где рвами — архитектор применялся к рельефу и старался не упустить ни одного красивого вида. Со стороны Ронского леса на косогоре есть лужайка, спускающаяся к пруду, — там я приказала построить шале, как две капли воды похожее на то, которым путешественники любят по дороге из Сьюна в Бриг и которое очаровало меня, когда я возвращалась из Италии. Убранством оно не уступает

самым знаменитым шале. В сотне шагов от этого сельского жилища стоит прелестный каменный флигель, где расположены кухня, кладовые, конюшня и каретный сарай. Флигель этот соединяется с шале подземным ходом. Все постройки утопают в зелени, так что виден лишь изысканно простой фасад шале. Еще один домик — в нем живут садовники — скрывает вход в сад.

Въезд в усадьбу со стороны леса, ворота почти невозможно отыскать. Высокие деревья через два-три года полностью скроют от взоров все постройки. Только дымок из труб, заметный с вершины холма, укажет путнику на то, что здесь кто-то живет, да зимой, когда деревья стоят голые, стены будут проглядывать между стволами.

Мой парк разбит по образцу так называемого Королевского сада в Версале, но окна шале смотрят на пруд и на островок. Холмы густо поросли лесом, так заботливо охраняемым новым законом, принятым соратниками твоего мужа. Я приказала садовникам разводить цветы во множестве и только душистые, чтобы превратить этот клочок земли в благоухающий зеленью изумруд. Шале увито диким виноградом, бегущим по крыше, и со всех сторон оплетено хмелем, ломоносом, жасмином, азалиями, кобеями. Тот, кто разглядит за ними наши окна, может гордиться своим зрением.

Мое шале, дорогая, — красивый, прочный дом с водяным отоплением и прочими удобствами, изобретенными современной архитектурой, возводящей дворцы на ста квадратных футах. Во втором этаже расположены покои Гастона и мои. В первом этаже — прихожая, гостиная и столовая. Три комнаты третьего этажа предназначены для детей. У меня пять чистокровных лошадей, легкая двухместная карета и кабриолет — ведь от нас до Парижа сорок минут езды; когда нам захочется послушать оперу, посмотреть новую пьесу, мы сможем выехать после обеда, а вечером возвратиться в наше гнездышко. Дорога красивая, она вьется под сенью нашей живой изгороди. Прислуга: повар, кучер, конюх, садовники, моя горничная — люди безупречно честные, я приискала их в последние полгода; распорядиться ими будет мой старый Филипп. Хотя я уверена в том, что они мне преданы и будут держать язык за зубами, я наняла их на таких условиях, чтобы верная служба была им выгодна; жалованье я им положила небольшое, но на новый год они будут получать от нас в подарок немалую сумму. Они знают, что малейшая провинность, малейшее подозрение в болтливости может лишить их щедрых даров. К тому же влюбленные снисходительны, так что я могу положиться на наших людей.

Все, что было ценного, красивого, изящного в моем доме на улице Бак, перевезено в шале. На лестнице, словно какая-нибудь безделка, вас встречает Рембрандт; в его кабинете друг против друга висят Рубенс и Хоббема[112]; мой будуар украшает Тициан, которого прислала мне из Мадрида Мария; чудесная мебель (ее разыскал еще Фелипе) прекрасно подходит для гостиной, которую архитектор отделал с большим вкусом. Все в шале отличается изысканной простотой, той простотой, что стоит сто тысяч франков. Дом возведен на каменном фундаменте с бетонным основанием, так что в нижнем этаже, утопающем в цветах и зелени, прохладно, но ничуть не сыро. В пруду плавает целая флотилия белых лебедей.

О Рене! в этой долине стоит мертвая тишина. Здесь просыпаешься от пения птиц или шепота ветерка в ветвях тополей. Строя каменную ограду со стороны леса, рабочие нашли родник, и теперь меж двух берегов из кресс-салата по серебристому песку струится ручеек, впадающий в пруд: такую красоту не купишь ни за какие деньги. Не возненавидит ли Гастон этот избыток счастья? Здесь так хорошо, что мне страшно: черви пожирают самые лучшие фрукты, насекомые губят самые красивые цветы. Разве ужасные коричневые личинки, ненасытные, как смерть, точат не лучшие деревья в лесу? Я уже знаю, что незримая сила из ревности обрушивается на безоблачное блаженство. Впрочем, ты давно предупреждала меня об этом и оказалась права.

Когда третьего дня я пошла поглядеть, исполнены ли мои последние распоряжения, я

почувствовала, как у меня на глаза наворачиваются слезы; к большому удивлению архитектора, я написала на его смете: «Оплатить». «Ваш поверенный не заплатит, сударыня, — сказал он, — ведь речь идет о трехстах тысячах франков». — «Не прекословьте! — отрезала я тоном истинной Шолье семнадцатого века. — Но, сударь, — прибавила я, — я ставлю одно условие: не говорите никому ни слова об этих постройках в парке. Я не хочу, чтобы стало известно имя владельца этого шале; поклянитесь мне честью, что исполните мою волю».

Теперь ты знаешь причину моих неожиданных отлучек, тайных отъездов и приездов, знаешь, куда девались дорогие вещи, которые все считали проданными. Понимаешь ты высшие соображения, подвигнувшие меня по-новому распорядиться моим состоянием? Милая моя, любовь — великое дело, и кто хочет любить по-настоящему, не должен заниматься ничем иным. Деньги перестанут быть для меня обузой; я облегчила себе жизнь: сделав все, что требуется от хозяйки, я отныне могу позволить себе бывать ею десять минут в день, во время разговора с моим старым мажордомом Филиппом. Я повидала жизнь и узнала ее превратности; смерть преподала мне жестокий урок, и он не прошел даром. Моей единственной заботой будет нравиться ему, любить его, внося разнообразие в то, что кажется людям заурядным таким однообразным.

Гастон пока ничего не знает. По моей просьбе он, как и я, переселился в Виль-д'Авре; завтра мы едем в шале. Жизнь в деревне дешевая, но когда ты узнаешь, сколько денег я собираюсь тратить на свои туалеты, ты скажешь: «Она сошла с ума!» — и недаром. Я хочу каждый день наряжаться для него, как другие женщины наряжаются для света. Я положила на туалеты двадцать четыре тысячи франков в год, и дневные наряды будут не самыми дорогими. А он пусть носит блузу, если хочет! Не подумай, что я хочу превратить нашу жизнь в поединок и все время ломать себе голову, как бы поддержать в нем любовное чувство, — просто я хочу, чтобы мне было не в чем себя упрекнуть, только и всего. Мне осталось быть красивой тринадцать лет, и я хочу, чтобы на исходе тринадцатого года он любил меня еще сильнее, чем в день свадьбы. На этот раз я буду послушной, благодарной женой, я не стану обижать мужа насмешками; я делаюсь рабой, ибо в первом браке была госпожой, и это погубило меня. О Рене, я уверена, что если Гастон понял, как я, безбрежность любви, я всегда буду счастлива. Шале расположено в живописной местности, кругом густые леса. Отовсюду открываются красивые виды, зеленые кущи радуют душу, пробуждая чудесные мысли. Эти леса полнятся любовью. Только бы не получилось так, что я старательно готовила себе великолепный погребальный костер! Послезавтра я стану госпожой Гастон. Боже мой, спрашиваю я себя, позволительно ли так любить смертного? «В конце концов, все естественно. Но я теряю клиентку!» — сказал мне наш поверенный в делах, один из свидетелей с моей стороны, увидав, кто стал причиной ликвидации моего состояния. Ты, моя прелестная козочка, — я не решаюсь теперь сказать «любимая» — можешь сказать: «Я теряю сестру».

Ангел мой, пиши мне теперь в Версаль, до востребования, госпоже Гастон. Я буду каждый день посылать за письмами. Я не хочу, чтобы нас знали в округе. За провизией слуги будут ездить в Париж. Таким образом я надеюсь сохранить нашу жизнь в тайне от всех. За тот год, что я вила наше гнездышко, меня там ни разу не видели, а земли я купила во время волнений, которые последовали за Июльской революцией. Единственным человеком, которого видели соседи, был мой архитектор, но он в эти края не вернется. Прощай! Расставанье с тобой для меня и радостно и печально: не оттого ли, что ты дорога мне не меньше, чем Гастон?..

От Мари Гастона к Даниэлю д'Артезу Октябрь 1833 г.

Дорогой Даниэль, я женюсь, и мне нужны два свидетеля на свадьбу; я прошу вас приехать ко мне завтра вечером и привезти с собой нашего доброго друга, нашего гения Жозефа Бридо [113]. Моя будущая жена намеревается жить вдали от света и в полном уединении; она угадала самое заветное мое желание. Я ни слова не говорил о нашей любви даже вам — человеку, помогавшему мне переносить тяготы бедности, но не сомневайтесь, что я поступал так по необходимости. Вот почему весь последний год мы так редко виделись. Сразу же после моей свадьбы мы снова надолго расстанемся... Даниэль, вы должны понять меня: дружба наша будет жить в отсутствии друга. Быть может, порой мне будет вас не хватать, но я не смогу видеться с вами, во всяком случае, у себя. Она и в этом превзошла меня. Ради меня она пожертвовала подругой детства, которую любит как сестру, — мне пришлось принести ей в жертву друга. Из моих слов вы, наверно, поймете, что меня связывает с моей невестой любовь самозабвенная, совершенная, божественная, что союз наш основан на полном родстве душ. Мое счастье чисто, бесконечно, но поскольку по воле тайного закона блаженство наше никогда не бывает безоблачным, в глубине моей души, в самом дальнем ее уголке, я таю мысль, неведомую моей невесте и тягостную для меня. Вы слишком часто помогали мне бороться с нуждой, чтобы не знать ужасного положения, в котором я находился. Где черпал я мужество жить, когда надежда гасла? В вашем прошлом, мой друг, в вашем доме, где меня всегда ждали утешение и помощь. Словом, дорогой мой, моя невеста заплатила угнетавшие меня долги. Она богата, а я нищ. Сколько раз в приливе лени я говорил себе: «Вот бы какая-нибудь богатая женщина влюбилась в меня!» А теперь, когда это произошло, от шуток беззаботного юнца, от бравады беззастенчивого бедняка не осталось и следа. Несмотря на всю деликатность моей невесты, несмотря на всю мою уверенность в ее благородстве, я чувствую себя униженным. Я знаю, что это чувство — признак любви, но все равно не могу с ним смириться. И что мучительнее всего — она видела, что я переступил через это унижение. Не я ее покровитель и защитник — она покровительствует мне. Вот мое несчастье — я делюсь им с вами. В остальном, дорогой Даниэль, все мои мечты сбылись. Я нашел красоту без недостатков, доброту без изъяна. Невеста моя, как говорится, даже чересчур хороша; сердце ее мудро, она обладает прелестью и изяществом, которые сообщают любви новизну, она образованна и умна, у нее красивое лицо, белокурые волосы, легкая полнота при тонкой талии — кажется, будто Рафаэль и Рубенс объединили свои старания, чтобы сотворить эту женщину! Не знаю, мог ли бы я так же сильно полюбить женщину темноволосую: мне всегда казалось, что брюнетка — неудавшийся юноша. Она вдова, детей у нее нет, ей двадцать семь лет... Живой, деятельный, веселый нрав сочетается в ней с пристрастием к меланхолическим размышлениям. Все эти чудесные качества дополняет чувство собственного достоинства и благородство: она внушает почтение. Она принадлежит к знатному дворянскому роду, но ради нашей любви пренебрегла безвестностью моего происхождения. Мы долго хранили наше чувство в тайне, мы испытывали друг друга; мы одинаково ревнивы: наши мысли — два сполоха одной и той же молнии. Мы оба любим впервые в жизни, и свидания наши исполнены самых ярких, нежных, глубоких чувств, о каких только можно мечтать; весна нашей любви сладостна. Любовь щедро осыпает нас своими цветами. Каждый из дней, проведенных вместе, был прекрасен, а расставшись, мы писали друг другу целые поэмы в письмах. У меня никогда и в мыслях не было омрачить эту светлую пору плотским желанием, хотя оно неотступно смущало мою душу. Она вдова и сама себе госпожа, она прекрасно знает цену моей сдержанности; часто это трогало ее до слез. Так что, дорогой Даниэль, ты увидишь существо поистине высшее. Мы доселе не подарили друг другу ни одного поцелуя: мы робели друг друга.

— Каждого из нас, — сказала она мне, — есть за что упрекнуть.

— За что же упрекать вас?

— За мой брак, — отвечала она.

Вы великий человек, вы любите одну из самых необыкновенных представительниц аристократии, к которой принадлежит и моя Арманда, — вам довольно будет этого односложного ответа, чтобы разгадать ее душу и понять, какое счастье ждет вашего друга Мари Гастона.

L

От госпожи де л'Эсторад к госпоже де Макюмер

Как, Луиза, после всех сердечных мук, которые принесла тебе разделенная страсть, ты хочешь снова вступить в брак и жить в уединении? После того как ты убила одного мужа, вращаясь в свете, ты собираешься поселиться вдали от света, чтобы растерзать другого? Сколько горя ты себе готовишь! Но, судя по тому, с каким пылом ты взялась за дело, твое решение бесповоротно. Коль скоро мужчина сумел победить твоё отвращение к вторичному замужеству, значит, у него ангельский нрав и дивное сердце, поэтому не стану разрушать твоих иллюзий; но разве ты забыла, что говорила о мужчинах, о том, что в юности все они без изъятия посещают гнусные притоны и теряют свою душевную чистоту? Кто переменялся, ты или они? Тебе повезло: ты еще веришь в счастье, и я не смею осуждать тебя, хотя любящее сердце заставляет меня предостеречь тебя от этого замужества. Да, тысячу раз да, Природа и Общество дружно ополчаются на райское блаженство, потому что оно противоречит их законам, а быть может и потому, что небо ревниво охраняет свои права. Словом, я не провидица, но я предчувствую какую-то беду, хотя и не знаю, ни откуда она придет, ни кто ее принесет; к тому же безоблачное и безграничное счастье, дорогая моя, вероятно, будет тебя угнетать. Чрезмерная радость еще более тяжкое бремя, чем самое горькое горе. Я не хочу сказать ничего дурного о твоём избраннике, ты его любишь, а я никогда не видела; впрочем, я надеюсь, ты опишешь мне на досуге эту красивую и любопытную особь.

Как видишь, я без печали смиряюсь со своей участью, ибо уверена, что после медового месяца вы оба по обоюдному согласию станете жить, как все. И когда года через два мы отправимся кататься и случайно окажемся в этих краях, ты скажешь: «Подумать только, вот шале, которое я собиралась никогда не покидать!» И весело рассмеешься, показывая свои ровные белые зубки. Луи я пока ничего не говорила, а то он станет над нами подтрунивать. Я просто скажу ему, что ты выходишь замуж и хочешь сохранить это событие в тайне. К сожалению, перед венчаньем тебе не нужны советы ни матери, ни сестры. Храбрая ты женщина: начинаешь супружескую жизнь зимой — ведь на дворе октябрь. Если бы речь шла не о браке, я сказала бы, что ты берешь быка за рога. Как бы там ни было, ты можешь рассчитывать на мою сдержанность и понимание. Таинственное сердце Африки поглотило многих смельчаков; мне кажется, что в области чувств ты пускаешься в странствие, похожее на те, которые сгубили стольких путешественников, павших от руки туземцев либо заблудившихся в песках. Впрочем, твоя пустыня всего в двух лье от Парижа, и я могу весело сказать тебе: «Доброго пути, ты к нам вернешься!»

LI

От графини де л'Эсторад к госпоже Мари Гастон 1835 г.

Что с тобою случилось, моя дорогая? После двухлетнего молчания Рене вправе начать беспокоиться о Луизе. Вот она — любовь! она уносит, она развеивает в прах даже такую

дружбу, как наша. Сознайся, что, хоть я обожаю своих детей еще сильнее, чем ты своего Гастона, безмерная материнская любовь ничуть не затрагивает в моей душе других привязанностей и позволяет мне оставаться искренней и верной подругой. Мне не хватает твоих писем, твоего милого, прелестного лица. О Луиза, мне приходится строить догадки о том, как ты живешь — вот до чего дошло!

Что до нас, постараюсь вкратце описать тебе наши дела.

Перечитывая твое предпоследнее письмо[114], я нашла в нем несколько язвительных слов о нашей политической карьере. Ты поднимала нас на смех за то, что мы сохранили место председателя финансовой инспекции, полученное, как и графский титул, от Карла X; но разве с сорока тысячами ливров годового дохода, из которых тридцать дает майорат, я могла бы прилично обеспечить Атенаис и бедного малютку Рене? Разве не лучше нам жить на жалованье Луи и благоразумно копить доходы с наших земель? За двадцать лет мы соберем около шестисот тысяч франков; часть из них пойдет на приданое Атенаис, остальное — Рене, которого я прочу во флот. Бедный малыш получит десять тысяч ливров ренты, кроме того, нам, быть может, удастся оставить ему капитал, который уравнивает его долю с долей Атенаис. Когда Рене станет капитаном корабля, он сделает выгодную партию и займет в свете такое же положение, как и старший брат.

Эти благоразумные расчеты определили наше отношение к новому порядку. И, естественно, при новой династии Луи стал пэром Франции и офицером Почетного Легиона 2-й степени. Коль скоро л'Эсторад принял присягу, он уже ничего не может делать наполовину. Он оказал королю большие услуги в палате депутатов и теперь достиг положения, которое будет тихо-мирно занимать до конца дней своих. У него есть деловая хватка, оратор он хотя и не блестящий, но говорит складно: для политика этого довольно. Его ценят за проницательность, за умение разбираться в государственных делах и распоряжаться казной; все партии считают его человеком необходимым. Могу тебе сообщить, что недавно его хотели назначить послом, но я уговорила его отказаться. Воспитание Армана (ему минуло тринадцать) и Атенаис, которой пошел одиннадцатый год, удерживает меня в Париже, и я хочу остаться здесь до тех пор, пока Рене, который только начинает учиться грамоте, не окончит ученья.

Хранить верность старшей ветви королевского дома и вернуться в деревню вправе тот, кому не нужно воспитывать троих детей и устраивать их судьбу. Матери, мой ангел, не пристало быть Децием[115], особенно в те времена, когда Деции редки. Через пятнадцать лет л'Эсторад уйдет в отставку и будет жить в Крампаде, получая хорошую пенсию, а Армана устроит в финансовую инспекцию. Что же касается Рене, то, послужив во флоте, он, вероятно, сделается дипломатом. В семь лет этот мальчик уже хитер, как старый кардинал.

Ах, Луиза! Я счастливая мать! Мои дети по-прежнему приносят мне одни только радости (Senza brama sicura ricchezza[116]). Арман учится в коллеже Генриха IV. Я решила отдать его в коллеж, но не могла решиться расстаться с ним, и поступила так, как поступал герцог Орлеанский[117], когда еще не был Луи-Филиппом, — поступал, быть может, именно для того, чтобы стать им. Каждое утро Люкас, старый слуга, которого ты знаешь, провожает Армана в коллеж к первому уроку, а в половине пятого приводит его домой. У нас живет старый опытный учитель, он занимается с Арманом по вечерам, а утром будит его в тот же час, когда встают ученики, живущие в коллеже. В полдень во время перемены Люкас приносит Арману завтрак. Таким образом, я вижу его за обедом, вечером перед сном и утром перед уходом. Арман все такой же прелестный мальчик, добрый и сердечный, каким ты его знаешь и любишь. Репетитор им доволен. Наис и малыш неотлучно при мне, они галдят без умолку, но я такое же дитя, как они. Я не могу жить без моих нежных и ласковых деток. Возможность подойти, когда мне хочется, к кровати Армана и посмотреть, как он спит, возможность обнять и поцеловать этого ангела необходима для моего существования.

Но и домашнее воспитание имеет свои недостатки, и я их остро почувствовала. Общество не менее ревниво, чем Природа, следит за соблюдением своих законов, оно не терпит, чтобы кто-либо покушался на его устои. Поэтому детей, живущих дома, слишком рано манит свет, они видят его страсти, учатся его лицемерию. Неспособные понять причины поступков взрослых людей, они приписывают свету свои чувства и страсти вместо того, чтобы подчинять свои желания и стремления свету; их привлекает мишурный блеск, который сверкает ярче несокрушимой добродетели, ибо общество выставляет напоказ свою обманчивую наружность. Когда пятнадцатилетний мальчик держится с уверенностью мужчины, повидавшего жизнь, это чудовищно; в двадцать пять лет он уже старик, которого столь раннее развитие лишило способности заниматься серьезным делом, необходимым подлинному и незаурядному таланту. Свет — великий комедиант и, как актер, впитывает и отражает все, ничего не сохраняя. Поэтому, оставляя детей дома, мать должна твердо решиться ограждать их от света, иметь мужество воспротивиться их и своим желаниям и держать их взаперти. Корнелии[118] пришлось прятать свои сокровища. Так же поступлю и я, ибо дети — вся моя жизнь.

Мне тридцать лет, самая знойная пора миновала, самый трудный отрезок пути пройден. Через несколько лет я буду уже старой, и я черпаю огромные силы в сознании выполненного долга. Можно подумать, будто эти три маленьких существа читают мои мысли и угадывают мои заветные желания. Мы с ними никогда не расставались, и нас связуют таинственные узы. Они так стараются меня порадовать, будто знают, чем они мне обязаны.

Арман, который в первые три года своего ученья был вял, соображал медленно и тревожил меня, вдруг совершенно преобразился. Вероятно, он понял, какова цель школьных занятий, — дети не всегда видят ее, а ведь она состоит в том, чтобы научить их мыслить, приохотить к труду и приучить к послушанию, основе жизни в обществе. Дорогая моя, несколько дней тому я испытала упоительное чувство: Арман победил на конкурсе в Сорбонне. Твой крестник получил первую премию за перевод. В коллеже у него две первые премии — за стихи и за сочинение. Когда во время раздачи наград я услышала его имя, я побледнела; мне хотелось крикнуть: «Это мой сын!» Наис изо всех сил сжала мне руку, но я не почувствовала боли. Ах, Луиза, этот праздник души вознаграждает за отсутствие любви.

Успехи Армана окрылили малыша Рене, он тоже хочет учиться в коллеже, как старший брат. Иногда все трое орут, носятся по дому и шумят так, что голова раскалывается. Не знаю, как я еще держусь, ведь я безотлучно нахожусь с ними. Я никогда и никому не доверяю присматривать за детьми, даже Мэри. Но сколько радостей приносит материнство! Какое счастье, когда ребенок оставляет игру и подбегает ко мне, чтобы меня поцеловать... Вдобавок, когда дети с матерью, за ними легче наблюдать. Одна из обязанностей матери — распознать с самого раннего детства способности, нрав, склонности детей, сделать то, что не под силу никакому педагогу. Всех детей, воспитанных матерями, отличают благонравие и умение держать себя в обществе — два достоинства, которые дополняют природный ум, меж тем как природному уму, каким бы живым он ни был, никогда не заменить материнских наставлений. Когда я бываю в свете, я сразу различаю в поведении молодого человека следы женского влияния. Как же лишить своих детей подобного преимущества? Видишь, исполнение обязанностей приносит мне много радости, много счастья.

Из Армана, я уверена, выйдет превосходный государственный муж, добросовестнейший чиновник, честнейший депутат, а Рене сделается самым смелым, самым отважным и притом самым хитроумным мореплавателем в мире. У этого шалуна железная воля; он добивается всего, чего захочет, он придумывает тысячу уловок, чтобы достигнуть своей цели, а если они не помогают, изобретает тысяча первую. Там, где мой милый Арман спокойно подчиняется воле обстоятельств, Рене бунтует, изворачивается, лавирует, не замолкая ни на секунду, и в конце концов находит какую-нибудь щель, а если уж ему удастся просунуть в нее хотя бы лезвие ножа, то скоро он и сам туда пролезет, да еще и добро свое протащит.

Что касается Наис, она так похожа на меня, что я уже не могу понять, где она и где я. Ах, дорогая моя, любимая доченька, я так хочу, чтобы ты была счастлива! Я отдам Наис только за того, кто ее полюбит и кого полюбит она. Но боже мой, когда я позволяю ей наряжаться или вплетаю в косы малиновые ленты и надеваю туфельки на крошечные ножки, у меня сжимается сердце и туманятся мысли. В силах ли я помочь своей дочери? А вдруг она полюбит человека недостойного, а вдруг тот, кого она полюбит, не будет отвечать ей взаимностью? Часто, когда я гляжу на нее, у меня слезы наворачиваются на глаза. Расстаться с прелестным созданием, с цветком, с бутоном розы, которую любовно взрастила, отдать ее мужчине, похищающему у нас все! Это ты, за два года не написавшая мне даже двух слов: «Я счастлива!» — ты напомнила мне о драме замужества, ужасной для такой безумной матери, как я. Прощай, сама не знаю, зачем я тебе пишу, ты не заслуживаешь моей дружбы. О, дорогая Луиза, отзовись скорее!

LII

От госпожи Гастон к госпоже де л'Эсторад Шале.

Мое двухлетнее молчание задело твое любопытство, ты спрашиваешь, отчего я тебе не писала; но, милая Рене, нет ни фраз, ни слов, ни наречия, способных выразить мое блаженство: у нас хватает душевных сил длить его, вот все, что я могу сказать в двух словах. Нам нет нужды прилагать ни малейшего усилия, чтобы чувствовать себя счастливыми, мы живем душа в душу. За три года ни одна фальшивая нота не нарушила нашего согласия, ни одна размолвка не омрачила нашего блаженства, ни одна ссора не посеяла раздора в наших сердцах. Словом, дорогая Рене, каждый из тысячи дней был прожит не даром, каждый миг был сладостным, ибо его одухотворяло наше воображение. Мы уверены, что наше существование никогда не будет унылым, более того, быть может, всей нашей жизни не хватит, чтобы вместить поэзию нашей любви, изобильной и разнообразной, как природа. Нет, ни единого разочарования! Мы нравимся друг другу еще больше, чем в первый день, и открываем друг в друге все новые достоинства. Всякий вечер, гуляя после ужина, мы клянемся любопытства ради съездить в Париж, как говорят: «Я хочу повидать Швейцарию!»

— Как! — восклицает Гастон, — оказывается, разбили новый бульвар, окончено строительство церкви Мадлен[119]. Надо все-таки поехать посмотреть.

Но куда там! На следующее утро мы долго нежимся в постели, завтрак нам приносят в спальню; наступает полдень, стоит жара, и мы позволяем себе немного вздремнуть; затем Гастон просит позволения полюбоваться мной — и смотрит на меня так, словно я картина; он полностью погружается в созерцание, а я, как ты догадываешься, отвечаю ему тем же. В такие минуты у нас обоих слезы наворачиваются на глаза, и мы трепещем за наше счастье. Я по-прежнему его повелительница, то есть я делаю вид, будто люблю его меньше, чем он меня. Этот обман сладостен. Нам, женщинам, так отрадно видеть, как чувство преобладает над желанием и наш господин робеет и не решается переступить заветную черту! Ты спрашиваешь, каков он, но, милая Рене, невозможно описать любимого человека, любой портрет окажется неверным. И потом — не будем стыдливо закрывать глаза на странное и печальное следствие наших нравов: мужчина в свете и мужчина в любви не имеют ничего общего; разница между ними столь велика, что они могут ни в чем не походить один на другого. Мужчина, который, принимая грациознейшие позы, достойные самого блестящего танцовщика, шепчет нам вечером у камина слова любви, может быть начисто лишен тайного очарования, столь желанного женщине. Напротив, бывает, что мужчина, кажущийся некрасивым, не обладающий изысканными манерами и не умеющий носить фрак, оказывается человеком, одаренным гением любви, и не рискует стать смешным ни в одном

из тех положений, где даже нас самих не спасает вся наша грация. Встретить мужчину, в котором то, чем он кажется, пребывает в таинственной согласии с тем, что он есть, встретить мужчину, который в скрытой от чужих взоров супружеской жизни обладает тем врожденным изяществом, которому невозможно научить, которое не приобретается с годами, — тем изяществом, которое античная скульптура явила в сладострастно-целомудренных статуях, той простодушной непринужденностью, которой проникнута поэзия древних и которая даже в наготе своей не оскорбляет нашей стыдливости, — о таком мужчине мечтают все женщины. Гастон же — живое воплощение этой великой мечты, этого идеала, который мы сами создаем и который принадлежит миру гармонии, являясь неким духом вещей. Ах, дорогая, я не знала, что такое любовь, молодость, ум и красота, слитые воедино! Мой Гастон никогда не притворяется, изящество его невольно и естественно. Когда мы гуляем в лесу, тесно прижавшись друг к другу, его рука обвивает мою талию, моя лежит на его плече, головы наши соприкасаются, мы ступаем так мягко, ровно и тихо, что если бы кто-нибудь встретил нас в аллее, то подумал бы, что перед ним одно существо, неслышно скользящее по песку, как бессмертные боги у Гомера. Та же гармония царит в наших желаниях, мыслях, словах. Иногда вечерами, когда листва еще не просохла после короткого дождя, а ярко-зеленая трава блестит от росы, мы подолгу гуляем, не произнося ни единого слова, прислушиваясь к шороху падающих капель, любясь алыми красками заката, разлитыми по вершинам холмов, и бликами, рассыпанными по серой коре деревьев. Тогда мысли наши превращаются в тайную невнятную молитву — мы словно просим у неба прощения за наше счастье. Бывает, мы вскрикиваем разом, в едином порыве, когда в конце аллеи, за крутым поворотом нам открывается дивный вид. Если бы ты знала, как сладостен и торжествен почти робкий поцелуй, в котором мы сливаемся на лоне благословенной природы... Кажется, будто Господь затем и сотворил нас, чтобы услышать такую молитву. Домой мы возвращаемся еще более влюбленными друг в друга. Парижское общество сочло бы такую любовь между супругами оскорблением; мы должны предаваться ей в лесной глуши, словно любовники.

Гастон, моя милая, среднего роста, как все деятельные люди; он не толст, но и не худ, и весьма хорошо сложен; он гибок и ловок, он прыгает через рвы, как дикий зверь. Он удивительно уравновешен — а ведь люди, склонные к мечтательности, редко бывают таковыми. У него очень белая кожа при черных как смоль волосах, оттеняющих матовость лба и шеи. Он похож на Людовика XIII — у него такой же меланхолический вид. Он отпустил усы и эспаньолку, а бакенбарды и бородку по моей просьбе сбрил — нынче это уж слишком заурядно. Святая нищета уберегла его от скверны, которая портит столько молодых людей. У него великолепные зубы и железное здоровье. Его живые синие глаза смотрят на меня с нежностью, обладающей магнетической силой, но когда он взволнован, они загораются и сверкают, как молния. Как у всех сильных телом и духом людей, у Гастона такой ровный характер, что я не устаю поражаться ему, а если бы ты видела моего мужа, ты бы поразилась вместе со мной. Я слыхала от женщин много сетований на семейную жизнь, но сама я не знаю, что такое частая смена настроений, вечные тревоги и недовольство собой мужчин, которые не хотят или не умеют стариться, которые постоянно корят себя за бесшабашную юность, мужчин, в чьих венах течет яд, а во взгляде вечно таится грусть, мужчин, которые под сварливостью скрывают недоверчивость, которые за каждый спокойный час пилят нас потом целое утро, которые мстят нам за свою непривлекательность и втайне ненавидят нашу красоту. Молодости неведомы эти пороки, они — принадлежность браков, где муж много старше жены. Ах, дорогая, выдавай Атенаис замуж только за человека молодого. Если бы ты знала, как упиваюсь я улыбкой, которая не сходит с уст Гастона, и которой его тонкий, изящный ум придает бесконечное разнообразие, этой красноречивой улыбкой, исполненной любви, немой благодарности, памяти о прошлом и наслаждения настоящим. Мы помним каждую минуту, проведенную вместе. Каждая былинка становится свидетельницей нашего блаженства; для нас все живо в этих чудесных лесах, все говорит нам о нашей любви. Старый, поросший мхом дуб возле сторожки напоминает нам, как мы отдыхали в его тени и как Гастон показал мне на мох, стлавшийся у нас под ногами, рассказал его историю, а от этого мха мы перешли к науке и мало-помалу дошли до конечной цели мироздания. Мы с

Гастоном так близки по духу, что умы наши представляются мне двумя изданиями одного и того же сочинения. Как видишь, у меня появилась тяга к литературе. Мы оба наделены привычкой или даром рассматривать всякую вещь самым пристальным образом, и, постоянно находя все новые и новые доказательства чистоты нашего внутреннего чувства, мы доставляем себе все новые и новые радости. В конце концов мы сочли согласие наших умов свидетельством любви, и если бы когда-нибудь наше единомыслие нарушилось, это было бы для нас равносильно измене.

Жизнь моя полна удовольствий, но тебе я показалась бы чрезвычайно трудолюбивой. Прежде всего, дорогая, прими к сведению, что Луиза Арманда Мария де Шолье собственноручно убирает свою спальню. Я ни за что не потерпела бы, чтобы чужие руки дотронулись до моей постели, чтобы посторонняя женщина или девушка проникла в тайны моей спальни. Поклоняясь своему кумиру, я не пренебрегаю ни одной мелочью. Мною руководит не ревность, но чувство собственного достоинства. Поэтому я убираю свою спальню с тем тщанием, с каким влюбленная девушка наряжается. Я стала аккуратна, как старая дева. Моя туалетная комната не чулан, где все свалено в одну кучу, а прелестный будуар. Я все предусмотрела. Мой господин и повелитель может войти сюда в любой момент; ничто не оскорбит, не поразит, не разочарует его: цветы, ароматы, изящество — все здесь пленяет. Рано утром, пока Гастон спит, я встаю, иду в туалетную комнату и, памятуя о мудрых советах моей матушки, смываю следы сна холодной водой; Гастон об этом даже не подозревает. Когда мы спим, кожу ничто не раздражает, она хуже дышит, разгорячается и ее окружают видимые глазу испарения, своего рода атмосфера. Проведя по лицу мокрой губкой, женщина вновь становится юной девушкой. В этом, быть может, ключ к мифу о Венере, выходящей из вод.

Утреннее умывание придает мне прелесть Авроры, я расчесываю и душу волосы; завершив свой тщательный туалет, я змейкой проскальзываю назад, чтобы по пробуждении Гастон нашел меня сияющей, как весеннее утро. Его чарует эта свежесть только что распустившегося цветка, но он не задумывается о ее причине. Дневной туалет совершается с помощью горничной в уютной уборной. Разумеется, перед сном я снова переодеваюсь. Итак, я трижды, а то и четырежды в день меняю наряды для моего господина и повелителя, — но это, моя дорогая, связано уже с другими мифами древности.

Есть у нас и занятия. Мы разводим цветы, выращиваем красивые растения в оранжерее, сажаем деревья. Мы всерьез увлекаемся ботаникой; цветы — наша страсть, усадьба положительно утопает в них. Наши лужайки всегда зелены, цветники ухожены так заботливо, как в саду у богатейшего банкира. Поэтому нет более красивого уголка на земле, чем наш сад. Мы очень любим фрукты и ягоды, мы ухаживаем за нашими персиковыми деревьями, грядками, шпалерами, карликовыми деревцами. А чтобы эти сельские работы не наскучили моему обожаемому Гастону, я посоветовала ему закончить здесь, в тиши, пьесы, которые он начал сочинять в дни бедности и которые воистину прекрасны. Это единственный род литературных занятий, который можно бросать и снова начинать, ибо он является плодом долгих размышлений, но не требует отточенного стиля. Диалоги невозможно сочинять, не отрываясь от бумаги; драматическому писателю потребны остроумные мысли, тонкие выводы, меткие замечания — они являются в уме, как цветы на стеблях, их следует не искать, а терпеливо ожидать. Мне нравится эта охота за мыслями. Я помощница Гастона и не расстаюсь с ним ни на минуту; даже когда он путешествует по просторам воображения, я следую за ним. Теперь ты догадываешься, как мы коротаем долгие зимние вечера? Прислуга наша так вышколена, что за два года нам не пришлось сделать нашим людям ни одного выговора, ни одного замечания. Когда их расспрашивали о нас, они догадались солгать, что мы с Гастоном — компаньонка и секретарь их господ, отправившихся путешествовать; уверенные в том, что никогда и ни в чем не получают отказа, они не выходят за ворота, не спросив позволения; впрочем, им хорошо живется и они прекрасно понимают, что благоденствие их может кончиться лишь по их собственной вине. Мы позволяем садовникам

продавать излишки фруктов и овощей. Скотница поступает так же с молоком, сливками и маслом. Мы оставляем себе только самое лучшее. Наши люди весьма довольны своими дополнительными доходами, а мы в восторге от изобилия, на которое в этом ужасном Париже не хватило бы никаких денег, ибо каждый персик там стоит процентов со стофранкового билета. Я, дорогая моя, преследую одну-единственную цель: я хочу заменить Гастону свет; жизнь в свете захватывает нас, значит, мой муж не должен скучать в уединении. Я считала себя ревнивой, когда была предметом обожания и позволяла себя любить; но теперь я испытываю ревность женщины, которая любит, то есть ревность истинную. Каждый его взгляд, кажущийся мне безразличным, повергает меня в трепет. Время от времени я говорю себе: а вдруг он меня скоро разлюбит?.. и содрогаюсь. О! я перед ним словно душа праведника перед Богом.

Увы! моя Рене, у меня так и нет детей. А ведь наступит, вероятно, день, когда нам станет одиноко в этом тихом уголке, когда нам захочется видеть маленькие платьица, пелеринки, темные или белокурые головки, мелькающие среди цветов и кустов. О, как чудовищны цветы, не приносящие плодов. Я с болью душевной вспоминаю твое прекрасное семейство. Моя жизнь вошла в узкие берега, твоя же расширилась, засияла. Любовь глубоко эгоистична, а материнство обогащает душу. Я хорошо почувствовала эту разницу, читая твое доброе, ласковое письмо. Я позавидовала твоему счастью, тому, что ты живешь сразу в трех сердцах! Да, ты счастлива: ты мудро подчинилась законам общества, а я пренебрегла ими. Только любящие и любимые дети могут утешить женщину, когда красота ее увядает. Мне скоро тридцать лет, а в этом возрасте женщина в глубине души ужасно страдает. Я еще хороша собой, но я уже вижу, что жизнь женщины имеет свой предел; что со мной станется потом? Когда мне исполнится сорок, ему будет только тридцать шесть, он будет еще молод, а я — уже старуха. Иной раз эта мысль проникает мне в сердце, и я часами на коленях умоляю его еще и еще раз поклясться, что если он начнет охладевать ко мне, то непременно скажет об этом. Но он совершенный ребенок, он клянется, что его любовь никогда не ослабеет, а он так красив, что... ты понимаешь! я ему верю. До свидания, мой ангел, неужели спать пройдут годы, прежде чем мы напишем друг другу? Счастье выражает себя однообразно; быть может, только любовники понимают, что описание Рая у Данте превосходит описание Ада. Я не Данте, я всего лишь твоя подруга и боюсь тебе наскучить. Ты — другое дело, ты можешь писать мне, ибо дети разнообразят твою жизнь и приносят тебе все больше и больше счастья, меж тем как я... Но довольно об этом.

Целую тебя тысячу раз.

LIII

От госпожи де л'Эсторад к госпоже Гастон

Дорогая Луиза, я читала и перечитывала твое письмо, и чем глубже я вникала в него, тем яснее видела, что ты не женщина, а сущее дитя; ты ничуть не переменилась, ты забываешь то, что я тысячу раз твердила тебе: Общество крадет Любовь у Природы; но в природе век любви недолог, и никакие старания общества не могут этого изменить; поэтому все благородные натуры пытаются превратить этого ребенка в зрелого мужа, — но тогда Любовь становится, по твоим словам, чем-то чудовищным. Общество, дорогая моя, возжелало быть плодовитым. Заменив мимолетное безумство природы долговечными чувствами, оно создало величайшую человеческую ценность: Семью, извечную основу Общества. Оно принесло и мужчину, и женщину в жертву своему творению — ибо не будем заблуждаться, отец семейства отдает свой ум, свои силы, все свои богатства жене. Кто, как не женщина, вкушает плоды всех его жертв? Роскошь, изобилие — разве всего этого добиваются не ради нее?

Слава и изящество, уют и блеск дома — все это ее достояние. О, мой ангел, ты снова заблуждаешься. Внушать обожание — дело юной девушки, но через несколько весен эта радость тускнеет; женщине — жене и матери — уготована иная роль. Чтобы удовлетворить свое тщеславие, женщине, пожалуй, довольно просто знать, что она способна внушать обожание. Но если ты хочешь быть женой и матерью — вернись в Париж. Позволь мне повторить тебе: счастье погубит тебя, как других губит несчастье. Вещи, которые никогда не приедаются — тишина, хлеб, воздух, — хороши тем, что мы их не замечаем, меж тем как вещи вкусные возбуждают наши желания и в конце концов притупляют их. Послушай меня, дитя мое! Даже если бы сейчас нашелся мужчина, который полюбил бы меня и я ответила бы ему взаимностью, испытал к нему такое же сильное чувство, какое ты испытываешь к Гастону, я сумела бы сохранить верность дорогим моему сердцу обязанностям и горячо любимой мною семье. Материнство, мой ангел, для сердца женщины нечто такое же простое, естественное, плодотворное, неистощимое, как стихии для природы. Я вспоминаю, как когда-то, почти четырнадцать лет тому, я ухватилась за самопожертвование и преданность долгу, как утопающий хватается за мачту разбитого корабля, — с отчаяния; однако теперь, окидывая внутренним взором всю мою жизнь, я понимаю, что и ныне положила бы самоотречение в основу своего существования, ибо это самое прочное и самое плодотворное из чувств. Пример твоей жизни, зиждущейся на жестоком, хотя и прикрытом поэзией сердца эгоизме, подтверждает мое мнение. Я никогда больше не буду говорить тебе об этом, но я не могла не высказать тебе в последний раз свои убеждения — ведь я вижу, что счастье твое переживает самое ужасное из испытаний. Я много размышляла о твоей жизни в деревне, и вот к какому я пришла выводу. Наше телесное бытие, равно как и бытие духовное, — не что иное, как цепь повторяющихся движений. Всякая неожиданность, нарушающая этот привычный ход вещей, несет с собой либо радость, либо горе, меж тем и радость, и горе — своего рода лихорадка, состояние кратковременное, ибо долго выносить его невозможно. Строить свою жизнь на крайностях — то же, что все время болеть. Ты больна своей страстной любовью, ты не даешь ей перерасти в ровное и чистое чувство, какое связует супругов. Да, ангел мой, теперь я признаю: радость супружеской жизни именно в покое, в глубоком понимании друг друга, в умении разделить счастье и горе супруга — во всем, что служит мишенью для пошлых шуток. О, какие мудрые слова сказала герцогиня де Сюлли[120], жена великого Сюлли, когда узнала, что муж ее, человек строгих правил, не погнушался завести любовницу. «Все очень просто, — сказала герцогиня, — в моих руках честь дома, и мне вовсе не к лицу играть роль куртизанки». В тебе больше чувственности, чем нежности, поэтому ты хочешь быть разом и женой и любовницей. У тебя душа Элоизы и страстность святой Терезы[121], под сенью закона ты творишь блуд, одним словом, ты подрываешь устои брака. Много лет назад, когда я перед свадьбой шла на уступки в надежде обрести впоследствии счастье, ты бранила меня за безнравственность, теперь же ты сама пускаешь в ход всевозможные уловки, чтобы продлить свое блаженство, и, значит, заслуживаешь упреков, которыми осыпала меня. Ты что же, хочешь подчинить и природу и общество своему капризу? Ты не меняешься, ты не желаешь стать взрослой женщиной, ты сохраняешь все желания и стремления юной девушки и притом не гнушаешься самым точным и торгашеским расчетом; ведь ты наряжаешься не бескорыстно? По-моему, все твои предосторожности свидетельствуют лишь о том, что ты не доверяешь мужу. О, милая Луиза, если бы ты знала, как сладостны старания матери, пестующей в себе доброту и нежность! Независимость и гордость моего нрава растворились в мягкой меланхолии, а ее в свой черед рассеяли радости материнства. Утро моей жизни было хмурым, но вечер будет чист и ясен. Боюсь, как бы у тебя не получилось наоборот.

Заканчивая письмо, я молю Бога, чтобы он надоумил тебя приехать хоть на денек к нам — ты узнала бы тогда, что такое семья с ее несказанными радостями, которые постоянны и вечны, ибо неподдельны, просты и послушны природе. Но увы! Мой разум не в силах побороть твое заблуждение — ведь оно делает тебя счастливой! У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я думаю об этом. Я искренно верила, что за несколько месяцев супружеской жизни ты насытишься и рассудок вернется к тебе, но я вижу, что ты ненасытна и, убив возлюбленного,

в конце концов сумеешь убить и самое любовь. Прощай, дорогая заблудшая овечка, я в отчаянии, ибо письмо, где я описывала мое счастье, надеясь вернуть тебя в общество, стало гимном твоему эгоизму. Да, в любви ты думаешь только о себе и любишь Гастона не столько ради него, сколько ради себя самой.

LIV

От госпожи Гастон к графине де л'Эсторад 20 мая.

Рене, беда пришла; нет, она не пришла, она обрушилась на бедную Луизу как гром среди ясного неба. Ты поймешь меня: под бедой я разумею подозрение в измене. Уверенность убила бы меня. Третьего дня я, совершив утренний туалет, хотела предложить Гастону немного погулять перед завтраком, но его нигде не было. Наконец я заглянула в конюшню и увидела, что кобыла Гастона вся в мыле; грум ножом снимал с ее крупа хлопья пены. «Кто это так заморил Федельту?» — спросила я. «Господин Гастон», — отвечал мальчик. На копытах лошади я увидела парижскую грязь — она совсем не похожа на деревенскую. «Он ездил в Париж», — подумала я. От этой мысли у меня вся кровь прихлынула к сердцу, в уме промелькнуло множество самых разных подозрений. Он ездил в Париж втайне от меня, выбрав время, когда я оставляю его в одиночестве, он спешил, он едва не загнал Федельту!.. Предчувствие беды так сдавило мне грудь, что я чуть не задохнулась. Я сделала несколько шагов и опустилась на скамью, чтобы прийти в себя. Тут и застал меня Гастон. Увидев мое бледное, испуганное лицо, он торопливо и встревожено спросил, что со мной. Я встала и взяла его за руку, но ноги у меня подкашивались, и мне пришлось снова сесть; тогда он поднял меня на руки и отнес в гостиную; перепуганная прислуга последовала за нами, но Гастон мановением руки отослал всех. Когда мы остались одни, я, не говоря ни слова, заперлась в спальне и дала волю слезам. Гастон часа два стоял под дверью, слушая мои рыдания и с ангельским терпением уговаривая меня объяснить, что случилось. Я не отвечала. «Я не выйду к вам, покуда у меня красные глаза, а голос дрожит», — сказала я наконец. Мое «вы» так поразило его, что он выбежал из дома. Я умылась ледяной водой, привела себя в порядок, отворила дверь нашей спальни и увидела Гастона — он вернулся так тихо, что я и не слышала. «Что с тобой?» — снова спросил он. «Ничего», — отвечала я. — Я увидела на копытах Федельты парижскую грязь, я не понимаю, отчего ты поехал в город, не сказав мне ни слова; впрочем, ты свободен». — «В наказание за недоверие тебе придется ждать моих объяснений до завтра», — сказал он. «Посмотри мне в глаза», — попросила я и устремила на него взор: бесконечность проникла в бесконечность. Нет, я не заметила того облачка, которым неверность обволакивает душу и замутняет ясность зрачков. Тревога моя не прошла, но я притворилась успокоенной. Мужчины умеют обманывать и лгать не хуже нас! Больше мы не расставались. Временами, глядя на него, я особенно остро чувствовала, как неразрывно мы с ним связаны. Какой трепет охватил меня, когда он отлучился на мгновение, а потом вернулся! Вся моя жизнь в нем, а не во мне. Твое жестокое письмо получило жестокое опровержение. Разве чувствовала я себя когда-нибудь такой зависимой от моего чудесного испанца, для которого я была тем, чем этот безжалостный мальчишка стал для меня? Как я ненавижу его лошадь! Зачем мне вообще понадобилось заводить лошадей! Но в таком случае надежнее всего было бы отрубить Гастону ноги или держать его взаперти, как в тюрьме. Я долго размышляла об этих глупостях — представляешь, до какого безрассудства я дошла?! Если любовь угасла, мужчине рано или поздно становится скучно, и тогда никакая сила не удержит его. «Я тебе надоела?» — спросила я его в упор, надеясь застать врасплох. «Зачем ты мучишь себя понапрасну? — ответил он, глядя на меня с кротким сочувствием. — Я никогда еще не любил тебя так сильно!» — «Если это правда, мой обожаемый ангел, — сказала я, — позволь мне продать Федельту!» — «Продай!» — услышала я в ответ. Это слово хлестнуло меня, как пощечина. Всем своим видом Гастон словно говорил: «Ты богачка, здесь

все твое, а я никто, мои желания не в счет». Быть может, я все это выдумала, и он не имел в виду ничего подобного, но эта мысль была сильнее меня, и я снова покинула его: наступила ночь, пора было ложиться спать.

О Рене! Тот, кто остается один во власти мучительных раздумий, может дойти до самоубийства. Эти райские кущи, эта звездная ночь, этот свежий ветерок, доносивший до меня благоуханье наших цветов, наша долина, наши холмы — все казалось мне мрачным, темным и пустынным. Я была словно на дне пропасти, среди змей и ядовитых растений; мне казалось, что небеса опустели. Такая ночь делает женщину старухой.

«Возьми Федельту, поезжай в Париж, — сказала я наутро Гастону. — Не будем продавать ее; я ее люблю — ведь на ней ездил ты».

Но плохо сдерживаемая ярость, звучавшая в моем голосе, не обманула его. «Верь мне», — ответил он, протягивая мне руку и глядя прямо в глаза; и жест его, и взгляд были исполнены такого благородства, что я почувствовала себя уничтоженной. «Как мелочны мы, женщины!» — воскликнула я. «Нет, просто ты любишь меня, вот и все», — сказал он, привлекая меня к себе. «Поезжай в Париж один», — сказала я, давая понять, что все мои подозрения рассеялись. Я думала, он останется, но он уехал! Не стану описывать тебе мои мучения. Во мне проснулось другое «я», о существовании которого я даже не подозревала. Для любящей женщины сцены такого рода полны трагической значительности: в эти мгновения мы словно заглядываем в бездонную пропасть; ничто становится всем, мы читаем во взгляде, как в книге, слова кажутся холодными как лед, губы неслышно произносят смертный приговор. Я надеялась, что он вернется с полдороги — ведь я выказала довольно благородства и великодушия. Я поднялась на вершину холма и проводила его глазами. Ах! милая Рене, он скрылся из виду с быстротой молнии. «Как он спешит!» — подумала я невольно. Оставшись одна, я снова погрузилась в ад подозрений и догадок. Временами уверенность в измене казалась мне бальзамом в сравнении с муками сомнений! Сомнение — поединок человека с самим собой, и в этом поединке мы наносим себе страшные раны. Я металась по саду, кружила по аллеям, возвращалась в дом и снова, как безумная, выбегала в сад. Гастон уехал в семь часов, а вернулся только в одиннадцать; дорога в Париж через парк Сен-Клу[122] и Булонский лес занимает всего полчаса, значит, он провел в Париже целых три часа. Вернувшись, он с торжествующим видом вручил мне каучуковый хлыстик с золотой рукоятью. Мой прежний хлыст, старый и истрепанный, уже две недели как порвался. «И из-за этого ты так мучил меня?» — воскликнула я, любясь тонкой работой рукоятки с курильницей на конце. И тут я поняла, что за этим подарком кроется новый обман, но не подала виду и бросилась Гастону на шею, ласково журя его за то, что он подверг меня таким страданиям из-за сущего пустяка. Он решил, что хитрость удалась, и я увидела в его повадке и взгляде тайную радость человека, который сумел обмануть другого; в такие минуты душа наша начинает как бы светиться неким слабым светом, ум наш испускает некий луч, который играет в чертах лица, сквозит в каждом движении. С восхищением разглядывая красивый хлыстик, я выбрала минуту, когда мы смотрели друг другу в глаза, и спросила: «Кто же сделал эту прелестную вещицу?» — «Один художник, мой друг». — «А-а, понятно, Вердье только продал ее», — сказала я, прочтя надпись на рукоятке. Гастон все такое же дитя, как прежде; он покраснел. Я осыпала его ласками, чтобы вознаградить за стыд, который он испытал, когда его обман раскрылся. Впрочем, я притворилась простушкой, и он, верно, решил, что я ничего не поняла.

25 мая.

Назавтра около шести утра я надела костюм для верховой езды и в семь была уже у Вердье, где увидела несколько точно таких же хлыстиков. Я показала мой хлыстик, и один из приказчиков тотчас узнал его. «Вчера его купил у нас молодой человек», — сказал он. Я описала наружность моего обманщика Гастона, и последние сомнения рассеялись. Мне нет нужды рассказывать тебе, как сильно билось мое сердце по пути в Париж и во время

короткого разговора в магазине, — ведь решалась моя судьба. Я вернулась в половине восьмого, и когда Гастон вышел из спальни, уже успела надеть нарядное утреннее платье и прогуливалась с обманчивой беззаботностью, в полной уверенности, что моя отлучка, в тайну которой я посвятила только старого Филиппа, останется незамеченной. Мы вместе пошли к пруду. «Гастон, — сказала я, — я прекрасно могу отличить единственное в своем роде произведение искусства, любовно исполненное художником для одного человека, от подделки, какие во множестве изготавливают ремесленники», — и я указала ему на ужасное вещественное доказательство. Гастон побледнел. «Друг мой, — продолжала я, — это не хлыстик, это ширма, за которой вы прячете вашу тайну». Тут, дорогая моя, я доставила себе удовольствие и долго любовалась, как он блуждает в дебрях лжи и лабиринтах обмана, проявляя чудеса ловкости в поисках лазейки, но не находя выхода и оставаясь лицом к лицу с противником, который в конце концов позволяет себя обмануть. Я проявила снисходительность, но, как всегда бывает в таких случаях, слишком поздно. Хуже того, я совершила оплошность, о которой некогда предупреждала меня матушка. Моя ревность явилась с открытым забралом и превратила нас с Гастоном в противников, сражающихся по всем правилам военного искусства. Ревность, милая моя, по самой сути своей глупа и груба. Я дала себе клятву, что отныне буду страдать молча, следить за каждым шагом Гастона, и если удостоверюсь в измене, порву с ним либо примирюсь со своим несчастьем: благовоспитанной женщине больше ничего не остается. Что же он от меня скрывает? Ведь он положительно что-то скрывает. В тайну замешана женщина. Быть может, это какой-то грех юности, которого он стыдится? Что же это? Что? Повсюду я вижу эти три огненные буквы. Я читаю это роковое слово в зеркале пруда, на клумбах, в облаках на небе, на потолке, на столе, среди цветов, вытканых на ковре. Во сне какой-то голос кричит мне: «Что?» С этого утра жизнь наша превратилась в жестокую борьбу, и я узнала самое мучительное подозрение, какое только может терзать сердце женщины, — подозрение, что мужчина, которому ты принадлежишь, тебе неверен. О, дорогая моя, такая жизнь — метание между раем и адом. Мне, дотопле так свято любимой, еще не доводилось бывать в подобном пекле.

«Ты хотела проникнуть в пылающие мрачным огнем бездны страдания? — говорила я себе. — Ну что ж, демоны услышали твое роковое желание: ступай же, несчастная!»

30 мая.

С этого дня Гастон, прежде работавший с медлительностью и нерадением богатого художника, который нежно лелеет свое детище, стал трудиться с усердием писателя, который живет своим пером. Он взялся дописать две свои пьесы и исправно посвящает этой работе четыре часа в день. «Ему нужны деньги!» — подсказал мне внутренний голос. Он почти ничего не тратит; мы полностью доверяем друг другу, и в кабинете его нет уголка, куда я не могу заглянуть; расходы его не превышают двух тысяч франков в год, а в ящике его стола, это я знаю наверное, лежат без дела тридцать тысяч франков. Ты догадываешься, как я поступила. Ночью, когда он заснул, я пошла взглянуть, на месте ли эти деньги. Какая леденящая дрожь охватила меня, когда я увидела, что ящик пуст! Через несколько дней я узнала, что он ездит в Севр за письмами; должно быть, он читает их на почте и тут же рвет, ибо, несмотря на все мои уловки, достойные Фигаро, я не обнаружила ни малейшего их следа. Увы, ангел мой, я забыла все клятвы и обещания, какие давала сама себе после истории с хлыстиком, и в порыве безумия бросилась за ним в почтовую контору. Гастон был в ужасе: я застала его верхом на лошади, с письмом в руке; он платил за почтовые расходы. Пристально посмотрев на меня, он пустил Федельту таким быстрым галопом, что, подъезжая к нашим воротам, я почувствовала себя совсем разбитой, хотя полагала, что невыносимые душевные страдания заглушат физическую усталость. Гастон молча ждал, пока нам откроют ворота.

Я была ни жива ни мертва. Виноват он или нет, мое шпионство в любом случае недостойно Арманды Луизы Марии де Шолье. Я скатилась на дно общества, я опустилась ниже гризетки, ниже женщины из простонародья, я вела себя, как куртизанка, как актриса, как последняя

девка. Что за мука! Наконец ворота отворились, Гастон передал поводья груму, я спешила вслед за ним и упала в его объятия.левой рукой я подобрала подол амазонки, правую подала ему, и мы пошли к дому... по-прежнему не произнося ни слова. Мы сделали сотню шагов, но эти минуты стоят сотни лет чистилища. Множество мыслей, словно языки пламени, плясали у меня в голове; почти осязаемые, они терзали мою душу, вонзая в нее свои ядовитые жала. Когда грум с лошадьми отошел подальше, я остановила Гастона, взглянула на него и с горячностью спросила, указывая на злосчастное письмо, которое он по-прежнему держал в правой руке: «Позволь мне прочесть?» Гастон протянул мне конверт, я сломала печать и прочла письмо; Натан[123], драматург, уведомлял Гастона, что одна из наших пьес принята, разучена и репетируется; премьера, писал он, состоится в будущую субботу. В конверт был вложен билет в ложу. Хотя это письмо перенесло меня из ада в рай, какой-то демон не унимался и кричал, омрачая мою радость: «А где тридцать тысяч франков?» Но достоинство, честь, все мое прежнее «я» мешали мне задать этот вопрос Гастону, хотя он вертелся у меня на языке; я знала, что если моя мысль облечется в слова, мне останется только броситься в пруд, и я изо всех сил сдерживала себя. Ах, дорогая, по силам ли женщине такие страдания? «Тебе скучно, бедный мой Гастон, — сказала я, возвращая ему письмо. — Если хочешь, вернемся в Париж». — «В Париж? Зачем? — изумился он. — Я просто хотел узнать, есть ли у меня талант, и вкусить плоды успеха».

Я могла бы, конечно, улучшить минуту, когда он будет работать, порыться в ящике и изобразить удивление, не обнаружив на месте этих тридцати тысяч, но не значит ли это напраситься на ответ: «Я одолжил их другу»? Гастон человек умный, он в любом случае ответит именно так.

Милая моя, достоверно одно: пьеса, о которой сейчас говорит весь Париж, написана нами, хотя вся слава досталась Натану. Я одна из двух звездочек, обозначенных на афише: «И г. **». Я была на первом представлении и весь вечер просидела, забившись в уголок одной из лож партера.

1 июля.

Гастон продолжает работать и ездить в Париж; он пишет новые пьесы, чтобы иметь предлог для отлучек и заработать побольше денег. Три наши пьесы приняты и заказаны еще две. О дорогая моя, я погибла, я блуждаю во мраке. Я готова сжечь свой дом, лишь бы рассеять тьму. Что означает его поведение? Быть может, ему стыдно жить на мои средства? Но его устремления слишком возвышенны, он не думает о таких пустяках. Кроме того, если мужчина начинает вдруг испытывать угрызения совести, причина, как правило, кроется в делах сердечных. От любимой жены мужчина принимает все, но он ничего не хочет принимать от женщины, которую разлюбил и собирается оставить. Если ему понадобилось много денег, значит, у него есть любовница. Ведь если бы деньги нужны были ему самому, он попросил бы у меня не чинясь столько, сколько нужно. Ведь у нас есть сто тысяч франков сбережений! Словом, моя прелестная козочка, я перебрала кучу предположений, все хорошенько взвесила и убеждена, что у меня есть соперница. Он хочет меня оставить — ради кого? Я хочу видеть ее.

10 июля.

Теперь я знаю наверное: я погибла. Да, Рене, в тридцать лет, во всем блеске красоты и ума, всегда свежая и элегантная, блистающая соблазнительными туалетами, я обманута и покинута, и ради кого? Ради какой-то англичанки, толстоногой, ширококостой, большегрудой — настоящей британской коровы. Сомнений больше нет. Вот что произошло в последние дни.

Устав от сомнений — ведь если он помог другу, то мог бы сказать мне об этом прямо, — считая его молчание доказательством вины и видя, как постоянная потребность в деньгах

понуждает его к работе — а я ревную его и к сочинительству, — обеспокоенная его частыми поездками в Париж, я приняла свои меры и при этом пала так низко, что и описать тебе не могу. Три дня назад я узнала, что мой Гастон отправляется на улицу Виль-Левек и — неслыханная вещь для Парижа — ни одна живая душа не знает, что он там делает. Неразговорчивый привратник рассказал мне немного, но довольно, чтобы привести меня в отчаяние. Тогда я решила узнать все, пусть даже ценой своей жизни. Я поехала в Париж, сняла квартиру в доме напротив и собственными глазами увидела, как Гастон въезжает во двор. О! Самые отвратительные и ужасные мои подозрения очень скоро подтвердились. Англичанка — на вид ей лет тридцать шесть — именуется госпожой Гастон. Это открытие сразило меня. Наконец, я увидела ее с детьми — она вела их гулять в Тюильри. Да, дорогая моя, у нее двое детей, как две капли воды похожих на Гастона. Невозможно не поразиться этому возмутительному сходству... И какие прелестные дети! Она одевает их роскошно, как это умеют англичанки. Все разъяснилось: она подарила ему детей! Эта англичанка похожа на греческую статую, сошедшую с пьедестала: она бела и холодна, как мрамор, она гордо шествует походкой счастливой матери. Надо признаться, она хороша собой, но красота ее тяжелая, как у военного корабля. В ней нет ни тонкости, ни изящества: конечно, она не леди, а дочь мелкого фермера из богом забытой деревеньки в одном из отдаленных графств или одиннадцатая дочь какого-нибудь бедного пастора. Я вернулась из Парижа едва живая. Сонм мыслей осаждал меня, словно сонмище демонов. Замужем ли она? Был ли он знаком с ней до того, как женился на мне? А может, она была любовницей какого-нибудь богача, который бросил ее, и она снова оказалась на попечении Гастона? Я строила догадки до бесконечности, словно была нужна в догадках после того, как я своими глазами увидела детей. Назавтра я вновь приехала в Париж. Я заплатила привратнику щедрую мзду, чтобы на вопрос: «Госпожа Гастон состоит в законном браке?» — получить ответ: «Да, мадемуазель».

15 июля.

Дорогая моя, с этого дня я стала выказывать Гастону еще больше любви, чем прежде, и он тоже нежен со мной, как никогда. Он так молод! Я уже раз двадцать готова была спросить: «Так ты любишь меня больше, чем ту женщину с улицы Виль-Левек?» Даже самой себе я не решаюсь объяснить причину моего молчания. «Ты любишь детей?» — спросила я его. «О, чрезвычайно, — ответил он, — они у нас непременно будут!» — «Откуда ты знаешь?» — «Я обращался к лучшим докторам, они в один голос советуют мне отправиться в путешествие месяца на два». — «Гастон, — сказала я, — если бы я могла жить в разлуке с любимым человеком, я до конца своих дней оставалась бы в монастыре». Он рассмеялся, а меня, дорогая, этот разговор о путешествии просто убил. О! Уж лучше выпить горькую чашу залпом, чем пить яд по капле. Прощай, мой ангел, моя смерть будет легкой, прекрасной, но неотвратимой. Вчера я написала завещание, теперь ты можешь приехать повидаться со мной, запрет снят. Приезжай проститься. Смерть моя, как и моя жизнь, будет благородной и изысканной: я умру такой же молодой и красивой, какой была.

Прощай, милая сестра по духу, твоя привязанность не знала обид, не знала взлетов и падений, она, как ровный свет луны, всегда ласкала мое сердце; мы не ведали пылких радостей, но не изведали и ядовитой горечи любви. Ты мудро провидела жизнь.

Прощай.

LV

От графини де л'Эсторад к госпоже Гастон 16 июля.

Дорогая Луиза, посылаю это письмо с нарочным, а следом примчусь к тебе сама. Успокойся.

Твое последнее письмо показалось мне таким безумным, что я решилась все рассказать Луи: ведь необходимо было спасти тебя от тебя же самой. Мы, как и ты, прибегли к ужасным средствам, но исход наших розысков оказался таким счастливым, что ты, я уверена, одобришь нас. Я унизилась до того, что обратилась к помощи полиции, но это наша тайна: в нее посвящены только префект, мы и ты. Гастон ангел! А дело вот в чем: его брат Луи Гастон служил в торговой компании в Калькутте, разбогател и собирался вернуться во Францию с женой и детьми. Женился он на вдове английского негодяя, владелице огромного состояния. Десять лет Луи Гастон трудился, чтобы обеспечить себя и нежно любимого брата, которому он ни слова не говорил в письмах о своих затруднениях. Банкротство знаменитого Халмера застало его врасплох. Вдова была разорена, Луи Гастон потерял голову от горя. Он пал духом, и это подточило его здоровье. Он не смог одолеть недуг и умер в Бенгалии, куда отправился в надежде спасти остатки состояния своей бедной жены. Этот благородный капитан еще до несчастья доверил одному банкиру триста тысяч франков, которые тот обещал переправить Мари Гастону, однако этот банкир был связан с Халмером — таким образом, Гастоны лишились последних сбережений. Вдова Луи Гастона — та самая женщина, которую ты приняла за свою соперницу, — приехала в Париж с двумя детьми, твоими племянниками, без единого су. Денег, вырученных за фамильные драгоценности, едва хватило на то, чтобы добраться до Франции. Сведения, которые Луи Гастон сообщил своему банкиру, помогли вдове разыскать прежнюю квартиру твоего мужа. Но Мари Гастон съехал, не оставив адреса, поэтому госпожу Луи Гастон направили к д'Артезу — единственному человеку, который знал, где находится Мари Гастон. Д'Артез с великодушием и щедростью позаботился о молодой женщине; он помнил, как четыре года назад Луи Гастон, в ту пору еще счастливый и богатый, справлялся у него о своем младшем брате. Зная, что они с д'Артезом друзья, капитан спрашивал, как переправить Мари Гастону скопленную для него сумму. Д'Артез ответил, что Мари Гастон женился на баронессе де Макюмер и живет в довольстве. Разве это не трогательно: красота, чудесный дар матери, принесла счастье обоим братьям — и в Индии, и в Париже. Конечно, д'Артез немедленно уведомил твоего мужа о том, в каком бедственном положении оказались вдова и дети Луи Гастона, известил он его и о благородстве, с каким индийский Гастон намеревался помочь Гастону парижскому. Твой милый Гастон, как ты понимаешь, поспешил в Париж. Вот причина его первой отлучки. Те деньги, что ты заставила его принять перед свадьбой, вместе с процентами за пять лет составили пятьдесят тысяч франков; он положил их на имя своих племянников, каждый из них будет получать тысячу двести франков ренты; затем он обставил квартиру, где живет твоя невестка, и обещал выдавать ей каждые три месяца три тысячи франков. Вот почему он так усердно работал для театра, вот почему так радовался успеху своей первой пьесы. Таким образом, госпожа Гастон тебе отнюдь не соперница и по праву носит то же имя, что и ты. Должно быть, Гастон, как человек благородный и щепетильный, скрыл от тебя эту историю, опасаясь твоей щедрости. Твой муж не считает твои деньги своими. Д'Артез прочел мне письмо, которое Гастон написал ему перед свадьбой: муж твой говорит в нем, что был бы совершенно счастлив, если бы не его долги, которые тебе пришлось заплатить, и не разница вашего положения. Есть люди, не знающие, что такое щепетильность и деликатность, но для того, кого природа наделила чистой душой, эти чувства вполне естественны. Нет ничего удивительного в том, что Гастон хотел сам, втайне от тебя обеспечить вдову брата, которая в свое время готова была подарить ему сто тысяч экю из своего собственного состояния. Эта женщина горда, хороша собой и получила прекрасное воспитание; правда, она не блещет умом. Она прежде всего мать; для меня этого было довольно, чтобы полюбить ее с первого взгляда: когда я пришла, она держала одного ребенка на руках, а другой, одетый как маленький лорд, стоял рядом. Все ради детей! — эта мысль сквозила в каждом ее движении. Так что у тебя нет причин сердиться на твоего обожаемого Гастона, напротив, он в полной мере достоин самой страстной любви! Я видела его, он самый очаровательный молодой человек во всем Париже. О да, дорогое дитя, глядя на него, я отлично поняла, что в него можно влюбиться без памяти: лицо его так же прекрасно, как и душа. На твоём месте я пригласила бы вдову с детьми в твою усадьбу, построила для них какой-нибудь хорошенький флигель и любила бы ее детей как своих. Так что успокойся и займись приготовлением этого

сюрприза для Гастона.

LVI

От госпожи Гастон к графине де л'Эсторад

Ах, любимая моя Рене, я скажу тебе ужасные, роковые, дерзкие слова, которые безмозглый Лафайет сказал своему повелителю, своему королю: «Слишком поздно!»[124] О, моя жизнь, моя прекрасная жизнь, какой доктор может вернуть мне ее? Я сама обрекла себя на смерть. Увы! Подобно блуждающему огоньку, я угасаю, едва успев сверкнуть. Я плачу в три ручья... а плакать я могу только вдали от него... Он ищет меня, а я бегу его. Я таю мое отчаяние. Данте в своем «Аде» забыл рассказать о моей пытке. Приезжай, я хочу повидать тебя перед смертью.

LVII

От графини де л'Эсторад к графу де л'Эстораду Шале, 7 августа.

Друг мой, возьми детей и поезжай с ними в Прованс без меня; я остаюсь подле Луизы, дни которой сочтены; я должна быть рядом с ней и ее мужем, который, боюсь, сойдет с ума от горя.

Получив известную тебе короткую записку Луизы, я помчалась в Виль-д'Авре, захватив с собою докторов; вот уже две недели, как я ни на шаг не отхожу от моей подруги — мне некогда было даже написать тебе.

Когда я приехала, она вышла мне навстречу вместе с Гастоном, красивая, нарядная, с радостной улыбкой на устах. Какая благородная ложь! Эти двое прелестных детей объяснились и помирились. На мгновение я, как и Гастон, поддалась дерзкому обману, но Луиза сжала мне руку и шепнула: «Надо отвести ему глаза, я умираю». Леденящий холод пронизал меня; рука ее горела, на щеках пылал румянец. Я похвалила себя за осторожность: чтобы никого не пугать, я попросила докторов погулять по парку, куда я за ними не пришлю.

«Оставь нас, — попросила Луиза Гастона. — После пятилетней разлуки подругам есть о чем поговорить наедине; Рене наверняка хочет что-нибудь рассказать мне по секрету».

Когда Гастон ушел, Луиза бросилась мне на шею, не в силах сдержать слез. «Что случилось? — спросила я. — На всякий случай я привезла к тебе четырех докторов; среди них лучший парижский хирург, лучший врач центральной больницы и знаменитый Бьяншон». — «О, если они могут меня спасти, если еще не поздно, зови их! — вскричала она. — Теперь я так же страстно хочу жить, как раньше хотела умереть». — «Но что ты натворила?» — «Я за несколько дней довела себя до сильнейшей чахотки». — «Каким образом?» — «Ночью я спала под таким теплым одеялом, что покрывалась испариной, а утром по росе бежала к пруду. Гастон думает, что у меня легкая простуда, а я умираю». — «Отошли же его в Париж, а я побегу за докторами», — сказала я и как безумная бросилась к тому месту, где оставила своих спутников.

Увы, друг мой, доктора осмотрели ее и ни один из этих ученых мужей не оставил мне ни тени

надежды, все они убеждены, что, когда начнут опадать листья, Луиза умрет[125]. Сложение моей подруги сыграло зловещую роль: она была предрасположена к чахотке и сама разожгла очаг болезни, она могла бы жить долго, но в несколько дней сделала недуг неизлечимым. Не буду описывать тебе, какие чувства я испытала, услышав этот не подлежащий обжалованию приговор. Ты ведь знаешь: жизнь Луизы всегда была для меня все равно что моя собственная. Я была в таком отчаянии, что даже не проводила этих безжалостных докторов. Не знаю, сколько времени просидела я с мокрым от слез лицом, во власти мучительных дум. Небесный голос пробудил меня от оцепенения. «Значит, все кончено?» — сказала Луиза, кладя руку мне на плечо. Она заставила меня встать и увлекла в маленькую гостиную. «Не покидай меня, — попросила она, глядя на меня с мольбой, — я не хочу видеть кругом одно горе; главное — обмануть его, на это у меня хватит сил. Я молода, полна энергии, я сумею умереть стоя. Мне не на что жаловаться, я умираю так, как хотела: в тридцать лет, молодая, красивая, не утратив ни капли своего очарования. А он... теперь я понимаю, что принесла бы ему несчастье. Я запуталась в сетях моей любви, как козочка, пытаюсь вырваться из плена, душит себя веревкой; ведь из нас двоих козочка — это я, и очень дикая. Моя беспричинная ревность ранила его в самое сердце и заставила страдать. Но если бы он встретил мои подозрения с равнодушием, каким обычно платят за ревность, я умерла бы. Я жила полной жизнью. Есть люди, которым по бумагам шестьдесят лет, хотя по-настоящему они прожили от силы два года; со мной получилось наоборот: все думают, что мне только тридцать, на самом же деле я прожила шестьдесят лет любви. Значит, и для меня, и для него моя смерть — счастливая развязка. Ты — другое дело, ты теряешь любящую сестру, и эта потеря невозполнима. Ты, одна ты должна оплакать здесь мою смерть... Моя смерть, — продолжала она после долгого молчания, когда я смотрела на нее сквозь слезы, — суровый урок. Мой милый доктор в корсете прав: супружество не должно зиждиться ни на страсти, ни даже на любви. Твоя жизнь прекрасна и благородна, ты шла своим путем, все сильнее и сильнее привязываясь к своему Луи; если же супружеская жизнь начинается на вершине страсти, как у меня, любовь может только убывать. Я дважды ошибалась и дважды Смерть своей костлявой рукой разрушала мое счастье. Сначала безногая похитила у меня самого благородного и преданного из мужчин, а сегодня она похищает меня у самого прекрасного, нежного и возвышенного супруга на свете. Но зато я узнала, что такое идеально прекрасная душа и идеально прекрасная наружность. У Фелипе душа властвовала над телом и преображала его; у Гастона сердце, ум и красота соперничают меж собой в совершенстве. Я умираю, оставаясь безгранично любимой, — чего же мне еще желать?.. Только примирения с Господом — я, пожалуй, частенько забывала о нем, но я вознесусь к нему, исполненная любви, и умолю его воссоединить меня когда-нибудь на небе с этими двумя ангелами. Без них рай был бы для меня пустыней. Моя жизнь — не пример для подражания: я всего лишь исключение. Другого Фелипе, другого Гастона не найти — закон общества не расходится в моем случае с законом природы. Да, женщина существо слабое; вступая в брак, она должна полностью принести свою волю в жертву мужчине, который взамен приносит ей в жертву свой эгоизм. Бунты и слезы, которыми наш пол в последнее время так громко выражает свое недовольство, — вздор, способный лишь подтвердить мнение множества философов, называющих нас детьми».

Своим нежным голосом, который ты так хорошо знаешь, она вела эти речи, исполненные самого безукоризненного изящества и здравомыслия, до тех пор, пока не вернулся Гастон. Он привез из Парижа вдову своего брата, ее детей и англичанку-няню, которую нашел по настоянию Луизы. «Вот мои прелестные палачи, — сказала она при виде племянников. — Как можно было не обмануться? Они так похожи на своего дядю!» Луиза очень приветливо встретила госпожу Гастон-старшую и просила ее чувствовать себя в шале как дома; она приняла ее с почтительным радушием истинной Шолье. Я поспешила написать герцогу и герцогине де Шолье, герцогу де Реторе и герцогу де Ленонкуру-Шолье с Мадленой. Я поступила правильно. На следующий день, утомленная непосильным для нее напряжением, Луиза уже не выходила из дому, она смогла лишь ненадолго встать с постели, чтобы выйти к столу. Мадлена де Ленонкур, братья и мать Луизы приехали вечером. После замужества

Луизы отношения ее с родными стали весьма прохладными, но теперь этот холодок рассеялся. Братья и отец Луизы приезжают к нам каждое утро, а обе герцогини проводят в шале все вечера. Смерть не только разлучает, ей случается сблизать людей и прогонять мелочные обиды. Луиза великолепна: она исполнена грации, разума, очарования, остроумия и чувствительности. Даже на пороге смерти она выказывает свой тонкий вкус и расточает сокровища ума, снискавшего ей славу одной из королев Парижа.

«Я хочу быть красивой даже в гробу», — сказала она мне со своей неподражаемой улыбкой, опуская голову на подушку: она уже две недели не встает с постели.

В ее спальне не заметно никаких следов болезни: микстуры, порошки, все лекарства спрятаны.

«Разве моя смерть не прекрасна?» — спросила она вчера у севрского кюре, который пришел исповедать ее.

Мы все жадно наслаждаемся обществом Луизы; Гастон, которого ужасные открытия и тревоги последних дней подготовили к печальному концу, не теряет мужества, но он ранен в самое сердце: я не удивлюсь, если он сойдет в могилу вслед за женой. Вчера он сказал мне, когда мы гуляли у пруда: «Я должен заменить этим двум малышам отца... — и он указал мне на детей, игравших подле его невестки. — Но хотя я не собираюсь добровольно покинуть этот мир, обещайте мне в случае моей смерти стать этим детям второй матерью и уговорить вашего мужа взять на себя их спеку совместно с моей невесткой». Он сказал это совершенно спокойно, как человек, который чувствует близкую смерть. На улыбки Луизы он отвечает улыбками, но я-то знаю правду. Просто он не уступает мужеством своей жене. Луиза пожелала видеть своего крестника, но я довольна, что он далеко: она, чего доброго, стала бы баловать его дорогими подарками, а это поставило бы меня в неловкое положение.

До свидания, мой друг.

25 августа (день ее рождения).

Вчера вечером Луиза впала в беспамятство, но у людей высшего ума даже приступы безумия протекают иначе, нежели у буржуа или глупцов. Она спела угасшим голосом несколько итальянских арий из «Пуритан», «Сомнамбулы» и «Моисея»[126]. Мы все сидели молча вокруг постели, и у всех у нас, даже у ее брата Реторе, в глазах стояли слезы, ведь всем было ясно, что с пением душа ее покидает тело. Она нас уже не видела. Слабый божественно нежный голос ее не утратил своего очарования. Агония началась ночью. В семь утра я, как обычно, зашла к ней; собрав остаток сил, она попросила, чтобы ее усадили у окна. Гастон взял ее за руку — так ей хотелось... А потом, друг мой, душа прелестнейшего ангела, какой жил на этой земле, отлетела. Вчера, воспользовавшись тем, что Гастон ненадолго прилег отдохнуть, она причастилась и соборовалась, а нынче, сидя у окна, велела, чтобы я прочла ей по-французски «De profundis»[127], пока она будет прощаться с прекрасным садом — ее собственным созданием. Она мысленно повторяла за мной слова и сжимала руки своего мужа, стоявшего на коленях по другую сторону кресла.

26 августа.

Сердце мое разбито. Я только что видела ее в саване, осунувшуюся, бледную до синевы. О, я хочу видеть моих детей! Мои дети! Привези ко мне детей!

Примечания

Роман входит в «Этюды о нравах» («Сцены частной жизни»). Опубликован в газете «Пресс» 26 ноября 1841 г. — 15 января 1842 г. (без предисловия и посвящения); отдельное издание И. Суверена — в январе 1842 г. (с предисловием и посвящением). Поскольку газетная публикация осуществлялась с «чистых листов» сувереновского издания, куда Бальзак вносил правку, ее следует, несмотря на более ранний выход в свет, считать более поздней, чем издание Суверена.

Роман был задуман еще в 1834 г.; тогда, однако, Бальзак намеревался создать «Воспоминания одной молодой женщины»; в марте и апреле издатель «Ревю де Пари» Ф. Бюлоз даже анонсировал это произведение на обложке своего журнала, но Бальзак вместо него принес Бюлозу «Лилию долины». Впрочем, сюжет этих первоначальных «Воспоминаний» должен был развиваться не так, как в окончательном варианте романа; Бальзак предполагал написать историю на тему «Как совершаются разводы?» (набросок заглавия из записной книжки 1840).

С «Воспоминаниями двух юных жен» связан и другой замысел, зафиксированный в записной книжке 1835 г., — «Сестра Мария Ангельская». Два этих замысла существовали в сознании Бальзака рядом (в письме к Ганской от 20 января 1838 г. он называет их «двумя самыми любимыми»). Реликт этой связи — деталь, присутствовавшая в первом отдельном издании, а в дальнейшем Бальзаком исключенная: Луизе предстоит принять постриг под именем «сестры Марии Ангельской». Историю о монахини Марии Бальзак планировал включить в «Философские этюды» и в письме к Ганской от 16 января 1835 г. называл заглавную героиню «Луи Ламбером женского пола» (ПГ, Т.1. Р.295—296). Он собирался рассказать об экзальтированной и возвышенной любви к Богу, задыхающейся в рамках мелочных монастырских правил. Впрочем, короткие наброски, относящиеся к этому замыслу, никак не связаны напрямую с романом о Луизе и Рене.

Следующий шаг на пути к «Воспоминаниям двух юных жен» — замысел романа в письмах «Жюль, или Новый Абельяр» (1837); роман этот должен был представлять собой переписку двух влюбленных, которые от земной, плотской любви приходят к любви небесной. Одновременно у писателя возникает желание рассказать о счастливой любви: «Я никогда не читал книги, где была бы описана счастливая любовь; Руссо чересчур риторичен, Ричардсон чересчур рассудителен, поэты слишком большие украшатели, романисты-рассказчики слишком привязаны к фактам <...> никто еще не описал беспричинные взрывы ревности, безумные страсти, величие любовного самозабвения» (письмо к Ганской от 20 мая 1838 г. — ПГ. Т.1. Р.601). Вскоре (8 августа 1838 г.) Бальзак излагает Ганской начало этого романа о любви: юная девушка, воспитывавшаяся в монастыре, впервые попадает в Париж и рассказывает о нем, «как перс у Монтескье» (ПГ. Т.1. Р.612). К 1840 г. у Бальзака уже были готовы наброски начала романа, соответствующие семи первым письмам окончательного варианта «Воспоминаний двух юных жен»; само это заглавие возникло в ноябре 1840 г., когда вторая героиня, Рене, перестала играть роль пассивной confidentки, которая была уготована ей поначалу.

До 1841 г. Бальзак в соответствии с замыслами «Сестры Марии Ангельской» и «Жюля, Или Нового Абельяра» хотел привести Луизу от земной любви к экзальтированной религиозности, однако затем он отказался от второго намерения. Мистическая философия ушла из романа, а на первое место вышла философия социальная — описание брака как упорядочивающего общественного установления и страсти как разрушительной стихии, подтачивающей общественный порядок и растрачивающей жизненные силы.

Название романа может вызвать недоумение — перед нами не столько «Воспоминания», сколько «Письма» двух юных жен. По-видимому, это реликт самого первого замысла, когда будущий роман назывался «Воспоминания одной юной женщины» и еще не имел эпистолярной формы.

Для некоторых персонажей романа можно указать прототипы. В образе Макюмера различимы черты Франсиско Мартинеса де ла Росы (1789—1862), испанского государственного деятеля и литератора; после разгрома либерального правительства кортесов в 1823 г. он эмигрировал во Францию, затем вернулся на родину и в 1834 г. стал первым министром при королеве Марии-Кристине, а в 1840 г., когда власть в стране захватил генерал Б. Эспартеро, снова вынужден был покинуть Испанию. Бальзак был довольно близко знаком с Мартинесом де ла Роса и в 1846 г. посвятил ему рассказ «El Verdugo» (1830). Впрочем, в Макюмере есть немало и от самого Бальзака (некрасивый мужчина с прекрасными глазами и изящными руками; нелюбимый сын). Среди литературных источников образа — либерал Альтамира из романа Стендаля «Красное и черное» (1830), потомок одного из знатнейших родов в Неаполе, приговоренный к смертной казни в родной стране. Кроме того, для понимания образа Макюмера очень важны легендарные и литературные представления об абенсерагах. Фамилия Макюмер, — возможно, перефразированное название до сих пор существующего на Сардинии городка Макомер. Фамилию Энарес Бальзак, вероятно, почерпнул из романа своего литературного наставника в 1820-е гг. Анри де Латуша «Последние письма двух любовников из Барселоны» (1822).

Чета де л'Эсторад имеет немало общего с добрыми знакомыми Бальзака — супругами Карро. Зюльма Карро (1796—1889), которой Бальзак в 1838 г. посвятил «Банкирский дом Нусингена», подобно Рене, отдала весь свой незаурядный ум семье, воспитанию детей. Из ее писем Бальзак почерпнул многие «материнские» размышления и наблюдения. Муж Зюльмы, Франсуа Мишель Карро (1781—1864), так же как и Луи де л'Эсторад, был намного старше жены и долго находился на чужбине (попав в плен в 1806 г. в Италии, он много лет провел на Мальте и в Англии); Зюльма пыталась помочь ему сделать карьеру, но, в отличие от Рене, не слишком преуспела: Карро так и остался майором.

Перевод романа на русский язык под названием «Записки двух новобрачных» был выполнен Е.М. Чистяковой-Вэр и опубликован в изд.: Бальзак О. Собр. соч. в 20-ти т. СПб., 1899, т. 20, с. 157-339. Перевод О.Э. Гринберг впервые опубликован в изд.: Бальзак О. Урсула Мируэ. Воспоминания двух юных жен. М., 1989. Он выполнен по изд.: Balzac H. La Comedie humaine. P., 1976. Т.1 (Bibliothèque de la Pleiade), где опубликован последний авторский вариант с учетом позднейшей рукописной правки на экземпляре «Человеческой комедии» в издании Фюрна (т.2, 1842). Предисловие опубликовано в изд. 1976 г, по изд. Суверена, так как в изд. Фюрна оно не вошло.

1

Посвящение Жорж Санд — Бальзак познакомился с Жорж Санд в Париже в 1831 г. Период их наиболее тесного общения приходится на 1838 г., когда Бальзак с 24 февраля по 2 марта гостил в поместье Санд в Ноане. Некоторые исследователи полагают, что все монастырские воспоминания Луизы и Рене восходят к рассказам Жорж Санд о монастыре августинцев, где она воспитывалась, и даже считают Санд прототипом Луизы. Дело, однако, обстоит гораздо сложнее; Луиза — не Жорж Санд (чисто внешне к знаменитой писательнице вообще ближе черноволосая и рассудительная Рене), однако сам роман — продолжение тех споров, которые Бальзак вел с Жорж Санд в Ноане, пытаясь убедить писательницу в благотворности такого социального установления, как брак. Бальзак спросил у Санд разрешения посвятить ей роман, и она 27 января 1840 г. ответила, что это было бы для нее большим счастьем. По прочтении романа, в феврале 1842 г. она написала Бальзаку письмо, где назвала «Воспоминания двух юных жен» «прекраснейшим из его созданий», но заметила, что, по ее мнению, роман убеждает вовсе не в тех идеях, которые желал отстаивать автор, а в противоположных, то есть в ущербности брака как социального установления. Особо Санд

остановилась на изображении материнского чувства в романе: «Картины эти иногда выглядят чуть-чуть глуповатыми (я слишком сильно восхищаюсь вами, чтобы утаить хоть что-нибудь из моих ощущений), но неизменно остаются возвышенными. По мне, вы слишком часто купаете этих детей на наших глазах, однако с каким чудесным искусством, с какой пленительной поэтичностью описываете вы всевозможные губки и куски мыла, вынуждая нас смириться с этими описаниями! Что же до письма о больном ребенке, то оно неподдельно, страстно, возвышенно и заставляет думать, будто вы, друг мой <...> помните о вашем предыдущем воплощении, в котором вы были женщиной и матерью». Оканчивается письмо Санд следующими словами: «Я восхищаюсь той, что продолжает род, но обожаю я ту, что умирает от любви. Вот все, что вы мне доказали, — это больше, чем вы хотели» (Sand G. *Correspondance*. P., 1969. T.5. P. 603—604). Бальзак дал не менее любопытный ответ: «...будьте покойны, я согласен с вами и предпочел бы умереть по воле Луизы, чем прожить долгую жизнь бок о бок с Рене» (Ibid. P. 604).

2

...имена друзей... — Если до 1836 г. Бальзак почти не писал посвящений к своим произведениям, то с конца 1830-х гг. стал систематически предварять посвящениями новые романы и повести, а также посвящать друзьям те произведения, что были написаны прежде и теперь переиздавались в собрания сочинений, которое в 1842 г. начал публиковать Фюрн.

3

...уже сорок лет... — Эпистолярная форма была очень популярна в последние два десятилетия XVIII и в начале XIX в. Самые прославленные образцы жанра — «Кларисса» С. Ричардсона и «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо; романами в письмах являются также «Дельфина» (1802) Ж. де Сталь, «Валерия» (1803) Ю. де Крюденер и др. «Воспоминания двух юных жен» — единственный эпистолярный роман в «Человеческой комедии».

4

Жарди — небольшая усадьба, которую Бальзак приобрел в сентябре 1837 г. и где он жил с июля 1838 г. по октябрь 1840 г. (в начале 1841 г. он вынужден был продать усадьбу из-за денежных затруднений). В описании шале Луизы в «Воспоминаниях двух юных жен» Бальзак воспроизвел многие черты Жарди — не столько реальной усадьбы, сколько той, какую он видел в мечтах.

5

Париж, сентябрь. — Поскольку письмо VII датировано январем 1824 г., здесь следовало бы поставить «1823 г.».

6

...в Блуа... — в кармелитском монастыре, где воспитывались обе девушки. Пансионское и монастырское воспитание Бальзак оценивал резко отрицательно. Еще в «Физиологии брака» («Размышление VI») он писал, что совместная жизнь в пансионе дает девушкам преждевременные знания тех сторон жизни, которые до поры до времени должны быть от них скрыты: «Девушка может выйти из пансиона невинной, но целомудренной — никогда».

7

...как тела двух венгерских девочек... — Венгерские девушки Елена и Юдит (1701—1723); упомянуты Бюффеном в «Естественной истории» (глава «О чудовищах»). В «Евгении Гранде» Бальзак сходным образом сравнивает близость Евгении и ее матери с близостью «известных сестер-венгерок, игрою природы сращенных одна с другой» (Бальзак /15. Т.4. С.65).

8

Лавальер Луиза Франсуаза де Ла Бом Ле Блан, герцогиня де (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV; в 1674 г., после того как король ее разлюбил, удалилась в кармелитский монастырь.

9

Гиппогриф — крылатый конь из поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (1507—1532).

10

...мы расстаемся не навсегда... — Реликт первоначального замысла романа, согласно которому героиня должна была в конце концов обратиться от любви земной к любви небесной и вернуться в монастырь.

11

Монтеспан Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Мортемар, маркиза де (1641—1707) — фаворитка Людовика XIV, вытеснившая из его сердца мадемуазель де Лавальер. Лавальер олицетворяет кроткую возлюбленную, Монтеспан — надменную и гордую.

12

...вот-вот выйдет закон... — Закон Виллеля — названный по имени французского премьер-министра, при котором он был принят, закон от 27 апреля 1825 г. о возмещении (частичном) аристократам, эмигрировавшим из Франции во время революции и вернувшимся на родину в эпоху Реставрации, стоимости того недвижимого имущества, которое не могло быть им возвращено.

13

Маршал Саксонский Морис (1696—1750) — полководец, служивший различным европейским державам; его побочная дочь приходилась бабушкой Жорж Санд.

14

Ришелье Франсуа Арман де Виньеро дю Плесси, герцог де (1696—1788) — французский дипломат и полководец, образец светского вольнодумца XVIII в.

15

«Только вместе с доктором и лекарствами.» — Сходный анекдот Бальзак приводит в «Физиологии брака» (размышление XXVII) со ссылкой на Шамфора («Характеры и анекдоты», № 875).

16

Талейран -Перигор Шарль Морис де (1754—1838) — французский политический деятель, дипломат. Бальзак познакомился с ним в 1836 г.; устами Вотрена он отозвался о нем так: он «презирает человечество так глубоко, что плюет ему в лицо столько клятв, сколько оно требует, но во время Венского конгресса не допустил раздела Франции; его должны бы забросать венками, а вместо этого забрасывают грязью» (Бальзак /15. Т.3. С.102-103).

...написала мне всего два раза. — Автобиографическая деталь: мать очень редко навещала Бальзака, когда он учился в Вандомском коллеже.

В тридцать восемь лет... — Возраст герцогини Элеоноры де Шолье, матери Луизы, действующей в семи произведениях «Человеческой комедии», постоянно варьируется: в «Утраченных иллюзиях» ей в 1821 г. уже за сорок, а в «Модесте Миньон» в 1829 г. — за пятьдесят.

Мадемуазель де Ванденес — старшая сестра Феликса де Ванденеса, главного героя романа «Лилия долины», в дальнейшем — жена маркиза де Листомэра.

...нашего брата маркиза... — Внося в роман окончательную правку, Бальзак сделал младшего брата Луизы графом (так в тексте ниже), но здесь случайно оставил прежний титул.

«Коринна» и

«Адольф» (1807) — «Коринна» — роман Жермены де Сталь (1766—1817); «Адольф» (1816) — роман Бенжамена Констан (1767—1830), написанный в те же годы, что и «Коринна». От романной продукции того времени оба романа отличались глубиной психологического анализа («Адольф») и широтой социокультурных обобщений («Коринна»). Отношение Бальзака к госпоже де Сталь, как и вообще к женщинам-писательницам, было двойственным. В «Физиологии брака» она названа «бой-бабой XIX столетия»; в «Луи Ламбере», выступая как действующее лицо, субъективно желает главному герою добра, но объективно обрекает его на муки. С другой стороны, «Дельфина» госпожи де Сталь, эпистолярный роман о судьбе женщины в обществе, по-видимому, является одним из далеких прообразов «Воспоминаний двух юных жен».

Площадь Людовика XV — ныне площадь Согласия.

23

...обрубок трубы... — Бальзак столь же темпераментно протестует против цилиндров в «Комедиантах неведомо для себя» (1846), где «уродливая современная шляпа» также названа «обрубком печной трубы» (Бальзак /15, Т.8. С.460).

24

Октябрь. — Одна из хронологических неувязок Бальзака: в конце этого письма от октября Рене сообщает, что получила письма Луизы, которые, однако, были датированы декабрем.

25

Лейпцигское сражение — сражение французов с соединенными войсками России, Австрии, Пруссии и Швеции; произошло 16—19 октября 1813 г. и закончилось поражением армии Наполеона.

26

Де Монриво — действующее лицо двенадцати произведений «Человеческой комедии», главный герой повести «Герцогиня де Ланже» (1833), составляющей вторую часть «Истории тринадцати».

27

Игра слов: *estor* (устар.) — затруднение, невзгода. (

Примеч. Переводчика).

28

...подлый Гражданский кодекс господина Буонапарте... — Речь идет о законах относительно наследования (подробнее см. ниже, в речи герцога де Шолье). В дореволюционной Франции имения по закону всегда переходили к старшему в роде, поэтому не было опасности их дробления. Это право старшинства было уничтожено во время революции декретом Учредительного собрания. Целью реформы было появление во Франции множества мелких собственников; этой же цели служила распродажа по частям имений эмигрантов. Бальзак считал этот процесс дробления земель очень опасным (см. его последний, оставшийся незаконченным, роман «Крестьяне»). Роялистские теоретики, прежде всего Бональд, выступали за восстановление права старшинства во всем его объеме; в этой борьбе принял участие и Бальзак, выпустивший в 1824 г. брошюру «О праве старшинства».

29

Бастида — название деревенского дома в Провансе. Описывая владения де л'Эсторадов, Бальзак опирался на воспоминание о замке семьи Альбертас в долине Жеменос, который он видел в 1838 г., направляясь на Корсику.

30

Сентябрь. — Еще одна хронологическая неточность: в письме Макюмера упоминаются ноябрьские и декабрьские события.

31

Абенсераги — одно из мавританских племен, живших в Гранаде; в результате придворных интриг большая часть абенсерагов, игравших важную роль в политической жизни Гранады в первой трети XV в., была вырезана в 1427 — 1429 гг. Это историческое событие породило легенды о соперничестве двух мавританских племен — абенсерагов и сегри, о любви абенсерага Абенамара к жене короля Гранады Боабдила и об истреблении абенсерагов ревнивым королем, которому сегри донесли о чувстве Абенамара. Истребление это, по преданию, произошло в Львином дворике дворца Альгамбра, носящем это название благодаря фонтану, который поддерживают двенадцать изваяний львов; в этот фонтан и скатились якобы головы абенсерагов. Эта легенда нашла отражение в книге испанского литератора Переса де Иты (ок. 1544 — ок. 1619) «Повесть о Сегри и Абенсерагах, мавританских рыцарях из Гранады» (1595, фр. перев. 1809), послужившей источником для романа французского писателя Флориана «Генсальво из Кордовы» (1791), повести Шатобриана «Последний из Абенсерагов» (1826) и драмы Мартинеса де Ла Росы (одного из прототипов Макюмера) «Абен Гумайя» (1830).

32

Фердинанд... Вальдес... — Имеются в виду следующие эпизоды из истории Испании: Фердинанд VII (1784—1833), ставший испанским королем в марте 1808 г., в мае по требованию Наполеона отрекся от престола и до марта 1814 г. был интернирован вместе со свитой во французский замок Валансе, принадлежавший Талейрану, а испанский престол все эти годы занимал брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Вернувшись в Испанию, Фердинанд отменил либеральную конституцию 1812 г. и начал преследовать либералов. В 1820 г. в Испании разразилось восстание, и Фердинанд был вынужден восстановить конституцию и созвать парламент («кортесы»); именно в этот период Макюмер и был министром. Фердинанд обратился за помощью к странам Священного союза, и в 1823 г. французский экспедиционный корпус под командованием герцога Ангулемского (1775—1844) подавил восстание. Адмирал Гаэтано Вальдес-и-Флорес (1767—1835) защищал Кадис — резиденцию либерального правительства; Фердинанд VII отдал приказ о его аресте, но Вальдес укрылся на борту английского судна и уже в Англии узнал, что заочно приговорен на родине к смертной казни.

33

Сардиния — с 1815 г. принадлежала Пьемонтскому королевству, где царствовала савойская династия. Сарацины владели ею в VIII в.

34

Фердинанда де Бурбона, отпрыска рода, который еще не существовал в те времена... — Бурбоны — королевская династия, царствовавшая во Франции, Испании, Неаполе; известна с XI в.; арабы под предводительством Абд-эль-Рахмана, седьмого эмира (вице-короля) Испании, предприняли попытку завоевать Францию в 732 г., но были разбиты на берегах Луары.

35

Риго Рафаэль дель (1785—1823) — испанский генерал, предводитель восстания 1820 г., президент кортесов в 1823 г.; 15 сентября 1823 г. был выдан крестьянами королевским войскам и 7 ноября повешен в Мадриде.

36

Абсолютному монарху (

исп.).

37

Эредиа — эту фамилию носил испанский граф, любовник матери Бальзака.

38

Герцог Ангулемский со своими войсками торжественно вернулся в Париж 2 декабря 1823 года.

39

Галиньяни — издатели, с 1814 г. выпускавшие в Париже на английском языке ежедневную газету, содержащую информацию, почерпнутую из разных английских и французских газет.

40

Дионисий II — тиран Сиракуз с 368 г. до н. э.; в 344 г. до н. э. после взятия Сиракуз греческим полководцем Тимолеоном удалился в Коринф, где стал школьным учителем.

41

...в отличие от Карла V, я не сожалею о своем отречении... — Карл V (1500—1558) — император «Священной Римской империи» и король Испании; отрекся от престола в 1556 году.

42

«Отелло» (1816) — опера Дж. Россини, где Мануэль Висенте Гарсиа (1775—1832) играл заглавную роль, а Феликс Пеллегрини (1774—1832) — роль Яго. Ср. упоминание того же дуэта из первого акта («Сердце мое раскалывается надвое...») в «Беатрисе»: «Но когда Рубини запел: «Il mio cor se divide...», она <Сабина> выбежала из ложи. Подчас музыка, объединяющая в себе гений поэта и певца, могущественнее их обоих» (Бальзак /15. Т.2. С.559).

43

Сердце мое разрывается! (

ит.)

44

Каналис — великий, но бездушный поэт, прототипом которого иногда называют Ламартина, хотя более вероятно кандидатура Альфреда де Виньи; впервые был выведен Бальзаком в повести «Первые шаги в жизни» (1842), затем появилась «Модеста Миньон» (1844), где Каналис — один из главных героев, и уже после этого Бальзак ввел его имя во многие романы, написанные прежде, в том числе и в «Воспоминания двух юных жен» (в общей сложности он упоминается в восемнадцати произведениях «Человеческой комедии»).

45

...мне уготована роль Антигоны... — Антигона (греч. миф.) — любящая дочь Эдипа, сопровождавшая его, когда он ослеп.

46

...отголосок теорий Бонапарта. — Гражданский кодекс Наполеона (1804) ограничил имущественную и личную свободу замужних женщин. Одной из причин такого положения дел было женоненавистничество первого консула, считавшего, что «в наше время женщин нужно держать в узде» и что «дать им власть было бы недостойно французов» (см.: Wingard K. Les problemes des couples maries dans la «Comedie humaine», Uppsala, 1978. P.25—26).

47

«Сид» (1636) — трагедия П. Корнеля. Химена, ее героиня, требует от короля смерти своего возлюбленного Сиды, который убил на дуэли ее отца.

48

Гонсальво из Кордовы (1443—1515) — испанский полководец эпохи Реконксты, заглавный герой романа французского писателя Флориана «Генсальво из Кордовы» (1791).

Хименес де Сиснерос Франсиско (1436—1517) — испанский кардинал-францисканец, главный инквизитор Толедо. В последние годы жизни лицо его было искажено болезнью (а возможно, действием яда).

...было бы очень глупо разыграть заново «Новую Элоизу»... — В романе Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» разночинец-учитель Сен-Пре влюбляется в свою ученицу — дворянку Юлию, и она отвечает ему взаимностью.

Кларисса... чересчур самодовольна, когда сочиняет очередное «письмецо»... — Намек на многословие и подчеркнутую нравоучительность эпистолярного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1747—1748) «Кларисса Гарлоу».

Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.) и

Сулла (138—78 до н. э.) — римские полководцы. В 82 г. до н. э., победив Мария в гражданской войне, Сулла стал диктатором. В бальзаковском противопоставлении Марий олицетворяет народ, а Сулла — аристократию.

...Революция продолжается... — В политических теориях Бальзака переплетались разные взгляды на взаимоотношения человека и общества. С одной стороны, Бальзаку было присуще пессимистическое видение общества, гнетущего человека (отсюда — его анархические герои-бунтари: Вотрен, Растиньяк и др.), с другой стороны, Бальзак признавал, что эгоистические стремления человеческого «я» расшатывают равновесие общества, и настойчиво рекомендовал целую систему мер, призванных это равновесие сохранить (прославлял брачные узы, религию как «сдерживающее», упорядочивающее начало и т. д.). Кроме того, аристократические симпатии Бальзака в определенной мере питались и его пониманием миссии и роли художника; всякий творец, полагал Бальзак, аристократ по природе, по духу, поэтому ему чужды прагматичные буржуа, его влекут королевские и

аристократические режимы с их меценатством (см.: Guyon B. La pensee politique et sociale de Balzac. P., 1947. P.690 et suiv.).

54

Майорат — «неотчуждаемое имение, обособленное от имущества обоих супругов. В каждом поколении майоратные владения переходят к старшему в роде, не исключая при этом его обычных наследственных прав» (Бальзак /15. Т.4. С.500). Если бы брат Луизы стал владельцем майората, то этому имению не грозило бы впоследствии раздробление: оно перешло бы к старшему из племянников Луизы, а не было бы поделено между всеми ними. Право учреждать майораты было уничтожено во время революции, и это запрещение подтвердил Гражданский кодекс Наполеона. Однако, для того чтобы вознаградить своих ставленников, Наполеон декретами от 1 марта и 24 июня 1808 г. и 12 декабря 1812 г. узаконил право в исключительных случаях завещать имение старшему сыну, то есть учреждать майорат. С майоратом было связано и наследование титула: по ордонансу 10 февраля 1824 г. только тот мог передать по наследству титул, полученный от короля, кто имел право и возможность (денежную) на учреждение подтверждающего этот титул майората. Так, графу для учреждения майората требовалось иметь двадцать тысяч годового дохода. В 1835 г. право учреждать новые майораты было снова отменено, а наследование старых позволялось только в двух поколениях.

55

Фодор (1789—1870) — итальянская певица; Бальзак здесь допускает анахронизм: она выступала в Париже в 1819—1822 гг., а затем в 1825 г., поэтому Луиза не могла ее слышать.

56

...объясняет... строение всех языков земли и самой человеческой мысли убедительно и логично, как Боссюэ. — Французский религиозный деятель и философ Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) был автором «Речи о всемирной истории» (1681), отличающейся широтой охвата событий и блеском стиля.

57

...историю слуги, который отдал жизнь за один взгляд испанской королевы. — Реминисценция из драмы В. Гюго «Рюи Блас», которую, однако, герои Бальзака не могли знать, так как она датируется 1838 годом. Ср. в письме к Ганской от начала февраля 1840 г.: «Я не слишком упрекал бы женщину, которая полюбила короля, но если она любит Рюи Бласа <t.e. слугу>, она порочна и скатывается так низко, что более для меня не существует; она не стоит пистолетного выстрела!» (ПГ. Т.1. P.667).

58

Вот, милая Рене, к чему мы тут пришли... — Неточная цитата из трагедии П. Корнеля «Цинна» (д. 1, явл. 3); у Корнеля не «Рене», а «Эмилия». Бальзак очень любил эту фразу и не раз цитирует ее в письмах к Ганской (19 июля 1837 г., 5 января 1842 г.).

59

Ловлас — коварный соблазнитель из «Клариссы» С. Ричардсона.

60

...перед католичкой Евой... — Намек на католичку Еву (Эвелину) Ганскую.

61

«Ромео и Джульетта» (1796) — опера Н.А. Цингарелли (1752—1837). Ср. упоминание той же оперы в «Беатрисе», где заключительный дуэт из нее назван «одной из самых трогательных арий современной музыки, выражающей любовь во всем ее величии» (Бальзак /15. Т.2. С.408).

62

«Артамен, или Великий Кир» (1648—1653) — роман Мадлен де Скюдери (1607—1701).

63

«Астрея» (1607—1628) — роман Оноре д'Юрфе (1567—1625); эти галантно-героические сочинения принадлежат к претенциозной литературе. Ср. в письме от 8 июля 1837 г. к Ганской о замысле романа «Жюль, или Новый Абеляр»: «Это будут письма двух любовников, которых любовь привела к религии, подлинный героический роман в духе Скюдери» (ПГ. Т.1. Р.519).

Суды любви — особые собрания в средневековом Провансе, где мужчины и женщины обсуждали правила нежного обхождения.

...Филипп II в юбке... — Испанский король Филипп II (1527—1598) известен изощренным коварством.

Бональд — Луи Габриэль Амбруаз, виконт де Бональд (1754—1840), французский философ и публицист. В «Предисловии» к «Человеческой комедии» Бальзак писал: «Я рассматриваю как подлинную основу Общества семью, а не индивид. В этом отношении я, хоть и рискую прослыть отсталым, примыкаю к Боссюэ и Бональду, а не к современным новаторам» (Бальзак /15. Т.1. С.9). В трудах «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе» (1796), «О разводе, рассмотренном сравнительно с состоянием семьи и общества в XIX столетии» (1801), «Первобытное законодательство» (1802) и т. д. Бональд утверждал, что только «верность трону и алтарю», то есть абсолютной королевской власти и католической религии, — залог стабильности существования государства. В основе философии Бональда — параллелизм идеального устройства государства, церкви и семьи: король, Бог и отец — представители власти, которым нужно повиноваться.

Мирбель (урожд. Рю) Эме Зоя де (1796—1849) — знаменитая французская художница-миниатюристка.

Вот его письмо. — Это письмо Фелипе к Луизе Бальзак упоминает в письме к Ганской от 20 декабря 1842 г.; он говорит, что любит портретом Ганской, как Фелипе любовался портретом Луизы.

Маркиза д'Эспар — бессердечная аристократка, действующая в двадцати четырех произведениях «Человеческой комедии» (ее наиболее подробный портрет дан в «Деле об опеке», 1836).

70

Госпожа де Мофриньез — затем княгиня де Кадиньян, действует в двадцати произведениях «Человеческой комедии».

71

Великий писатель из Авейрона — Бональд (он был родом из этого департамента на юге Франции).

72

Письмо XXII. — Об этом письме Луизы Бальзак писал Ганской 11 ноября 1842 г., что оно навеяно воспоминанием о сцене ревности, которую Ганская устроила ему в Вене в 1835 году.

73

«Береника» (1670) — одна из наиболее «чувствительных» трагедий Расина, в основу которой положена история трагической любви римского императора Тита к иудейской царице Беренике.

74

...как сказал Данте... — Эту строку из «Рая» (XXVII, 9) Бальзак приводит в «Беатрисе» (см.: Бальзак /15, Т.2. С.454) и несколько раз — в письмах к Ганской.

75

Верный клад, без алчности хранимый (
ит.). (Данте. Рай, песнь 27, С.9; перев. М. Лозинского).

76

От Фелипе к Луизе. — В этом письме много автобиографических деталей; в сходных выражениях Бальзак убеждал Ганскую в своей любви, также клянясь в готовности заменить ей родных.

77

...несмотря ни на что — лозунг роялистов, поддерживавших королевскую власть, «несмотря» на революции, свергающие королей, или же неверные действия того или иного короля; см. постскриптум к брошюре Шатобриана «Монархия согласно Хартии» (1816).

78

Вы думаете, я ветрена, как Фигаро, а я постоянна, как Кларисса Гарлоу... — Луиза хочет сказать, что она не корыстолюбивая авантюристка, претендующая на богатого жениха (племянника посла), но чувствительная барышня, подобная героине Ричардсона.

79

Феба (рим. миф.) — прозвище богини Луны Дианы.

80

«Великое может быть». — По преданию, Рабле сказал перед смертью: «Я отправляюсь искать «великое может быть»; эти слова часто цитировались в романтическую эпоху; ср. у Бальзака в «Шагреновой коже» (1831) или у В. Гюго в драме «Марьон Делорм» (1831, д. IV, явл. 8).

81

Туллия — танцовщица, в дальнейшем графиня Дю Брюэль; упомянута в 14 произведениях «Человеческой комедии».

Граф Вестморленд — Джон Фейн, десятый граф Вестморленд (1759—1841), английский государственный деятель.

...из Парижа в Фонтенбло... — Неточность Бальзака: в первом письме Луизы говорится, что брат ее служит в Орлеане.

«Оберман» — философский роман Этьенна Пивера де Сенанкура (1770—1846), вышедший впервые в 1804 г.; был переиздан в 1833 г. с предисловием Сент-Бева, а в 1840 г. — с предисловием Жорж Санд. В предисловии к «Отцу Горио» (1835) Бальзак назвал Сенанкура «одним из самых замечательных умов нашей великой эпохи» (Бальзак /15. Т.15. С.452) и в том же году рекомендовал его роман для прочтения Ганской. Рене цитирует письмо 75-е, где герой, предающийся меланхолическим размышлениям, сравнивает себя с «елью, случайно выросшей на краю болота»: «Дикая, могучая, великолепная, она тянулась вверх, словно ее окружали пустынные скалы, словно родилась она в дебрях лесных; сколь напрасны были ее усилия! Корни ее пьют зловонную влагу, они уходят в глубь грязного ила; ствол ее хиреет, теряет силу; вершина сгибается под напором сырого ветра <...> Немощная, уродливая, пожелтевшая, преждевременно состарившаяся и уже склонившаяся над болотом, она словно умоляет бурю свалить ее, ибо жизнь в ней иссякла уже давно» (Сенанкур. Оберман. М., 1963, с. 297—298).

...дружбой, как ее понимал Лафонтен... — См. басню «Два друга» (Басни, VIII, 11); на нее Бальзак ссылается также в письмах к Ганской от 10 января и 25 апреля 1842 года.

...Медея была права... — Имеется в виду любимая Бальзаком фраза из трагедии П. Корнеля «Медея» (1635, д. I, явл. 5), где Медея отвечает, что в несчастье у нее остается ее «я», и этого довольно. Бальзак часто вспоминал эту фразу и в своем творчестве («Дочь Евы», «Герцогиня де Ланже»), и в письмах к Ганской (например, от 20 марта 1836).

87

Луцина — прозвище римской богини Юноны, родовспомогательницы и покровительницы деторождения.

88

Селимена — светская кокетка из комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

89

Мадемуазель де Морсоф — Мадлена, дочь Анриетты де Морсоф, урожденной де Ленонкур-Живри, героини романа «Лилия долины». Гербовник для «Этюдов о нравах» был составлен в 1839 г. другом Бальзака графом Фердинандом де Граммоном.

90

«Всегда с открытым забралом» (лат.).

91

...к виконтессе... — Когда старший де л'Эсторад был возведен в графское достоинство, а имение его сделано майоратом, его сын, Луи де л'Эсторад, стал виконтом, а жена сына — виконтессой. После смерти отца Луи предстояло унаследовать графский титул, что и произошло в дальнейшем в романе.

92

... настоящие Гарлоу... — Гарлоу — чопорное и бессердечное английское семейство, принуждающее Клариссу, героиню одноименного романа Ричардсона, к браку с неприятным ей человеком.

93

Неблагодарная (лат.).

94

...преобразования в сардинских владениях... в Марселе... — Автобиографический намек: Бальзак намеревался разбогатеть, добывая остатки серебра из сардинских серебряных рудников, для чего весной 1838 г. отправился на Сардинию, однако выяснилось, что его опередила одна марсельская компания.

95

...при дворе я имела большой успех. — Имеется в виду пьемонтский двор.

96

Рене — Король Рене I, по прозвищу Добрый (1409—1480), герцог Анжуйский и граф Прованский с 1434 г., меценат и инициатор многих благотворных реформ в своих владениях.

97

«Он спасен!» — Описание болезни ребенка, ее возможных причин (режущиеся зубки) и лечения соответствует медицинским справочникам бальзаковского времени (см.: Le Yaouanc M. Nosographie de l'humanite balzacienne. P., 1959. P. 443—446). Финал же — исцеление малыша благодаря духовному порыву матери — основан на вере самого Бальзака во всемогущество человеческой воли.

98

Шедевра (ит.).

99

Прекрасной картины (ит.).

100

Геснер Соломон (1730—1788) — немецкоязычный швейцарский поэт, автор «Идиллий» (1756, фр. пер. 1762), которые были очень популярны во Франции во второй половине XVIII века.

101

Флориан Жан Пьер Клари де (1755—1794) — автор пасторального романа «Галатя» (1783) и идиллии «Эстелла и Неморен» (1787) и пр.; известный острослов Антуан де Ривароль (1753—1801) не раз вышучивал творчество Флориана, но острота, приведенная Бальзаком, принадлежит не ему, она содержится в «Характерах и анекдотах» С.-П.-Н. Шамфора (№ 861).

102

Нума не уезжал так далеко от своей Эгерии. — По преданию, второй царь Древнего Рима в 715—673/672 гг. до н. э. Нума, создатель многих римских религиозных и политических установлений, опирался на советы нимфы Эгерии.

103

Мартиньяк Жан Батист Сильвер Гей, граф де (1778—1832) — французский государственный деятель, премьер-министр в январе 1828 — августе 1829 г.; проводил либеральную политику, пытаясь найти общий язык с палатой депутатов, за что и был смещен королем и заменен Полиньяком.

104

Бурмон Луи Огюст Виктор де (1773—1846) — маршал, военный министр в правительстве Полиньяка.

105

Детской (
англ.).

106

...Кассандра, которую никто не хотел слушать... — Кассандра (греч. миф.) — троянская царевна, наделенная даром пророчества; по воле Аполлона, ее пророчествам никто не верил.

107

...либералы плетут против него интриги. — Имеется в виду строптивость либеральной палаты депутатов.

108

Зачем так далеко заглядывать вперед? — Расин. Андромаха, д. 1, явл. 2.

109

...на который народ возвел своего короля... — В июле 1830 г. восставший народ потребовал свержения Карла X; буржуазия от лица народа предложила Луи-Филиппу, представителю Орлеанской ветви династии Бурбонов, занять трон, и он дал согласие.

110

Леди Брендон — урожденная Августа Виллемсанс (см. повесть Бальзака «Гранатник»).

111

Даниэль д'Артез — писатель, действующее лицо двенадцати произведений «Человеческой комедии», в том числе романа «Тайны княгини де Кадиньян», где описана история его любви

к аристократке Диане де Кадиньян.

112

Рембрандт... Хоббема... — Мечты Бальзака, которые ему не удалось осуществить в Жарди; ср, в воспоминаниях Альберика Сегона о Жарди: «На голых, словно в деревенской церкви, стенах углем были начертаны пламенеющие слова: «<...> здесь — картина Рафаэля, напротив — два полотна: одно Тициана, другое Рембрандта» (Бальзак в воспоминаниях современников. М., 1986. с. 292).

113

Жозеф Бридо — вымышленный художник, персонаж пятнадцати произведений «Человеческой комедии».

114

...твое предпоследнее письмо... — В издании Фюрна Бальзак объединил в одно письмо XLVIII два письма, носившие в издании Суверена номера XLVIII и XLIX, но забыл исправить «предпоследнее» письмо на «последнее».

115

Деций — Публий Деций Мусс, римский консул в 344 г. до н. э.: по преданию, в 340 г. до н. э. он пожертвовал собой ради победы Рима; с 295 и 279 гг. до н. э. его примеру последовали его сын и внук, тоже Деции.

116

Как верный клад, без алчности хранимый (ит.).

117

...как поступал герцог Орлеанский... — Сыновья герцога Орлеанского, ставшего в 1830 г. королем Луи-Филиппом, к возмущению легитимистов, в 1820-х гг. посещали, как простые смертные, коллеж Генриха IV.

118

Корнелия — мать римских трибунов Тиберия и Гая Гракхов, которая, по преданию, сказала о своих детях: «Вот мои сокровища!» Эту фразу Бальзак вспоминает также в «Деле об опеке».

119

Мадлен — церковь в Париже, начатая в 1763 г. и оконченная лишь в 1840 г.; говоря об окончании строительства в этом письме, Бальзак допускает анахронизм.

120

Сюлли Максимильен де Бетюн, герцог де (1560—1641) — французский государственный деятель, соратник Генриха IV, в 1599—1611 гг. суперинтендант финансов.

121

Святая Тереза (1515—1582) — испанская монахиня-кармелитка, автор мистических сочинений, исполненных страстной, экзальтированной религиозности.

122

...через парк Сен-Клу... — Чтобы проехать через королевские владения, требовалось специальное разрешение; оно имелось у самого Бальзака и он одарил им своих героев.

123

Натан — Рауль Натан, вымышленный персонаж, литератор.

124

«Слишком поздно!» — Маркиз де Лафайет (1757—1834), принявший в дни Июльской революции 1830 г. командование национальной гвардией, ответил этими словами посланцу Карла X, извещавшему об отмене реакционных ордонансов, послуживших причиной революции, и призывавшему народ к верности трону.

125

...когда начнут опадать листья, Луиза умрет. — Возможно, реминисценция из крайне популярной во Франции в первой половине XIX в. элегии Ш.Ю. Мильвуа «Падение листьев» (1811): «Последний с древа лист сронился, / Последний час его пробил» (пер. М. В. Милонова).

126

«Шотландские пуритане» — опера В. Беллини, которую Луиза не могла слышать (премьера состоялась в Париже 25 января 1835 г., а Луиза не покидала шале);

«Сомнамбула» — его же опера 1831 г.;

«Моисей» (1827) — опера Дж. Россини.

127

«De profundis» («Из глубины взываю к тебе, Господи...») — псалом 129, входящий в заупокойную службу.